



Владимир Сулимов
Спойлер:
умрут все

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Владимир Сулимов

Спойлер: умрут все

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70239964

SelfPub; 2024

Аннотация

Представляю второй сборник моих хоррор-историй! Здесь автобусы увозят в ад, а домовые вечно голодны. Здесь в шкафах живут монстры, а из кукол течёт кровь. Здесь каждый Новый год – последний, а бег по стадиону – до остановки сердца. Всё это здесь: монстры, оборотни, исчадия ада, древние демоны, космические сущности и самые страшные чудовища – люди! Не бойтесь спойлера, бойтесь того, что под обложкой! Открывайте на свой страх и риск и добро пожаловать!

Содержание

Пал Пот	4
«Четвёрка»	60
Письмо Полины	120
В Ульцинь	161
Старуха	189
Крысиные Зубы	228
Новогоднее (не)настроение	297
Сырое мясо	345
Бег с препятствиями	388
Тиша	420
Мерцающий дом	483
Оленька	524

Владимир Сулимов

Спойлер: умрут все

Пал Пот

Возвращение из небытия подобно новому рождению. Робко разгорается сознание – как лампада, как светлячок. Будто душа мается: покинуть ли тело или задержаться в нём ещё на время. Выбирает, наконец, второе, и небытие обретает форму, и верх, и низ, и запахи, и всё это перемешано, как бельё в стиральной машине. Душа входит в мир. И мир полон боли.

Юра Барашкин со стоном открывает глаза. *Левый* глаз – веко правого, распухшее, как древесный гриб, отказывается подниматься. Бровь над глазом рассечена, и из неё сочится кровь. Щёку стягивает засохшая корка. В верхнем ряду зубов не хватает клыка – кончик языка нащупывает пустоту. Глотка горит от вкуса рвоты. Как и ноздри.

Окружённый кромешной темнотой, Юра приходит в ужас при мысли о том, что ослеп. Кто-то из быков Пал Пота – Пэш или Самец, он не может вспомнить – перестарался и слишком крепко ему вмазал.

Хотя почему «слишком»? Пал Поту его зрение без разницы. Да и участь Юру ждёт куда более страшная, чем слепота. Если только...

Он думает об Айсене Тингееве и выцветшем шраме, тянущемся через предплечье, но теперь события месячной давности кажутся чужим сном и не вселяют веры. «Мне хана, – чеканится приговор в гудящей, как осиное гнездо, голове. – Как я мог понадеяться?..»

Натужно лязгает. Мрак разрезает полоска воспалённо-рыжего света, ползёт, расширяясь, вверх и растекается по полу. Свет будто пробует темень языком. Юра зажмуривается и думает, почти ликуя: «Не ослеп!»

Когда он снова открывает глаза (*левый* глаз), то видит в рыжем прямоугольнике напротив кособокий силуэт. Фонарь позади фигуры подсвечивает лишь серп лысины, о который разбиваются капли ноябрьского дождя. Сердце Юры подпрыгивает к горлу, точно стремясь вырваться на волю и укатиться колобком. Он вспоминает, как до обморока страшно было в избушке Тингеева, но тот страх не идёт в сравнение с нынешним. Новый ужас гложет внутренности, словно бешеный волк.

Юра пытается елозить ногами и понимает, что примотан скотчем за запястья и щиколотки к металлическому стулу. В помещение – это гараж – вползает холод, но на лбу и ладонях пленника закипает маслянистый пот.

Фигура в проёме остаётся неподвижной. Ни шороха, ни шевеления, даже пар не поднимается изо рта. Словно там, под балдахином капель, замер вампир, ждущий приглашения войти.

Юра дышит хрипло и надрывно. Срывается на кашель. С губ летят чёрные брызги – не слюна, а кровь.

Человек под дождём внезапно переступает порог. Струйки воды стекают с его одежды и барабают по полу, как рассыпавшиеся бусины. Он выпрастывает руку, невидимый рубильник щёлкает, и гараж наполняется жужжащим светом ламп. Второй щелчок в щитке, и дверь ползёт вниз. Капли мерцают на черепе пришельца, напоминающем раздавленное страусиное яйцо, серебрятся на косматых гусеницах бровей. При свете он ещё больше походит на Носферату из старого фильма, разве что лампы ему нипочём. И он улыбается. Одними губами, но Юра легко представляет за ними заточенные, словно карандаши, клыки. Тридцать два клыка.

Улыбка внушает ему ужас сильнее, чем её обладатель. Повергает в ничтожество, заставляет безмолвно молить о пощаде.

Только умолять бесполезно. Слово «милосердие» отсутствует в языке вошедшего. Это знает каждый, кто перешёл дорогу синегубому упырю в кожаной куртке и при этом чудом выжил.

Павел Потецкий для правоохранительных органов. Возможно, мама до сих пор зовёт его Павликом. Для остальных он – Пал Пот, и недаром. Когда Юра собирал материал для «Пульса Нежими», то накопил немало такого, о чём предпочёл бы забыть. Пал Пот не просто избавлялся от врагов – а в его враги можно угодить даже за случайно оттопанную ногу.

Он их *истязал*. Часами. Это – Пал Пота визитная карточка.

Не меняя выражения лица, Пал Пот плывёт над полом к жертве. Он и двигается, как вампир. За ним тянется след из капель. Плащ шуршит – точно крысы в подполе затеяли возню. Юра хочет поджать ноги, но скотч держит намертво. Он обещал себе не выказывать страха, но сейчас забывает все обещания. Забыты Тингеев, и шрам на руке, и даже Вита. Улыбка упыря высасывает память.

Пал Пот приближается вплотную к стулу, коленями касаясь Юриных ног. Разлепляет изогнутые серпом губы, обнажая жёлтые зубы. Они растут из сизых дёсен вкривь и вкось, но вполне себе человечьи.

– Боишься? – сладко спрашивает Пал Пот высоким голосом. Его глаза лучатся фальшивым участием, неподдельным весельем... и голодом. – Правильно. Ведь я предупреждал. По доброте предупреждал. А ты? Решил за бабу поквитаться?

От него пахнет виски и чем-то сладковато-солёным. Так пахнут выброшенные волной водоросли. Похожие на скальпы ведьм, они сохнут на прибрежных камнях, и над ними роятся мошки.

– Тупой вы народ, журналисты. Думаешь, ты звезда, как этот, Дима Холодов? А где сейчас Дима Холодов? Во-от. – Пал Пот назидательно грозит пальцем. – Кормит червей!

Он разворачивается и идёт к полкам, на ходу снимая плащ. Под плащом – чёрная водолазка с белой полоской со-

ли вдоль хребта. Пал Пот вешает плащ на вделанный в стеллаж крючок, ставит на полку чудо современной техники – «Моторолу», здоровенную, как кирпич – и запускает руки в ящик с инструментами. Слышится бряцанье. Вопреки желанию, Юра принимается сбивчиво перебирать в уме: «Дрель? Паяльник? Ножовка?»

– Молоток! – откликается на его мысли Пал Пот и поворачивается в полупируэте. Действительно – в его руке молоток с жёлтой пластиковой рукояткой. Лицо Пал Пота озаряет незамутнённая детская радость.

Поигрывая инструментом, он направляется к пленнику. Его путь кажется одновременно коротким и бесконечно долгим – настолько, что можно провалиться между секундами и остаться в безвременьи.

Преодолев вечность, Пал Пот склоняется над Юрой и мурлычет:

– Для каждого – своё. Кому-то подходят кусачки. Кому-то – тиски. Одного настырного говнюка я обработал отвёрткой. Какая вышла музыка! Но сейчас ко мне воззвал этот кроха. Слышишь, как он поёт? Скоро и ты будешь!

Последние слова он уже не мурлычет – орёт, замахиваясь, как игрок в гольф клюшкой. Молоток обрушивается на коленную чашечку Юры, и тот даже сперва не понимает, что произошло.

Зато понимает его нога.

Юра выгибается на стуле, затылком бьётся о стену и воет,

извиваясь в тенётах скотча. Из глаз брызжут слёзы, из носа – сопли. На миг перекошенная фигура Пал Пота растворяется в грозовом мареве. Такой боли просто не может существовать ни на Земле, ни в аду. Не может.

– Коленочка бо-бо?! – ревёт Пал Пот. Его улыбка превращается в слюнявую пасть, раскалывающую лицо надвое. – А когда ты «шестисотый» покоцал, это не бо-бо?! Надо! Было! ДУМАТЬ!!!

Новый замах – и новый удар в то же колено. Пожар, камнепад, взрыв водородной бомбы! Юра чувствует, как под головкой молотка что-то с хрустом смещается и разваливается. Синее пламя взвивается по ноге и пожирает его кишки. Он сам становится одной сплошной утробой, надрывающейся от вопля. Он сойдёт с ума до наступления полуночи, и всё окажется напрасным.

Пал Пот выпрямляется, пыхтя.

– У меня две новости, – говорит он. – Я тебя кончу. Это хорошая новость. Сам поймёшь, почему. А плохая новость... – Пал Пот закатывает рукава водолазки до локтей. – Плохая новость в том, что ночь будет долгой.

И он остервенело и часто молотит по другому колену пленника, будто вколачивает гвозди: раз-раз-раз-раз-раз!

– Знаешь, – говорит Пал Пот отрешённо, пока обезумевшее создание, которое считало себя Юрой Барашкиным – журналистом, мужем, человеком – заходится в крике и обливается слезами, – а ведь обе новости хорошие. Просто супер!

Дождавшись, когда вопли жертвы перейдут в прерывистое стенание, он добавляет:

– Я ведь этим самым молоточком расхерачил пальцы твоей брюхатой суке.

В тот чёрный день планёрка в редакции затянулась допоздна и домой Юра попал аж в десятом часу. Как и следовало ожидать, Геннадич зарубил его статью, продолжающую цикл расследований о Пал Потовской ОПГ. Три месяца сбора материалов, уговоров причастных – один информатор то ли пустился в бега, то ли принял более жестокую участь, – и всё псу под хвост. Не будь Юра страшно раздосадован (и страшно голоден), он бы почуял неладное, едва очутившись в квартире.

– Коть! – крикнул он с порога, стягивая пальто. – Голодный муж пришёл. Проторчали на летучке. Куприянов менжанул печатать статью, представляешь? Так и так, мол, трое детей, кто кормить будет...

Из полутёмной прихожей он бросил беглый взгляд на дверь зала. Вита сидела на кушетке, сложив руки на коленях, и приветствовать супруга не торопилась. «Надулась», – решил Юра.

– Ничего, – продолжил он, стряхивая туфли и надевая тапочки. – «Московский комсомолец» с руками оторвёт. Или «Совершенно секретно». Да кто угодно в столице! Геннадич ещё потужит... А ты чего без света? Я звонил домой, ты не

отвечаешь. Уж начал волноваться. Слава Богу...

Но, взглянув на Виту внимательней, он сразу понял, что ничего не слава Богу. Её поникшие плечи била дрожь. Светлые волосы, всегда аккуратно уложенные, спадали на лицо выцветшей паклей. В два скачка преодолев расстояние от входной двери до кушетки, Юра упал перед Витой на колени.

– Что?! Что?!

Он потянулся к рукам Виты и замер.

Кисти её рук словно стягивали алые лайковые перчатки. Содранные ногти свисали с кончиков пальцев древесной стружкой. Глаза затравленно взирали из зарослей спутанных прядей. Встретившись с Витой взглядом, Юра едва подавил вопль скорби, ужаса и отчаяния.

– Кто?.. – сорвался с губ болезненный выдох. Впрочем, он знал ответ. – Едем в больницу.

Он с трепетной бережливостью отвёл локоны с лица Виты. Перепачканное тушью, оно блестело от слёз, и на позорную секунду Юра захотел убежать без оглядки от обрушившегося на них кошмара.

Вместо этого он коснулся ладонью её подрагивающей щеки.

Вита разлепила искусанные губы.

– Не... надо... больницу... – различил он в её дыхании.

– У тебя... – («нет ногтей»). – У тебя кровь идёт.

Какими глупыми казались любые слова!

– Не... надо...

За её покалеченными пальцами, на которые он боялся смотреть – и на которые не мог не смотреть, – как за прутьями птичьей клетки прятался зачерствелый от крови клочок. Сперва Юра решил, что это скомканный бинт. Но Вита развела кисти и с колен скатился смятый обрывок газеты. Словно во сне, Юра подобрал его и развернул. Это оказалась вырезка из «Пульса Нежими» (более душераздирающее название для издания и придумать нельзя). Статья «Кхмеры в законе». *Его* статья.

Сквозь загустевшие алые мазки проступало послание, выполненное каллиграфическим почерком. Юра поднёс обрывок к лицу – почти уткнулся носом – и разобрал:

В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЭТО БУДЕТ ЕЁ БАШКА

– Я его засажу! – Угроза должна была прозвучать весомо, но Юрин голос дал петуха. Горло превратилось в высохший колодец. – Я клянусь тебе, будь я проклят, он сядет так надолго...

– Нет! – вскрикнула Вита с невесть откуда взявшейся силой. Презрев боль, схватила его за запястья изувеченными пальцами. Лунатическая отрешённость исчезла с её лица, поглощённая животной паникой. – Ты же знаешь! Прокуратура, суды... все *повязаны!* Ты ведь сам об этом *писал!*

– Тише, тише! – Он был готов разрыдаться. Пусть Вита и вкладывала в слова иной смысл, они прозвучали как обвинение, и Юра не мог сказать, что у неё не было на то оснований. – Только тише. Отпусти. Вита, любимая, отпусти. Твои

руки...

Вита разрыдалась вместо него.

– Я принесу бинт и поедem в больницу.

– И что мы ответим, когда там спросят, откуда у меня... это?.. – Она подняла к лицу окровавленные кисти, словно героиня фильма ужасов.

– Но как без врача?

– Дай мне водки, – просипела она. – Я сама не смогла от-крыть бутылку.

И тут он заметил ещё кое-что. Чудовищный вечер делился с ним новостями, не торопясь – будто сбрендивший стрип-тизёр, томно стягивающий с себя одежду и обнажающий не кубики торса и мускулистую грудь, а отслаивающуюся плоть прокажённого.

Джинсы Виты возле паха были пропитаны тёмно-красным. Молния скалилась из липкого чернильного пятна, как скошенный мелкозубый рот. Юра попытался убедить себя, что кровь натекла с пальцев... теперь и это казалось утешением... но Вита разрушила надежду:

– Я говорила ему, что жду ребёнка. Он улыбался. Улыбался. Ему это нравится. Нравится. Рушить чужую жизнь бесповоротно! Понимаешь? – Её голос задрожал. – Принеси водки.

– Ты?..

– У меня была задержка. Хотела сделать тебе сюрприз, и вот... Сюрприз!

Он больше не мог сдерживать слёз. Он должен был крепиться – но как пересилить такое?

– Всё моя вина, – прошептал Юра, и на этот раз Вита не возразила. Он бы сжёг проклятую статью, все свои статьи вместе с редакцией, да что там – отгрыз бы собственные пальцы один за одним, только бы не слышать это молчание.

Наконец Вита заговорила:

– Он позвал дружков. Заставил их смотреть. Кажется, они не очень хотели. Но остались.

Дружки. Наверняка, Лёха Пашовкин по кличке Пэш и Серёга Самогаев, он же Самец. Пал Потовы подручные.

Работая над «Кхмерами», Юра имел сомнительное удовольствие познакомиться с этими джентльменами лично. Подручные Пал Пота подкараулили его среди бела дня во дворе редакции. Вылезли одновременно из перегородившей тротуар чёрной лоснящейся «Бэхи-семёрки». Оба в скрипучих кожаных куртках, и эта деталь была единственной, что придавало дуэту сходства. Пэш был двухметровым белобрысым детиной с мучнисто-бледным круглым лицом, Самец – коренастым коротышкой с выдающейся, словно ковш снегоборочной машины, челюстью и серой от въевшейся грязи кожей. Контраст делал отморозков почти комичными, но Юре стало не до смеха, когда Пэш перерезал ему путь.

«Шеф передаёт привет», – прогундосил он вместо приветствия, а Самец присовокупил: «Никаких больше статей. Предупреждение первое, оно же последнее. У Пал Пота без шу-

ток». «Ну это ты загнул, "без шуток"», – гоготнул Пэш. Из его подмышки торчала свёрнутая газета – естественно, «Пульс Нежими». Этой газетой он с отяжкой хлестанул Юру по лицу – тот даже увернуться не успел. Разлетевшись, страницы мёртвыми мотыльками-переростками облепили тротуар. Быки забрались в «семёрку», врубили магнитола – «О-о, я у-топ-лен-ник!» – и укатили, а Юра, выдохнув, отправился в редакцию дописывать статью.

Всё это промелькнуло в очумелой голове, когда он на ватных ногах пробирался в кухню. Уши пылали. В кухне он загремел дверцами шкафов, утратив всякую способность соображать: где водка? где стакан? что взять первым? зачем он здесь? На глаза попались отпечатки багряных полукружий на белом боку «Юрюзани» – следы Виткиных пальцев. В голове прояснилось.

С бутылкой «Столичной» и гранёным стаканом Юра вернулся в зал. Вита встретила его безучастным взглядом. Он наполнил стакан до половины («Пессимист скажет: "наполовину пуст", оптимист: "наполовину полон"!») и поднёс к её губам. Вита запрокинула голову и проглотила прозрачную, терпко пахнущую влагу, как воздух, не поперхнувшись. Взор Виты просветлел.

Юра глотнул прямо из бутылки. Водка ошпарила горло и шрапнелью обдала пищевод. Желудок стянуло в узел. Давя спазм, Юра прижал запястье ко рту.

– Я убью его, – промычал он в рукав. Решение пришло

внезапно, как вдохновение.

Глаза Виты разгорелись сильнее, а на искусанных губах впервые расцвела улыбка. Мстительная.

«Но как?» – отозвался внутренний голос. Даже если Юра раздобудет ствол и заявится к Пал Поту в коттедж, отморозки окажутся быстрее. Может, Юра, как говорили его коллеги, и появился на свет с авторучкой в руках – но Пэш и Самец определённо родились с пушками.

«Как?»

Коллеги... Где-то здесь крылась подсказка.

Вита поднялась и обняла его, не смыкая пальцев. Сгибы рук оплели его шею, как изломанные ветки. В её резких выдохах слышался алкоголь. И Юра вспомнил.

Володя Абрамов, заведующий пульсовской рубрикой «Калейдоскоп аномальных явлений». Журналист, чьим девизом было: «Только проверенные факты». И его статья об охотнике Айсене Тингееве из далёкого якутского села. Неопубликованная – Геннадич счёл её слишком фантастической.

– У меня жбан от тебя трещит! – делано возмущается Пал Пот. Белый фартук, который он напялил, делает его похожим на пекаря, и только окровавленный молоток в руке портит сходство. – Ты совсем не держишь удар. Ну и ничтожество же ты. Кто бы мог подумать?

Он присаживается перед стулом на корточки и цапает

Юру за ступню. Раздробленные колени Юры превратились в перекаченные футбольные мячи, полные яда и бутылочных осколков. Пал Пот игнорирует его бесплодные попытки сопротивляться и стягивает с ноги кроссовку, затем носок. Прodelывает то же со второй ступнёй.

– Фу-фу-фу! – Пал Пот укоризненно трясёт головой. – Ножки-вонючки!

И потешно чихает, моргая так сильно, будто хочет ущипнуть веками.

– У меня даже аллергия прорезалась. Прямо как на собак. – Он и впрямь гундосит. – Итак. Пойдём снизу.

Пал Пот прижимает ладонью ступню пленника к полу и прицеливается молотком.

– Сорока-ворона, кашку варила, деток кормила, – затягивает он нараспев. – Этому дала...

Молоток обрушивается на большой палец. Горло Юры опухло от криков, но он не может не кричать.

– Этому дала! Этому... эй, не вертись, куда?! Сиди спокойно... Дала! А этому... А этому тоже дала!

Каждый удар добавляет свою ноту в симфонию агонии. Юра глохнет от собственных воплей. И теряет, теряет, теряет способность соображать. Может, оно и к лучшему.

Тупая сталь разит без жалости, и мизинец с хрустом превращается в лепёшку, пульсирующую и дёргающуюся. Пал Пот склоняется над второй ступнёй. Он дышит тяжело, лысина блестит от испарины, но, когда Пал Пот окидывает Юру

мимолётным взором, его глаза пышут неукротимой силой.

– Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Мы немного отдохнём и опять писать НАЧНЁМ!

Пять стремительных ударов подряд – никакого тебе обещанного отдыха. Юра бьётся и хрипит. Бьётся и хрипит.

– Нет, не начнём писать. – Пал Пот качает лобастой, как у инопланетянина, башкой. В бровях запутались и блестят бисеринки пота. – «Бизнесмен или бандит», так называлась твоя первая статья, да? Хотел узнать? Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. А я тебе твой нос в башку вколочу.

Он натужно поднимается. Его колени щёлкают, словно кастаньеты. Сквозь пелену слёз Юра замечает, как мощно топорщится фартук внизу. У Пал Пота стояк.

Тошнота подкатывает к горлу, и Юра икает. Даже икота нестерпимо мучительна. Он стонет. На крик уже не остаётся сил.

– Зачем ты «Мерин» расцарапал, мудло? – рычит Пал Пот в лицо Юре.

Удар молотком по плечу. Чувствительно, но не сравнить с пожаром, охватившим ноги. Пульсирующее пламя поднимается от изувеченных ступней до бёдер и выше, пожирает желудок, сердце, мозг. Перемолотые пальцы дрожат, как издыхающие мышата, которые из последних сил пытаются уползти. Пал Пот наступает Юре на ногу, а взрывается у Юры в голове, и он забывает собственное имя. Пал Пот в упоении скалится.

Откуда-то с другого конца галактики доносятся электронные трели. Негромкие, но от них у Юры свербит в ушах. Пал Пот не торопится убирать пяту, но в конце концов всё же идёт за сотовым. Боль терзает плоть, как ржавый капкан. Юру – имя вернулось – выворачивает при одной мысли о том, чтобы взглянуть на пальцы ног.

Вся его затея оказалась дерьмом. От осознания этого леденеет сердце.

Пал Пот прижимает к уху антрацитовый брусок «Моторолы».

– Вернулись? – Пауза. Взгляд Юры прикован к молотку в руке Пала Пота. Рука расслаблена, и молоток кажется почти безобидным, но Юра видит на его головке рдяные росчерки. – Ну дуйте сюда.

Пал Пот кладёт телефон на полку и вальяжно направляется к жертве. Юра вжимается в спинку стула. Лёгкие словно заполнены цементом, и шершавый воздух гаража проталкивается в грудь с мучительными спазмами. И... что это там у Пала Пота в кулаке?

Будто прочитав его мысли, Пал Пот разжимает пальцы. На потной ладошке Юра видит россыпь гвоздей.

– Сначала я приколочу твои яйца к стулу. – Пал Пот так и говорит: «яйцы». На его щеках, прежде иссиня-бледных, блуждает румянец, похожий на крупную сыпь. – Я хотел раздолбать их молотком, но я это уже делал с тем педиком. Гвозди – это у нас на сладкое, на сладкое. Ты, главное, не засни. –

Он гортанно всхлывает над собственной шутейкой, и в горле его клокочет, точно оно забито мокротой. А Юра внешне понимает, что запах виски в дыхании Пал Пота стал сильнее. Запах настолько отчётлив, что Юра буквально видит волны, разбегающиеся по шуршащему ячменному морю, и грозное августовское небо над ним, и гонимых ветром птиц. Он назвал бы марку виски, если бы в нём разобрался.

Впервые с той минуты, как Юра очнулся в этом филиале ада на Земле, он ощущает нечто совершенно новое: надежду.

Которую тут же уничтожает Пал Пот.

– Ручку этого молоточка, – шепчет он доверительно, – я затолкал твоей бабе прямо в...

Октябрьским утром «Шишига» привезла в коченеющий под смурным якутским небом посёлок Алын консервы, крупы, соль и порядком помятого на зимнике Юру Барашкина. Вывалившись из грузовика, он, полусонный, едва не растянулся перед сельпо. Случившийся поблизости плосколицый старик в треухе безучастно наблюдал, как Юра заново учится ходить.

Внутри Юру встретили продавщица, выглядывающая из-за коробок с сахаром и банок с соленьями, которые громоздились на прилавке по обе стороны от кассы, да другой старик, закутанный в дублёнку. За показным равнодушием глаза селян таили настороженность и презрение – чувства, с которыми Юра успел свыкнуться в этих горьких краях.

Он осторожно поставил рюкзак на прилавок, стёртый временем до проплешин, и извлёк на свет банку тушёнки и четыре апельсина.

– Здравствуйте. – Приветствие глухо кануло в выжидающую тишину. – Я ищу, где можно остановиться дня на три.

Тишина ответила неприязненным раздумьем. Юра хотел добавить к гостинцам вторую банку тушёнки, когда старик подал голос:

– Водка есть? – Скрипучий – будто не человек говорил, а кедр.

Получив бутылку «пшеничной», старик молча вышел за порог и ткнул в сторону двухэтажного бревенчатого барака в конце улицы, под просевшей крышей которого горело оконце. Морозный воздух врвался в магазин и жёг ноздри. Продавщица что-то сердито крикнула на якутском, и старик откликнулся столь же сердито.

– Я ищу Айсена Тингеева, – осмелел Юра.

Старик с продавщицей обменялись взглядами, после чего разом повернулись к пришельцу. На этот раз в их глазах Юра безошибочно прочитал враждебность. Старик протопал в тепло, показывая, что разговор окончен. Торопливо покидав в рюкзак тушёнку и фрукты, Юра покинул магазин. Продавщица плюнула ему вслед.

Он снял комнатуху у Вальки, костлявой тонкогубой тётки с мышинным носиком и щёточкой усов под ним. Сторговались за две бутылки водки и банку сгущёнки. После чего

Юра, не мешкая, приступил к поискам.

Селяне выказывали дружелюбия не больше, чем обитатели сельпо, а заслышав о Тингееве, и вовсе показывали спины. Один якут, правда, тут же вернулся из избы – с «мосинкой» наперевес. Юра ретировался. Молодёжь недобро цыкала на него из-под мохнатых козырьков шапок, дети кидали вслед снежки, рассыпающиеся в полёте, и бежали за ним пискляво бранящейся стаей. Косматые псы с рёвом кидались на изгороди, мимо которых семенил, поскальзываясь, незадачливый визитёр. День принёс одни разочарования. Вечер настал быстро, навалился чёрным необъятным зверем на село, скованную льдом реку и притаившийся неподалёку лес, загнал Юру в его каморку. В доме пахло шерстью и скисшими носками, а снаружи, под заиндевелым оконцем, блуждали гибкие тени, грубо и непонятно перекликаясь.

Ночью в комнатёнку, где было зябко даже под колючим пледом, пробралась с недвусмысленным намерением пьяная Валька. Ёрзала, ввинчивалась под одеяло, проталкивалась сквозь протестующие Юрины руки. Её икры были ледяными, твёрдыми и шершавыми, как кора. Валька называла Юру по-русски «вкусненьким» и сквернословила по-якутски, когда он сумел вытолкать домогательницу в коридор. После Юра долго стоял с колотящимся сердцем, упёршись спиной в дверь. Слушал, как по другую сторону скребётся, скулит и жалится истосковавшаяся душа. Так и не выспавшись, наутро продолжил поиски.

Под вечер ему повезло.

К нему, понуро бредущему вдоль реки и сшибающему ногой в промёрзшем ботинке верхушки сугробов, подошла старуха, утопающая в шубе по губы.

– Айсена ищешь?

– Ищу, – встрепенулся Юра.

– На зимовье ушёл.

– Как это?

Старуха молчала. Юра опомнился, суетливо полез в исхудавший рюкзак за водкой.

– Когда приходит зима, Айсен идёт в леса, – плавно завела старуха, глядя на изломанную берегами полосу льда. Огромные зрачки делали её глаза чёрными, как у жука. – Редко в Алын приходит. Пока снег не сойдёт, остаётся в лесах. Там его избушка.

– Как его найти? – выпалил Юра, протягивая бутылку.

Старуха не спешила принимать «пшеничную».

– Вон тропинка, – махнула она тяжёлой от шубьего меха рукой в сторону леса, где стена сосен, угрюмых часовых, расступалась для каждого смельчака... или безумца. «А есть ли разница?» – задался Юра вопросом. – Снега пока мало, сильно не занесло. По льду быстрее, но ты не знаешь, где свернуть. А показывать тебе никто не станет.

– Спасибо! – поблагодарил Юра пылко. – Возьмите, вот...

Якутка оттолкнула подношение рукой в варежке.

– Себе оставь. Я не беру ничего у тех, кто не вернётся.

– Что?

– У мертвецов, бэдик¹.

Он сунул поллитру в карман пальто. Пусть и зимнее, оно грело скверно, но сейчас Юру колотило не только от холода.

– Я вернусь, – ответил он убеждённо.

Старуха выгнула бровь, и Юра подумал: «Кажется, впервые за два дня я вижу мимику».

– Другие то же говорили, – произнесла старуха значительно. Юра почувствовал, как всё внутри оборвалось и ухнуло вниз, словно в лифте с оторванным тросом.

Только что с того? Он зашёл слишком далеко, чтобы отказываться от задуманного.

– Может, возьмёте консервы? – У него осталось ещё по банке тушёнки и сгущёнки.

Якутка молча развернулась и поплыла прочь по берегу, будто не касаясь земли.

– Это правда, что про него говорят? – крикнул Юра вслед. – Что он... бессмертен? И про... остальное?..

– Всё правда, – не останавливаясь, отозвалась женщина. На миг Юра увидел её молодой и статной, преобразившейся под мутной линзой сурового первобытного неба.

– Спасибо, – сказал он уходящей.

– За такое не благодарят. Бэдик.

Когда он возвращался на постой, от забора возле барака отлепились две согбенные тени. Одна приставила к его под-

¹ Дурак (якутск.).

бородку нож, здоровенный – чисто сабля. Вторая тень стянула со спины Юры рюкзак. От теней пахло спиртом и солёной рыбой. Тиская добычу, они растворились в подступающей ночи.

Юра почти не расстроился. Кошелёк и документы лежали во внутреннем кармане пальто.

И он добыл информацию.

Ночью он не спал, ожидая второго визита Вальки – её одинокого голода, её безобразно шершавых пяток. Не дождавшись, до рассвета оделся, на цыпочках вышмыгнул из комнаты, покинул хибару и решительно зашагал по-над берегом – туда, где сосны расступались перед смельчаками и безумцами.

Юра кричит. Его глотка – выжженная пламенем преисподней пещера, его сил хватает лишь на дрыганье головой, поэтому он кричит без звука. Кричит про себя.

– Вот-от-от-от-от, – Пал Пот ободряюще хлопает его по щеке. Юра косится, видит шляпку гвоздя, кривой поганкой вырастающего из кисти правой руки, и забывает дышать. – Передохнул? Ты скажи. Кивни там или моргни. – Сама работа.

Дыхание возвращается – сиплые, суматошные всхлипы. Сочувственная улыбка Пал Пота покачивается перед ним, словно лодка на волнах Стикса. Всё, о чём Юра думает, глядя на неё: в какой глаз вобьёт ему гвоздь лысое чудище? Ле-

вый? Правый? Оба? Как же он тогда сможет писать?

Стук в ворота.

Улыбка Пал Пота ширится, из-за растянутых до синевы губ показываются черепки кривых зубов. Юра чует кариозный душок.

Нет, не просто чует. Он может назвать, какой именно зуб гниёт и, возможно, изводит Пал Пота: зуб мудрости, нижняя челюсть, слева.

Пал Пот торопится к воротам. Лязгает рубильник, и створка, дребезжа, ползёт вверх. В гараж врываются новые запахи: стылой сырости и прелой листвы, туалетной воды и потных подмышек, обувного крема и кожаной куртки, и ещё какой-то до боли знакомый запах: медовый и тёплый, как аромат яблок с корицей, только что вынутых из духовки.

С дождя входит Макс Киренцов, ещё один подручный Пал Пота – стриженный ёжиком смуглый крепыш с поросячьими глазками и вечно намозоленными костяшками крепких кулаков. Снаружи на тропинке, ведущей к дому, маячит Лёха Пэш, старый знакомый. Киренцов тащит что-то, закинув на плечо.

Кого-то. Юра видит тонкие ноги и бёдра, обтянутые джинсами, очень хорошо ему знакомые ноги и бёдра, видит ботиночки с плевками грязи на подошвах, и «нет-нет-нет-нет» в его голове гремит, будто нескончаемая вереница вагонов, летящих с обрыва.

Киренцов приседает и стряхивает ношу на пол. Вита уда-

рятся о бетон плечом и виском. Стонет. Она жива, но от этого не легче. «Нет-нет-нет-нет» сливается в «нетнетнетнет».

– Покури иди, боец, – позволяет Пал Пот, и Киренцов ретируется – не без облегчения. Дверная створка опускается. Пал Пот становится над телом, широко расставив ноги.

Юра тянет шею, таращит глаза. Лодыжки и запястья Виты обмотаны скотчем. Скотч на губах. Она, похоже, без сознания – но это ненадолго, Юра видит, как трепещут её веки.

«Она же у тётчи!», – думает он, и тут Пал Пот пинает пленницу по рёбрам с воплем:

– Подъём!

Глаза Виты широко распахиваются, пунцовые щёки раздуваются, как и шея, скотч на губах вспухает, превращая крик в мычание. Пал Пот передразнивает:

– Му-му-му!

Взгляд Виты находит Юру, и её глаза почти вылезают из орбит, вздёрнутые брови раздирают лоб, и крик всё же прорывается сквозь скотч.

– Я загандошу её, а ты будешь смотреть! – Пал Пот потрясает молотком, будто ребёнок-переросток – погремушкой. В иной ситуации Юра бы рассмеялся. – Я загандошу его, а ты будешь смотреть! – орёт он, склоняясь над Витой. – Чёрт, я прям в непонятках! С кого начать? Всё так *соблазнительно!*

Лес встретил напряжённой тишиной. Её не прерывал ни треск упавшей ветки, ни уханье снеговой шапки, сорвавшей-

ся с древесной лапы. Хруст собственных шагов доносился точно издалека, и Юра не мог избавиться от ощущения, что кто-то бредёт за ним в предрассветных сумерках. Нетронутая звериным следом белизна прогалины петляла меж стволов. Снег набивался в ботинки и тянул ноги к тропке. Юра прочищал ботинки пальцем, но спасало это ненадолго. Когда робкое солнце поднялось и запуталось в объятьях сосен, он перестал ощущать ступни. Крепнущий мороз стеклянными когтями сдирал кожу со щёк. Под зимнее пальто, слишком лёгкое для этого царства мёртвых, пробиралась дрожь, и всё чаще в голове всплывали слова старухи, как он их запомнил: «Другие тоже говорили, что вернуться». Сейчас в них звучала насмешка.

Юра брёл вперёд.

Ближе к полудню он добрался до развилки, о чём якутка не предупреждала. Юра выбрал левый поворот и спустя час вышел к окаменевшей от стужи реке. Словно судьба давала последний шанс вернуться по льду в Алын. Юра его отверг.

Он вернулся на развилку и заковылял по другому ответвлению тропинки. Онемевшие ноги ожили – горели и пульсировали, как гнилые зубы.

Юра брёл вперёд.

Сумерки обступили внезапно и отовсюду. Так в кинозале меркнет свет перед сеансом. Над головой колючие звёзды застревали в ветвях. В их нестройный хоровод вкатилась зубоскальная луна, окутанная белесой дымкой, точно сава-

ном. Абаасы, злые духи, корчились в переплетениях теней и алчно нашёптывали голосом старой якутки: уже неважно, повернёшь ты назад или нет, слишком поздно, ты – тот, кто *не вернулся*.

Юра брёл вперёд.

Когда рыжая искорка замаячила впереди, он решил, что видит мираж, последнее порождение скованного льдом мозга. Искорка разгоралась. Танцуя, плыла навстречу. Юра надрывно закашлялся. Горло наполнилось вкусом ржавчины. Чёрным одноглазым медведем из сугробов выросла изба. К её боку медвежонком жался сарай. Юра в беспамятстве вскарабкался по ступенькам и занёс руку для стука. Дверь растворилась сама. Свет жилища выплеснулся на снег, как расплавленная медь.

– Я ищу Айсена Тингеева, – прокаркал Юра фигуре на пороге. Занозистые слова с трудом проталкивались сквозь воспалённое горло.

Щёлкнули курки. В грудь Юры упёрлась сталь.

– Ты его нашёл, – сказал Айсен Тингеев, крепче сжимая двустволку. – Пока можешь, уходи.

– Нет, – покачал головой Юра.

Даже у слов был вкус крови.

Пальцы ног. Он наконец решается на них взглянуть. Изпод сорванных ногтей пунцово и сочно лохматится мясо, костяшки раздроблены, ступни в струпьях, как в застывшем

воске. Кровь остановилась. Пальцы всё ещё крючит от боли, но к ней примешивается зуд. Мощный, нестерпимый и... знакомый. Он поднимается от стоп, расплзается до колен, и кажется, что ноги пожирают полчища муравьёв.

Юра вытягивает шею, чтобы разглядеть лучше, наклоняет голову и слышит скрежет щетины по воротничку кофты. Вспоминает, что брился утром. Касается языком прорехи на месте клыка и нащупывает в солёной мякоти бугорок, твёрдый и гладкий. Дёсны тоже зудят.

Пал Пот оглядывает его пристальней. Затем налетает и наотмашь лупит по скуле молотком. Череп наполняется хрустом, словно раздавили горсть леденцов.

Вместе с сиплым воем Юра выкашливает кровь. Её брызги расцветают на фартуке Пал Пота ржавыми веснушками.

Точно бабуин, Пал Пот скачет по гаражу к Вите – воодушевлённый карапуз, попавший в магазин игрушек перед Новым годом. Принимается лупить её молотком. Юра зажмуривается, но тщетно – он видит всё на мысленном экране. Не зная устали, молоток взмывает и падает, взмывает и падает. Пал Пот будто повар, отбивающий корейку перед тем, как бросить на сковороду. Вита безмолвно корчится, пытается увернуться. А потом прекращает.

«Я убью его», – обещал Юра, отправляясь на поиски Тингеева. «Да, убей», – прошептала Вита, когда Юра вернулся из Якутии.

Теперь, когда зуд охватывает всё тело – мощный, грозя-

ший разорвать каждую клеточку – и мышцы наливаются силой, он вновь верит, что исполнит обещанное.

Лишь бы не стало слишком поздно.

– А ружьё где? – Охотник всмотрелся в темноту, сгущающуюся за порогом.

– У меня его нет, – просипел Юра. От входа в избу тянуло теплом. Слезы, оттаяв в уголках глаз, покатались по щекам.

– У других были, – сказал Тингеев, кивая вглубь избы, где на одной из задрапированных шкурами стен висел целый арсенал. – Тогда зачем пришёл?

Его лицо оставалось в тени, и Юра пытался угадать, что за человек целится в него из двустволки. Говорил Тингеев мелодично и распевно, точно слагал легенду. Человек с таким голосом не станет стрелять... Ведь не станет?

– Зачем пришёл? – повторил Тингеев.

Вместо ответа Юра со стоном стянул перчатку с омертвевших пальцев, расстегнул верхние пуговицы пальто и принялся шарить под шарфом. Наконец нашёл и протянул Тингееву стопку сложенных вчетверо пожелтевших газетных вырезок, среди которых затесалась и статья Володьки Абрамова. Та, из рубрики «Калейдоскоп аномальных явлений».

Поколебавшись, Тингеев принял бумажный прямоугольник из задубелых пальцев незваного гостя. Чуть повернулся к свету керосиновой лампы, стоявшей на полке, и тот бархатно огладил лоб, скулу и подбородок хозяина – будто ме-

сяц выплыл из облаков.

Тингеев перебрал статьи указательным и большим пальцем одной руки.

– Ты спятил, нуучча, раз знаешь и пришёл сюда, – произнёс он. Тингеев всё ещё целился в Юру, но покачивающиеся дула двустволки теперь смотрели ниже. – И обратно не дойдёшь.

– Так и есть, – согласился Юра, стуча зубами.

– Тогда тебе лучше уйти в лес и замёрзнуть. – Тингеев, казалось, раздумывал над этой возможностью. – Кто ты? Собиратель баек?

Юра подумал, что это близко к истине.

– Научи меня, – сказал он без обиняков. Время уходило стремительно, как тепло из сердца, которое ещё минута – и остановится, и тогда всё – его путь, его страдания, – окажется напрасным. И ему хотелось в тепло. Просто в тепло. Нестерпимо хотелось.

– Довольно тут падали, – туманно произнёс Тингеев, опять поднимая ружьё... но и отступая на шаг. – Заходи, нуучча. Быстро!

Юра ввалился в избу, споткнулся и едва не полетел через порог.

– Закрывай, стынет! – прикрикнул Тингеев.

Юра повиновался. Зачарованный теплом, замер у закрытой двери, и Тингеев прикрикнул снова. Юра стряхнул промёрзшие ботинки и без спросу напялил мохнатые тапочки.

Тингеев фыркнул со смесью жалости и презрения.

Прихватив лампу, он отконвоировал Юру из сеней в единственную жилую комнату, показавшуюся огромной, как самолётный ангар, и забитую скарбом. К стенам жались деревянные нары, закиданные ворохами косматых шкур. Возле оконца раскорячился грубо выструганный массивный стол, заставленный плоскими, горшками, чугунами, холщовыми мешочками и прочей утварью. Над столом возле оконца висел календарь за девяносто второй год – позапрошлогодний. Дальняя часть избы была скрыта от глаз пёстрой занавеской. А в углу у входа пристроилась пышущая жаром буржуйка, увидев которую, Юра позабыл и свои мытарства, и их причину. Наплевав на не прекращающую его выщеливать двустволку, он затолкал в карманы перчатки и потянулся распухшими руками к гудящему за заслонкой огню.

И тотчас пожалел об этом. Онемение, сковавшее плоть почти до самых плеч, схлынуло под напором невероятной боли – будто руки угодили в смерч из битого стекла. Юра увидел, что кисти покраснели и опухли, но хуже всего дело обстояло с пальцами. Их кончики стали синими, как чернослив. Он застонал сквозь искусанные до крови губы и отпрянул, пряча руки в карманы, словно там их можно было исцелить. Но и в карманах агония разбуженной плоти не стихала. Глухими к боли оставались лишь кончики пальцев.

Не сводя с прищельца глаз – как и ружья, – Тингеев подшагнул к столу, поставил на его край лампу и плеснул из мя-

того жестяного чайника в деревянную кружку.

– Пей, – бросил он. Юра неловко поднял кружку со стола обеими руками, впитывая ладонями кусачее тепло. От кружки пахло хвоей и поднимался пар. В густом вареве плавали былинки. Юра припал губами к кружке и отхлебнул с сёрбаньем. Горячий настой со вкусом коры прокатился по пересохшему горлу, живительным огнём разбежался по жилам, и Юра впервые за день почувствовал себя счастливым. Он глотнул ещё, ошпарил язык, поперхнулся. Брызнуло из оттаивших ноздрей.

– Научить тебя, – проговорил Тингеев без интонаций. То ли спросил, то ли согласился.

Наконец Юра смог рассмотреть лицо хозяина. Молодое и скуластое, бесстрастное и привлекательное... если бы не глаза. Они казались старыми – нет, древними, *неуместно* древними для столь юного лица. По плечам Тингеева струились чёрные волосы, бородка же, напротив, была снежно-белой. Будто тело Тингеева старилось с разной скоростью... или молодело частями, тогда как прочие черты плыли по реке времени в положенном направлении. Вздрагивающий огонёк лампы заставлял пуститься в пляс изломанные тени по углам избы, что усиливало впечатление неуютa. Если у Юры и оставались сомнения насчёт Тингеева, то сейчас они отпали.

– И ты поверил? – Тингеев словно прочёл его мысли. Он обошёл Юру по широкой дуге, открыл печную заслонку и

швырнул в пламя газетные вырезки. Они исчезли с тихим «фуф». Тингеев вернулся к столу, уселся и, прислонив ружьё к стене – уже хорошо, отметил Юра, – принялся выскребать ложкой из миски остатки какой-то похлёбки. Не дожидаясь приглашения, Юра уселся напротив, обнимая ладонями кружку с волшебным настоем и стараясь не глядеть на свои пальцы. Пахло кедром, грибами, травами... и зверьём. Юра заговорил:

– Володя Абрамов написал одну из тех статей. Он объездил полстраны, а может, и полмира. В этих краях был с геологами. Здесь ему и рассказали о тебе. Вот он – собиратель баек. Только это не просто байки. Володька всегда проверяет информацию.

Ложка шкрябала, Тингеев причавкивал. Казалось, слова пролетают мимо его ушей.

– Он пишет о вещах, в которые мало кто верит. И я бы не поверил. – Юра сделал паузу, собрался с мыслями, решил: – В детстве на каникулах я гостил у бабушки в деревне. Однажды к деревне повадился шастать волк. Он объявился весной, и когда я приехал летом, успел натворить дел. Подрал овец и даже лошадь. Лошадь, представляешь? В одного. Огромная была зверюга. Бабушка запретила мне гулять по вечерам, хотя волчара в саму деревню не совался и вообще запропал. Но спустя неделю, как я приехал, объявился снова и напал на человека. На тракториста. Дядя Сева. Загрыз насмерть. Выпустил кишки, но не стал есть. Тогда подумали,

что волка спугнули.

Ложка царапала по дну опустевшей миски.

– Бабушка собиралась меня отправлять домой... Короче, мужики решили устроить засаду. Привязали козлика у леса, сами попрятались. Но волк не будь дурак, носа не показал. До июля.

Юра судорожно вздохнул, отпил из чашки, поморщился, мучительно, нутряно закричал.

– В июле, негаданно-нежданно, волк забрёл в деревню. Ночью. Кто-то заметил, поднял шум, мужики повыскакивали на улицу и устроили пальбу. Штурм Рейхстага! Я выскочил из кровати и напрямик к окну – к стеклу носом. Ночь ясная, звёздная... и лунная. Грохало совсем рядом, чисто салют. Бабушка проснулась, раскричалась с перепугу, из комнаты в комнату мечется, крестится. Вот тогда я и увидел *его*. Волчищу. Огромного, что твой медведь. Пёр меж заборов, словно локомотив, ломая сирень. Холка дыбом, пасть как капкан и глаза горят – янтарь кровавый. В нескольких шагах от меня! Прежде, чем убежал, он...

Юра глотнул воздуха и выдал:

– Он встал на задние лапы. Не подскочил, а побежал. *На задних лапах*.

Тингеев задумчиво водил ложкой по краю миски.

– В него попали дюжину раз, мужики так говорили, и я им верю, – закончил историю Юра. – Я видел кровь наутро. Её следы тянулись через всю деревню. У нас на заборе тоже

остались брызги, и бабушка смывала их потом святой водой. Я был пионером, но я над ней не смеялся. Я сам видел *нечто*. О таких вещах пишет Абрамов в своей рубрике. Потому я ему и поверил.

Тингеев отложил ложку и поднял на собеседника свои странные стариковские глаза.

– А кутуруктаах²?

– Волк? Ушёл. Говорили, в соседнем селе на отшибе жил бобыль. Он съехал тем же утром. Хату бросил – и с концами. У нас потом узнали. А волк не объявлялся больше.

– Как всё знакомо... – произнёс Тингеев в пустоту. – Три года назад в село стал хаживать бөрө³. Корову драл, лошадку драл. Захотели бить бөрө. Я, Миша и Эрхан. Славные были охотники. Кутуруктаах задрал Мишу, задрал Эрхана. Меня отметил.

Он закатал рукав кофты и показал предплечье. Юра не сразу различил на коже белесый узор старых шрамов.

– В следующую полную луну я сам стал кутуруктаах.

– За этим я и пришёл, – взмолился Юра. – Мне нужен этот дар!

Якут затрясся в беззвучном смехе.

– Это не дар. Это мета Аллараа дойду, Нижнего мира. Ни один шаман не сотрёт, ни один абаас не отменит. Это проклятье, нуучча.

² Хвостатый (*якутск.*).

³ Волк (*якутск.*).

– Дар, проклятье, магия вуду, новогоднее волшебство, – зачастил Юра, ощущая, как закипает внутри нетерпение. – Без разницы. Я добирался сюда из Якутска по самой худшей дороге, что мне когда-либо попадалась. В деревне мне плевали в спину, грозили спустить собак, ограбили. Я топал сюда полдня, обморозил и нос, и хер. Я не уйду ни с чем.

Тингеев взирал на подёрнутую паутиной инея гладь окна. Лицо его оставалось безмятежным. Незыблемым, как лёд.

– Если легенды правдивы и я подгадал верно, сегодня *та самая ночь*, – не сдавался Юра. – Подходящая. Возле дома я видел сарай. Я запрუსь в нём. Когда всё случится, просуну руку наружу. Один укус и...

– Нет, – обронил Тингеев, не размыкая трещины рта. Горло Юры сдавила невидимая дерябая длань.

– Пожалуйста. Есть очень плохие люди, *ужасные* люди, хуже любого волка, я журналист, и когда я написал статью...

– Всё равно, кто ты, – оборвал Тингеев, оборачиваясь к Юре. В голосе охотника он явственно расслышал гортанную «р». Она звучала даже в гласных звуках. Вибрировала, отчего встрепенулся присмиривший было огонёк лампы.

А ещё глаза Тингеева. Их заполнял блеск, которого прежде не было. Янтарно-красный.

– Я не дам тебе то, за чем ты пришёл, бэдик.

– Тогда пристрели, – просипел Юра. – Мне эту ночь один фиг не протянуть.

Тингеев нагнулся за ружьём, и в следующую секунду на

Юру вновь усталились дула, огромные и бездонные, как тоннели метро. Оттаявшее сердце затрепетало в капкане рёбер. Жить хотелось отчаянно – что бы он там ни говорил.

– Вставай, – велел Тингеев. Юра подчинился, упираясь в стол зудящими ладонями. В затёкшие обмороженные икры впились клыки десятков потревоженных змей. Ядовитых.

Тингеев повёл ружьём – двигай, мол, – и Юра вышел на середину комнаты. Трафареты их теней метались по углам избёнки, как осколки в калейдоскопе. Всё казалось нереальным.

– Туда. – Тингеев мотнул головой в сторону дальнего угла комнаты, отгороженного занавеской. Юра заковылял к ней, перестав что-либо понимать. Тингеев поворачивался за ним, не прекращая целиться – точь-в-точь стрелка гигантских часов.

– Ну! – нетерпеливо прикрикнул он замешкавшемуся у занавески Юре.

Юра откинул ткань и заглянул за полог. Ощущение сна усилилось.

За занавеской обнаружилась здоровенная, под потолок, сварная клетка. На её двери висел амбарный замок, а из замка торчал ключ. За толстыми прутьями не было ничего, кроме медвежьей шкуры и притулившегося к решётке ржавого ведра.

– Полезай.

– Чего?!

Тингеев ткнул его в лоб дулами. Пришлось исполнять. Юра кое-как справился с замком – руки превратились в варёные клешни, – забрался внутрь и беспомощно воззрился на охотника.

– Я смастерил её для себя, – объяснил Тингеев. – Когда наступает срок, я забираюсь в клетку и запираюсь изнутри. Бөрө не может повернуть ключ. Бөрө умён, но не как человек. Я бы и сегодня так поступил, а тебя оставил бы в комнате. Но ты умнее бөрө, хоть и бэдик. *Ты* можешь повернуть ключ.

И Тингеев покачал головой, показывая, что этого никак нельзя допустить.

Он запер клетку и вернулся к столу. Ключ бросил возле лампы.

– Эй! – крикнул Юра, прижимаясь к прутьям. Страх наполнял его, как радиация, грозя перерасти в панику. В кишках заворочалось, закрутило, будто в них ковырялся заскоружлый когтистый палец.

– Я уйду в лес, – сказал Тингеев, не оборачиваясь. – С рассветом вернусь. Тропку замело мало. Я повезу тебя к селу, сколько получится. Дальше пусть тебе помогают айыы.

С этими словами он начал раздеваться. Стянул кофту, скинул штаны, взялся за бельё. Хоть и без суеты, но двигался он торопливо, и Юра понял: времени не осталось.

– Тебя правда нельзя убить? – выпалил он то, что не давало ему покоя.

– Те пытались, – равнодушно заметил охотник. Сорвал водолазку и засверкал в полутьме медным гибким торсом. – Не надо им было приходиться ночью. Луна исцеляет всё.

Подштанники скользнули с бёдер и комком свернулись у ног. Тингеев переступил через них, жуткий и чарующий в первобытной наготе. Бесшумно направился к выходу. Отблески огня из печурки оглаживали мышцы, которые, как юркие рыбы, гуляли под кожей. Юра из-за решётки провожал уходящего глазами пойманного и укрощённого зверя.

В дверях Тингеев остановился.

– В такую ночь слышно звёзды, – обронил он из-за плеча. – Одни шепчут заветные тайны. Другие заставляют выть от восторга. Третьи повергают в безумие. Но пуще всех – Луна. Луна – это звезда бөрө. *Волчья* звезда.

Его голос дрожал – от испуга ли, нетерпения, всего сразу... Юра не знал ответ.

– Тебе это нравится, но наутро рот полон крови, и хорошо, если это кровь зверя. Тогда ты напоминаешь себе: это проклятье, а не дар.

– Что такое «бэдик»? – бросил Юра вдогонку ласкаемой огненными отблесками спине.

– «Дурачок», – усмехнулся охотник. – Так называла меня ийэ. Моя мать. Иногда называет до сих пор.

Он открыл дверь и нырнул во мрак. Всполошилось пламя буржуйки, сквозняк прокатился по полу. Дверь захлопнулась. Юра остался один.

Некоторое время он стоял, обнимая прутья и глядя на сброшенную, похожую на морщинистую кожу, одежду Тингеева. Затем отлип от решётки и помочился в ведро, любезно оставленное хозяином. Струя была красной.

Он тяжело осел на пол, вытянул ноги, и закутался в медвежью шкуру. Его жгло и трясло. Сонмы незримых осколков вспарывали жилы, срезали с костей болезненное мясо. Он думал, что не заснёт – а если заснёт, то не проснётся. Сверлил взором огонёк лампы, словно тот мог удержать его в сознании.

Он заснул, и он проснулся. Казалось, лишь моргнул – и за этот миг лампа погасла. Гудела буржуйка, из-под заслонки пробивались пунцовые сполохи, но остальное пространство погрузилось в кромешную темень – чужое, затаившееся и... стылое. Под шкуру назойливо лез знакомый сквозняк, царапал коготками саднящие ступни. Юра подтянул ноги, кутаясь плотней, и вдруг остатки сна слетели, будто сухие листья под порывом северного ветра.

Сквозняк!

Дверь была открыта.

Сжавшись, Юра вытаращился в темноту, пытаясь отыскать хоть что-то, кроме очертаний буржуйки в другом конце комнаты. Не отыскал... зато услышал, и пот выступил по всей его спине.

Хриплое прерывистое сопение возле самых прутьев. Мрак дышал.

Внезапно он разросся, уплотнился, завонял мускусом и

сырой шерстью. Зацокало, застонало под когтями дерево. Польшнули напротив лица два янтарно-зелёных кругляша и окатило слюнявым жаром звериного нутра. Сердце Юры сжалось, стиснутое кулаком из костей.

Берё.

Неистовый рёв разорвал ночь. Захлёбывающийся, сотрясающий стены, заставляющий прутья звенеть. Янтарные искры скакали во тьме. Обхватив голову руками, зажимая уши, Юра вторил ревушей тени.

В клетку ударило. Казалось, содрогнулась вся хижина. Рёв сорвался в гортанный, клопочущий рык. Юра мучительно закашлялся – вместо вопля. Тень ударила снова. Рык перешёл в скулёж, полный разочарования и ярости. Тень обретала очертания, и Юра различил мечущийся из стороны в сторону клин неохватной башки с торчащими пиками ушей. Янтарно-зелёные буркалы опаляли остервенелым бешенством.

Сейчас или никогда.

Не решаясь моргать, сотрясаемый спазмами лютого ужаса, Юра подался вперёд. Зверь завыл. Заложило уши. С потолка за шиворот посыпалась труха. Зверь надрывался, клаясь клыками, но теперь Юра слышал не волчий – человеческий вой.

Этому клаянью, этому вою он и подставил руку. Прижал к прутьям предплечье.

Челюсти сомкнулись стремительно, выхватывая шмат мяса с клоком свитера. Боли не было – сперва. В следующий

миг руку пронзило, ошпарило, скрутило винтом. Заходясь от крика на все лады, Юра пополз на заднице в дальний угол клетки, баюкая растерзанную руку, как умирающее дитя.

Ничто не стоило такой боли. Ничто.

Вслед ускользящей добыче сквозь прутья протиснулось рыло, напоминающее дорожный конус, кудлатый и оскаленный. На мгновение Юра поверил, что чудище проломит решётку и доберётся до добычи: кромсать, грызть, глодать. Железо надсадно застонало, и Юра, сам не осознавая, что делает, треснул пяткой по настырному шнопаку.

Взвизгнув, чудище отпрянуло. Заметалось вдоль прутьев, изредка насакивая на клетку, пробуя на прочность, поднимаясь на дыбы. Огромное – медведь, а не волк.

Руку дёргало, как гнилой зуб. Кровь, чёрная, будто нефть, бежала сквозь пальцы, стекала по шкуре, пропитывала порванный свитер. С горем пополам Юра ухитрился снять ремень. Борясь с рвущейся к горлу желчью, перетянул руку выше укуса. Вита всегда говорила, что он горазд на безумные поступки, но сегодня Юра превзошёл сам себя.

Думая о Вите, Юра провалился в беспамяństwo, слишком похожее на смерть. Он успел осознать это с абсолютным равнодушием.

Когда он очнулся, домик охотника заливал мутный и робкий свет солнца. Дверь клетки была распахнута. Напротив на полу сидел Тингеев в одних подштанниках. Он выглядел понурым и измотанным.

– Получил своё, – подытожил он.

Юра понял не сразу. Кошмар ночи казался полузабытым наваждением. Онемевшая рука покоилась на коленях поверхшктуры. Боль ушла, и Юра решил, что рука отнялась, обескровленная. Он боязливо шевельнулся и понял, что боли нет нигде в теле – как и жара. Посмотрел на руку, стянутую коркой засохшей крови. Рана, несомненно, чудовищная, исчезла. Сквозь кровавую ржавчину проглядывало сплетение шрамов – и только. Исчезла и сливовая краснота обморожения. О боли напоминал лишь лёгкий зуд.

Юра полностью исцелился.

– Бэдик, – сказал Тингеев изнурённо и сплюнул.

Удар.

«Я убью его», – «Да, убей»

Удар.

«Я убью его», – «Да, убей»

Удар.

«Я убью его», – «Да, убей»

Удар.

Он не просто кричит – он воет, задрал голову.

Резкий, хриплый рык зверя.

Тингеев высадил Юру за развилкой.

– Дальше сам, – прервал охотник молчание, тянувшееся с отъезда. Юра не стал спорить. Слез с цыплёночно-жёлтого

«Бурана» и протянул Тингееву руку:

– Спасибо.

Уголки губ Тингеева дрогнули в презрительном подобии улыбки.

– Не колдовство рождает зло, – произнёс он туманно, не замечая протянутой руки. – Не духи, не одержимость. Зло поднимается изнутри. Нет в нём ничего, чего нет в сердце. Теперь ты проклят. С тем и живи.

Снегоход, кряхтя, развернулся и укатил прочь. Юра проводил его взглядом, мысленно пожелав пассажиру удачи, и потопал своей дорогой. Низкое северное солнце поспешало за ним, как невзрачная дворняга, не решающаяся выйти из-за деревьев. День выдался студёней вчерашнего, но он не боялся обморозиться. Варешки и валенки, подаренные Тингеевым, ещё хранили жар печки-буржуйки, но не в их тепле находил Юра бесстрашие.

Он выбрался из леса за полдень и зашагал по скрипучему снегу к знакомым домишкам. Шёл по своим же следам, так никем и не потревоженным. Казалось, он покинул деревню страшно давно, в другой жизни. Возможно, так это и было.

Собаки больше не лаяли, когда он ступил на тропинку меж двух скособоченных заборов. Наоборот – лайки скулили, забившись в будки, как побитые шавки. Когда он миновал улицу, за спиной, в самом её начале, скрипнули петли распахнувшейся калитки и грянул выстрел. Свинцовый шершень, жужжа, пронёсся над ухом и впечатался в телеграф-

ный столб. Юра побежал, пригнувшись, ожидая второго выстрела. Его не последовало, но Юра не останавливался, пока не пробежал деревню насквозь. Оступаясь, побрёл к зимнику.

План был простой. Поймать на зимнике попутку. Добраться из Якутска в Москву, оттуда – в Нежымь. Дождаться следующего полнолуния. И снова напомнить Пал Поту о себе. Так, чтоб до ярости. Чтобы сразу. Чтобы Пал Пот захотел наказать наглеца, как только он и умеет. *Как* Пал Пот умеет, Юра знал превосходно. В конце концов, он сам об этом писал.

План простой, как всё гениальное. Разве мог он провалиться?

Пал Пот распрямляется над неподвижным телом Виты, пыхтя, словно неисправный насос. Вена на его виске вздулась фиолетовым червём и сладострастно пульсирует. Юра видит её отчётливо. Его зрение обострилось – и не оно одно. Он знает, что на ужин Пал Пот ел свиной шашлык и запивал мясо каким-нибудь «Джонни Уокером». Знает, что у Пал Пота гастрит и панкреатит – чует это в его дыхании. Слышит дождь, каждую каплю из мириад – коготки, царапающие крышу гаража, – и звонкие щелчки падающих с молотка на бетонный пол алых капель. Видит длинные светлые пряди волос, прилипшие к бойку. Он не хочет смотреть на лицо Виты – на то, что от него осталось, – но заставляет себя.

Кровавая каша со студнем вытекшего глаза под содранной бровью. Осколки кости пронзают переносицу... От увиденного больней, чем от ударов всех молотков на свете. Юра выгибается и воет. Нет – ревёт, как зверь. Зуд обжигает горло, пожирает тело. И изменения ускоряются.

Пал Пот не замечает, опьянённый кровью. По-старушечьи жуёт губами. Пробует запах бойни на вкус.

– Расскажи, каково тебе, – гундосит он, подбираясь к корчащемуся на стуле человеку. – Криком своим расскажи.

До хруста выкручивается позвоночник, перемальваются и собираются заново кости, скотч вгрызается в набухающие запястья, кожа под ним лопается, чтобы опять срастись – и корчащийся человек *рассказывает*.

Пал Пот затыкает уши. Подслеповато щурясь, наклоняется к пленнику. И наконец *замечает*.

Слишком поздно.

Ручка стула выгибается, скотч лопается, и стальные пальцы смыкаются на горле мучителя. Целые. *Когтистые*. Пал Пот хватает сцапаншую горло пятерню, больше изумлённый, чем напуганный. Пятерня покрыта жёсткими волосами. Густыми, как шерсть.

Молоток падает и бьёт Пал Пота по большому пальцу ноги. Больноче. Пал Пот плаксиво вскрикивает.

Рот пленника распахивается неестественно широко, обнажая огромные жёлтые клыки. Они проламываются сквозь челюсти, чтобы рвать и терзать.

Вот теперь лютый ужас вытесняет все остальные чувства Пал Пота. Его член, до сих пор попирающий брюки, миготом съёживается, как лопнувший воздушный шарик. Пал Пот не пытается понять происходящее. Ему ясно одно: пленник больше не пленник. Они поменялись ролями.

Пал Пот дёргается и – о чудо – освобождается. Когти оставляют под подбородком саднящие борозды, которые враз наполняются влажным пульсирующим теплом. Зажимая горло ладонью, Пал Пот слепо бежит прочь, спотыкается о вытянутые ноги Виты и шмякается ничком, комично, точно клоун в репризе. Успеваает выставить руки, тем самым спасая лицо от удара об пол – но не колени. Пал Пот тонко, по-птичьи, пищит и оборачивается на создание, неистовствующее позади.

Оно теперь стоит в полный рост на гротескно вывернутых ногах. На нём болтаются обломки стула, удерживаемые лоскутами скотча. Оно горбато, и огромно, и загривком задевает потолок. Одежда сползает клоками, и из разрывов прёт чёрная шерсть. Лицо комкается с хрустом, словно копыта топчут черепицу, и сквозь изжёванную плоть проступают новые черты. Складываются в вытянутое рыло. Нос бесформенной смоляной каплей перетекает на удлиняющуюся верхнюю губу. Со звоном катятся по полу отторгнутые новой плотью гвозди.

Пал Пот визжит, неуклюже вскакивает и несётся к двери, суча руками и высоко, как в канкане, вскидывая ноги. На-

чисто забывает про пистолет, оставленный на полке рядом с мобилой. Забывает и про мобилу. Он не назовёт собственное имя, если сейчас его спросить.

Лишённый имени, он щёлкает пипкой рубильника, торчащей из щитка. Дверь начинает ползти вверх издевательски медленно, но человек без имени верит, что успеет проскочить под ней. Нагибается, и тут в спину врезается массивное, ревущее и пышущее адским пламенем. Будто джипом сбило.

Пал Пот, он же Павел Потецкий (и Павлик для мамы), впечатывается в дверь и грохается на бетон. Из разбитого носа брызжет кровь, с губ срываются слюни, а в брюках растекается горячее. Спереди и сзади.

Мощь.

Обострившиеся чувства обескураживают. Стрекочат светильники. Барабанит на пороге дождь. Скрежет двери царапает уши. Воздух за воротами пахнет разрытой землёй, хвоей, грибами, червями, ночью. Звуки и запахи наваливаются отовсюду.

Забвение.

Он понимает, что на четырёх лапах удобней, и припадает к полу. Боль уходит, уходит зуд, отовсюду, кроме головы. Забирается под череп, превращая его в улей, и принимается сверлить мозг. Названия исчезают, да они и не нужны. Достаточно образов.

Ненависть.

У входа мечется добыча. В глазах мутится от бешенства. Зуд опалает. Один стремительный прыжок – и добыча падает. Вонь и вопли. Добыча пытается ползти.

Удержат лапой. Сомкнуть челюсти на пояснице. Выдрать и перекусить позвоночник. Хрясь!

Горько.

Добыча всё пытается ползти. Цепляется ручонками, тянет пухлое разваливающееся тело за ворота, зачерпывает грязь из лужи. Грязь чавкает, лужа бурлит, гром смеётся, добыча рыдает. Зверь ревёт. Ему нравится игра.

Зуд стихает.

Зверь цепляет добычу за бедро и втаскивает обратно в гараж. Добыча голосит. Её ноги – бесполезные куски мяса, воняющие ссанью и дерьмом. Зверь брезгливо фыркает, обходит добычу и вгрызается между лопаток, перемалывая клыками рёбра и хребет. Горько. Зверь брезгливо сплёвывает.

Грохот, за ним – шлепок по холке и ожог. Едкий запах режет ноздри. Зверь вскидывает морду, с которой капает кровь – чужая. За дождём дом, а перед домом человек. Человек сжимает в руках кусок железа. Из железа идёт дым.

Затем огонь, и опять грохот, и ожог. Зверь выскакивает под падающую воду, освежающую воду, и вскачь несётся к человеку с дымящимся железом. Человек охает и скрывается в доме.

Зверь возвращается к добыче. Та слабо трепыхается в растекающейся розовой луже. Зверь обнюхивает её шею. Про-

бует языком – солёно и горько. Добыча сипит – ртом и вывалившимися лёгкими.

Зубы сжимаются на шее добычи и медленно сдавливают. Хруст. Горько. Игра окончена? Зверь воет на скрытую тучами Луну. Победно задирает над падалью заднюю лапу. Сделав дело, идёт к лежащей поодаль. К *ней*.

Она пахнет кровью, страхом и мочой – а ещё мёдом, и молоком, и печёными яблоками с корицей, только из духовки – всё забытые запахи. Что-то с ними связано. *Она* дышит ртом, потому что носа у неё нет. Дыхание прерывистое, затухающее.

Возможно, *её* взбодрит игра?

Зверь нюхает. Лижет ладонь лежащей: какова на вкус?

Кусает.

Сладко.

Выстрелы застают братву в гостинной. Поддатые Киренцов и Афоня Перельгин, тощий бандюган с узким клювастым лицом и кожей, будто присыпанной пеплом, безуспешно пытаются загнать в лузу три последних биллиардных шара. Самец раскладывает пасьянс на приземистом столике, сдвинув в сторону початые бутылки и кисло пахнущую, уже заветревшуюся, закуску. По ящику крутят музлу. Белобрысая певица надрыгается на полную, но выстрелы всё равно громче.

Самец вскакивает, задев стол и опрокинув пузырь «Смирновки» на тарелку с красной рыбой. В комнату вваливает-

ся Пэш. Его короткие волосы слиплись от дождевой воды, и кажется, будто на голову амбала натянули презерватив. Лицо белое, почти прозрачное. В лапе, здоровенной, как ковш экскаватора, выглядящий игрушечным ТТ.

– Потычу хана! – вываливает он хрипло, упреляя вопросы.

У Перелыгина и Киренцова разом вырывается:

– Чего?!

– Там волчара, – басит Пэш, запястьем вытирая сопли. – Матёрый, как я не знаю! Три маслины в него всадил – (Пэш любит приврать) – а хоть бы хны!

Киренцов безыскусно матерится, а Семец не верит:

– Чё с бугром?!

– Да сказал, чё! – огрызется Пэш, но уже не так громко: Самца он уважает и чутка побаивается. Не как Пал Пота, но всё же. – Волчара задрал. Реально здоровенный, сука!

– Па-ашли вытаскивать! – орёт Семец. Киренцов и Перелыгин бросают кии и выхватывают из кобур стволы, с которыми, кажется, расстанутся только в бане.

– Волк же...

– Ты или промазал, или утёк он... – рыкает Семец, и тут словно в насмешку раздаётся вой. Снаружи, но такой громкий и близкий, будто зверь уже в доме. Лишившиеся главара «кхмеры» на миг цепенеют. Пэш точно уменьшается в размерах, и даже Семец робеет, но тотчас берёт себя в руки:

– Завалю паскуду!.. Да выключите эту срань! – рывкает

он на телек, где Вика Цыганова поёт про любовь и смерть, добро и зло.

– Шумите, ребятки, – раздаётся дребезжащий голосок. Со второго этажа спускается по лестнице Пал Потов гость и родитель, Михаил Иванович. То ли спрашивает, то ли журит. – Озоруете. До седьмых петухов, эхе-хе.

– Щас всё решим, – увещевает Перельгин старика. – Вы к себе идите, Хал Ваныч, нельзя тут...

Вновь вой, теперь под окном. Вибрирует стекло, звенят бутылки, и в жилах каждого стынет кровь. Один Иваныч ничего не соображает – вращает глазами и вертит головёнкой.

– Завалю паскуду, – повторяет Самец, и оконное стекло взрывается. Осенний смерч влетает в гостиную, разметав чад попойки. Посечённые осколками гардины треплет буря. И вместе с ненастьем в дом врывается чудовище.

Единственная мысль вонзается в мозг Самца, как строительный костыль: «Разве это волк?»

Перельгин и Киренцов вскидывают стволы и начинают пальбу. Зверь, чёрный, как ночь, из которой он явился, припадает на лапы и принимается кружить юлой, щёлкать зубами, пытаясь поймать жалящих его шершней. Его шкура лоснится от воды. Лапы зверя скользят по усыпанному осколками паркету, а Самец думает про напугавший его до усрачки фильм «Вой», который он смотрел во времена засилья видеопрокатов.

Зверь прекращает вертеться и отряхивается – точь-в-точь

пёс, только размером с диван. Самая большая псина из всех, что Семец когда-либо видел.

А ещё Семец видит, что пули не наносят зверю вреда.

Пэш орёт трубой, и на миг Семец глохнет на левое ухо. Пэш палит вслепую. Ни одна из его пуль не достигает цели – все уходят в Киренцова, оказавшегося на линии огня. На несвежей рубаше бугая распускаются кровавые мясные цветы – под лопаткой, на пояснице. С бабьим «Ах!» Киренцов скидывает руки, делает пируэт и с кошмарным грохотом падает на столик, на бутылки и снедь. Ещё одна пуля из ТТ Пэша пробивает телек, затыкая Цыганову. Иваныч сидит на лестнице, хохочет и хлопает в ладоши, будто в такт детской песенке. Гостиную затягивает удушливый дым.

Сбитый с толку зверь крутит мордой, разбрызгивая хлопья розовой пены. Пасть распахнута, зубы – как у динозавра. Перельгин прерывается, чтобы сменить обойму, и страшнелище наконец делает выбор.

Оно врзается в Перельгина взъерошенной мускулистой торпедой, звериное рыло сминает живот, и Перельгина несёт по воздуху – ноги в стороны. Он врзается спиной в биллиардный стол. «Макаров» кувьркается по протёртому салатовому сукну. «Кр-рак!» – жуткие клыки проламывают грудную клетку с правого бока, рёбра раскрываются, как крышка сундука, и на вбуравливающуюся под кости морду хлещет густым варевом кровь. В дыре трепыхаются пузырящиеся ошмётки – изодранное лёгкое. Зверь вырывает лёгкое

и отшвыривает прочь, как нестерпимую гнусь. Перельгин скатывается со стола. Башка зверя разворачивается на Самца с Пэшем, точно ракета с тепловым наведением – на цель.

ТТ Самца лежит на тумбочке рядом с раскученным телеком. Не достать – но идея, которая осеняет бандоса, кажется куда лучше. Чулан второго этажа Пал Пот приспособил под арсенал, где, среди прочих игрушек хранится обрез охотничьего ружья. Адская тварь может быть сколь угодно крепкой, но обрезы и созданы для того, чтобы разносить крепкое в клочья.

Пэш отстрелялся. Он роняет ствол и пятится к выходу. Самец оказывается проворней. Юркает громиле за спину и изо всех сил толкает его на приготовившегося к новому броску зверя. Пэш всплескивает руками, как человек на краю пропасти. Зверь перепрыгивает стол, хвостом сметая посуду, уцелевшую после падения Киренцова, а Самец кидается к лестнице. Позади ревёт, визжит, зовёт маму Пэш. И – чавкающее, давящееся хрумканье.

– Цирк, цирк! – заливается Иваныч. – Волчок, волчок! Хвост крючком, уши торчком!

Самец коленом отпихивает старикашку и взмывает на второй этаж, грохоча пятками по ступеням. В затылок дышит смерть.

Арсенал – в конце коридора. На двери навесной замок с кодом, но Самцу он известен: год рождения Палпотовского папаши. Девятнадцать-двадцать два. Самец ловит замок тря-

сущимися пальцами, а тот не даётся, как скользкая рыбина. Наконец, замок сорван. Самец озирается – никого. Поначалу.

Затем пяточок падающего с лестницы света застигает тень. Одновременно с этим обрывается улюлюканье Ивана и раздаётся треск чего-то рвущегося.

Самец дёргает за свисающую с притолоки цепочку. Вспыхнувший плафон озаряет закуток размерами немногим больше гардероба. Сверху донизу он забит оружием и припасами. Матово поблёскивают с полок «ГТшки», «Макаровы», пара «Калашей» и одинокий «Борз». На полу – плоский зелёный ящичек с осколочными гранатами, но не он нужен Самцу. Прямо над ним, завёрнутый в ветошь, лежит на полке обрез «ТОЗ-34». Рядом – коробка с картечными патронами 5,6 и 8,5 калибра. Пять-и-шесть сгодятся на волка... обычного волка. Восемь-и-пять завалят кабана.

Самец хватает ружьё, распелёнывает, разламывает. Загоняет в стволы патроны на восемь-и-пять и разворачивается.

Зверь уже здесь. Заполняет тушей коридор. В его пасти бесформенный ком, который издалека можно принять за кокосовый орех. «Кокос» улыбается тонкими слюнявыми губами.

Нажимая на спусковой крючок, Самец кричит, надрывая глотку, но всё равно не может перекрыть грохот выстрела. Обрез норовисто рвётся из рук, Самцу удаётся удержать его лишь чудом. В ушах тонко и противно звенит.

Сквозь дым и пелену перед глазами, сквозь облако тлеющих ошмётков обоев Самец видит, как в конце коридора разгораются две янтарно-зелёные искры. Зверь разжимает клыки, и измочаленная картечью башка Иваныча с деревянным стуком падет между передними лапами.

Зверь мягко ступает по половику – такой громадный, что шерсть трётся о стены. Пасть скалится в усмешке. В зрачках – серебряный отблеск плафона. И бешенство.

Нежданная резь обжигает пах Самца соляной кислотой, когда он осознаёт, что глаза зверя – человечесьи.

В стволе, вспоминает Самец, ещё один патрон.

Он приставляет дула к своему подбородку и зажмуривается, веками выдавливая на ресницы по слезинке. Надеюсь, что осечки не будет, нажимает на спусковой крючок.

Осечки нет. Впрочем, понять это Самец не успевает.

К утру дождь выдыхается и превращается в морось, сладко пахнущую раскисшей землёй. Голый человек вываливается в этот запах из коттеджа, не заботясь о том, чтобы прикрыть наготу – только бы вырваться скорей из того, другого запаха: резни, дерьма, гнили и праха. Не удаётся: вонь ночного кошмара тянется за ним, как хвост кометы. Как безнадёга.

В желудке крутит. В голове проясняется. Человек вспоминает собственное имя и срывается на бег. Грязь жирными поцелуями хватает за пятки.

На полпути он останавливается и блюёт. Рвота красная. Горькая.

Он врывается в гараж и на полу видит её. С оглушительно бьющимся сердцем он падает на колени и ползёт, сдирая с них кожу, но нимало о том не заботясь – заживёт. Склоняется над *ней*, боясь дышать. Бережно переворачивает, придерживая за спину и затылок. Его руки дрожат, как с похмелья, и это, в своём роде, правда.

Она спит.

Засохшая кровь покрывает её бурой кожурой от макушки до пят, но сквозь отслаивающуюся чешую проступает бледная тонкая кожица затянувшихся шрамов.

Он решается выдохнуть.

Её веки трепещут.

Приподнимаются.

Вита смотрит на Юру в оба глаза взором человека, вернувшегося из страны сладких грёз. Её затылок в его ладони, будто в колыбели. Она поворачивает голову. Замечает на пороге выпотрошенную тушу Пал Пота.

И улыбается.

2022

«Четвёрка»

Впервые Вадим Самарин увидел «четвёрку» из маршрутки, когда возвращался домой и разглядывал дорогу, прижавшись бровью к стеклу. Внутри автобуса или снаружи – окружающее казалось одинаково отталкивающим, и Вадим маялся, не зная, куда обратить взор. За полгода «безлошадной» жизни он так и не свыкся с этой новой ролью.

В автобусах было душно летом и промозгло осенью. Несло чем-то горьким – совокупный запах не самых успешных членов общества; смесь алкоголя, застарелого пота и мочи. Аромат дезодоранта, редкий здесь гость, и тот вопил о своей дешёвизне. Автобусы плелись медленно, как старики на ходунках, и подолгу задерживались на остановках, даже если желающих сесть не находилось. В часы же пик людская масса напоминала плохопровёрнутый фарш. Вадим смотрел на набивающихся в салон и не находил ни одного привлекательного – а тем более, счастливого – лица. Он гадал: не произошла ли с человечеством некая мутация, которую он проморгал, пока десять лет колесил на «Субару» под «Сплин» и «Пикник», поглаживая Настю по волосам или соблазнительно голой коленке. Потом Вадим вспоминал, что теперь сам является частью этой безродной толпы, что брешь в бюджете, которую оставил развод, пока не позволяет задумываться о покупке новой машины, и тоска сжимала сердце.

Картина снаружи была не менее безотрадной. Будничный маршрут на станкозавод и обратно пролегал через добрую половину Нежими. Городишко не стеснялся развёртывать перед экс-автомобилистом свои красоты, как с равнодушным цинизмом оголяется для клиента стареющая путана. Бесцветные улицы, по которым ветер гонял не убранный с марта песок, коим коммунальщики без всякой меры посыпали зимой дороги, тротуары и немногочисленные газоны. Обрубки деревьев, похожие на трупы четвертованных, воткнутые в асфальт палачами – по загадочной причине новый мэр Нежими остервенело расправлялся с зелёными насаждениями. Рыхлые, изъеденные сыростью и плесенью, будто проказой, фасады хрущёвок и сурово-безликие многоэтажки, вырастающие из-за некрашенных оград подобно надгробным камням на могилах безымянных титанов. Вздвигающийся на постаменте выше изувеченных стволов бюст Ленина, за купол лысины и зубастую улыбку прозванный в народе Таносом. Аляповатые вывески и рекламные щиты, словно клоунский грим на щеках смертельно больного. Казалось, Нежимь мутировала вместе с жителями. Душераздирающий пейзаж заставлял Вадима постоянно вспоминать говорящее название одного фантастического рассказа: «У меня нет рта, но я должен кричать».

Из двух зол приходилось выбирать меньшее, поэтому Вадим смотрел в окно чаще, чем в салон. Обычно он считал машины. Не любые, а новые или бизнес-класса. Таковых бы-

ло мало, и счёт превращался в почти увлекательное занятие.

Автобус, который он заметил тем сентябрьским днём, не относился к бизнес-классу. Не был он и новым. Однако он приковал к себе взор Вадима с той властностью, с какой суровый хозяин дёргает за поводок рвущегося пса.

«ЛиАЗ» как «ЛиАЗ», грязно-жёлтый, будто рвота. Но Вадим ненароком заглянул в окно поравнявшегося автобуса, а сквозь него – в окно по другую сторону «ЛиАЗа». И через дальнейшее окно город выглядел *другим*. Город *изменился*.

Позднее Вадим убеждал себя, что ему причудилось. «ЛиАЗ» ехал слишком быстро, а в его салоне было темно... хотя солнце ещё не село. Какая-то надпись тянулась вдоль автобусного борта, но Вадим, захваченный видом изменившейся улицы – *якобы* изменившейся, – не успел её прочесть.

В давние детсадовские времена он надолго слёг с гриппом. Видения, которые посещали его в болезни – зыбкие, не поймёшь, где бред, где явь, – напоминали увиденное им теперь через три оконных стекла.

Сквозь автобус город был не просто чужим. Казалось, Нежимь сразил беспощадный недуг, превративший дома и фонарные столбы в нечто угрожающее, расщеплённое, спутанное друг с другом, несмотря на расстояние между ними. Подобно паутине исполинского паука, их оплетали какие-то жгуты или волокна, которые закат окрашивал в сочный цвет крови. У Вадима застучало в висках.

Прежде, чем автобус умчался, Вадим заметил ещё кое-

что. Вернее, кое-кого. Человека на заднем сиденье гнилостно-жёлтой колымаги. Тот вжимал лицо в стекло с такой силой, будто намеревался выдавить.

Да и само лицо... За полгода Вадим насмотрелся на разных типов, которые выделялись даже на фоне прочих, кажущихся отталкивающими, пассажиров. Однажды в автобус перекошено, как тарантул с оторванной лапой, вскарабкалась немолодая женщина в очках; плюхнулась на переднее кресло и разрыдалась. Затем захохотала и кубарем вылетела наружу прежде, чем автобус тронулся. В другой раз усевшись по соседству с Вадимом карлик и горбун принялись жадно сосаться и мацать друг дружку за причинные места. Ещё был вуайерист – этого вытолкали ехавшие в автобусе десантники. Наконец, седовласый, интеллигентного вида гражданин, который подсел к Вадиму и с ходу взялся рассказывать о мегарептилоиде, живущем в центре земного ядра.

Пассажир «ЛиАЗа» по праву занял первое место в городском паноптикуме, потеснив карлика с горбуном – отныне те могли претендовать лишь на приз зрительских симпатий.

Его лицо – или харя? – было располовинено розовой трещиной, что придавало лицу сходство с одной из тех здоровенных родинок, над которыми долго и устрашающе молчит дерматолог. Этим распадающимся рылом, точно огромным мушиным хоботком, пассажир елозил по стеклу, оставляя мазки цвета грязной тряпки. Один глаз съехал на лоб. Вывалившийся язык, напоминающий слизня, весь во вспененной

слоне, мотылялся под развалившимся подбородком. Вадим отшатнулся.

В следующее мгновение четырёхколёсный морок умчал прочь, оттиснув в сопротивляющейся тошнотному зрелищу памяти Вадима свой номер, нарисованный на табличке сзади: 4.

«Четвёрка, – Вадим пытался сосредоточиться на цифре, чтобы не думать о прочем увиденном. – Что за «четвёрка» такая? Новый маршрут? Очень, очень странно»

Да уж. Страннее некуда.

Делано поизумлявшись, Вадим поступил с происшествием так, как обычно обходятся с любым случаем, не совпадающим с представлениями о нормальности: забыл о нём.

Но вспомнил недели через три, когда переваливающаяся с боку на бок громада цвета испорченного желтка опять попала на глаза.

Вадим изнывал в пробке. Душная змея из машин волочила нескончаемый хвост по мосту. Сколько бы Вадим ни выглядывал в окно, его автобус оставался на середине переправы. Со скуки и без всякого удовольствия он ковырялся в телефоне. Сигнал был отвратительным.

Старая добрая «четвёрка» выскочила сзади внезапно, как чёрт из табакерки. В округлившись от удивления – и, стоит признать, испуга – глазах Вадима замельтешили мушки. Непостижимым образом «четвёрка» ухитрилась обходить плетущиеся в три ряда авто. Словно мчалась по четвёр-

тому, только для неё существующему, ряду.

В этот раз Вадим успел прочесть надпись на борту автобуса. ОСВОБОЖДЕНИЕ. Бледные полустёртые буквы с веснушками проглядывающей ржавчины. В неосознанном порыве Вадим вскинул мобильник и сделал серию снимков отрывающейся «четвёрки». Та обошла «ПАЗик», в котором ехал Вадим, вильнула на прощание кормой, уходя вправо – свободное место возникло словно само по себе – и была такова.

Вадим пролистал в телефоне последние снимки, по инерции заскочив на фото двухгодичной давности, где сияющая Настя баюкала сонную Дашу. Вернулся к свежим. Пролистал снова, уже медленно, гадая, о чём те могут говорить: он заснул в пути? Болен? Сходит с ума? В голове зашумело. Он бы упал, кабы не сиденье.

«Четвёрки» на фотографиях не было.

В памяти невольно завертелись строчки одной песни из его прошлой жизни автомобилиста. «Сплин», «Сумасшедший автобус». Песня лихая, но если вникнуть, слова в ней жутковатые:

Близиться ночь, кто-то несёт свой груз

На мост напоздали плотные, стылые, предвещающие ливень сумерки позднего сентября.

В небе горит порнозвезда

Распахнулись серые бельма фонарей, источая в сырой воздух рентгеновское мерцание. По виску Вадима поползла ка-

пелька пота.

*Сумасшедший автобус идёт домой
Падают города! Падают города!*

Вадим выронил мобильник и только тогда заметил, как похолодели пальцы.

Одним октябрьским вечером он мок на остановке под незванным дождиком. Где-то в скверах и парках капли выщёлкивали из ковра опавших листьев прелые ноты, но напротив станкозавода «Антей» пахло волглым бетоном, а в мелких лужах плавали бычки и плевки. Автопавильон на остановке подтопило, и Вадиму пришлось прятаться в сторонке под понурым чахоточным деревцем. Зонт остался дома – после развода Вадим перестал следить за такими мелочами, как прогноз погоды. Мелочи не важны, когда ты лишился главного и мир сжался до размеров... скажем, сидячего места в автобусе.

Он задержался на работе допоздна, и теперь на остановке вместе с ним мыкался пяток таких же бедолаг. Зато автобус не будет забит, утешал себя Вадим. Спасибо Господу за маленькие радости. Среди ютящихся у стен павильона он заметил Новицкого из отдела продаж. Их знакомство сводилось к коротким рукопожатиям и паре-тройке реплик, которыми они перекидывались по пути в столовую. Даже имени Новицкого Вадим не знал. Оно было ещё одной мелочью, не имеющей значения.

Вадим давно выбросил из мыслей автобус номер «четыре», но, когда из-за поворота показались и разгорелись яркие фары – жёлтые, как кошачьи глазища, с лучами, которые дождь превратил в колышущиеся щупальца, – на него навалилось дежа-вю. Разве подсознательно он не ожидал этой встречи? Ощущение дежа-вю было столь... *плотным*, что Вадим, казалось, мог щелчками высекать искры из напитанного влагой воздуха.

В полной тишине фары-глаза бестелесно плыли из темноты. Над ними непроницаемо чернел щит лобового стекла. Номер маршрута было не разглядеть, но Вадиму того и не требовалось. Цифра 4 проступила на внутреннем экране его сознания. Наверное, так работает ясновидение.

А ещё он заметил, что никто из мнующихся на остановке не всполошился, как бывает, когда все пытаются рассмотреть приближающийся автобус.

«Его вижу один я», – подумал Вадим, цепenea.

Автобус замер у павильона. Передняя дверь раскрылась – словно встреченный ночью на безлюдной улице незнакомец вдруг распахнул руки для объятий... или желая сграбастать. Темнота не давала Вадиму разглядеть, на что похож город сквозь два ряда стёкол. Зато он прочёл надпись на фанерке, прижатой к лобовому стеклу изнутри. Рядом с цифрой 4 на дощечке красовалось одно-единственное слово: ИЗНАНКА. Если это было название станции, Вадим о такой не слышал.

Кузов автобуса била мелкая дрожь, что придавало маши-

не сходство с живым существом. Живым и, возможно, опасным.

Автобус ждал.

«Он за мной, – осенило Вадима. – Я поднимусь в вязкую темноту, двери позади сомкнутся, и я отправлюсь до конечной станции «Изнанка», чтобы... что? Освободиться?». С ужасом – но каким-то отстранённым, словно Вадиму вкололи новокаин – он ощутил лёгкость в одной ноге, готовой оторваться от тротуара для шага, и тяжесть в другой, принявшей вес тела. Миг – и шаг будет сделан, и тогда никакая сила не сумеет его удержать.

Потому что «четвёрка» – опять приступ ясновидения – явилась из мест несоизмеримо более властных и беспрекословных, чем этот несчастный мир.

Неожиданно из кучкующихся на остановке работяг выступил Новицкий. До разъявленных дверей его отделяли два шага, которые он и совершил, дёргано и отчаянно. Вероятно, с подобным порывом прыгает из окна небоскрёба самоубийца. На подножке Новицкий запнулся, обернулся и безошибочно нашёл взглядом притаившегося под деревом Вадима.

Вадим отпрянул в тень, будто взор Новицкого мог выдать его автобусу. «Не ходи!» – побуждала Вадима крикнуть одна часть души. «Пусть идёт», – шепнула вторая, не ведающая ни благородства, ни отваги.

Вторая часть победила. Вадим смолчал. Да и мог ли он противопоставить свой порыв древней, доисторической си-

ле, принявшей обличье автобуса?

«Прекрати, тебе не впервые попадают разные «шестёрки» и «восемнадцатые», идущие непонятно, куда. Это всего-навсего «ЛиАЗ» и очередной новый маршрут»

Конечно. Всего-навсего «ЛиАЗ». С надписью ОСВОБОЖДЕНИЕ на борту и пассажиром с разваливающейся головой. «ЛиАЗ», проходящий сквозь пробку, как призрак. Есть ли что банальнее?

Новицкий канул во тьму. Алчные губы дверей сомкнулись. Автобус отчалил от тротуара и покатил дальше. Вадим так и не понял, вращаются ли колёса.

Зато он понял: Новицкий не вернётся. У «четвёрки» только одно направление: станция «Изнанка». Оттуда обратной дороги нет. Там получают *освобождение*.

Вадим коснулся ладонью лба, чтобы проверить, нет ли жара, и почувствовал дрожь в пальцах. Чертовски сильную.

Новицкий вернулся на следующий день.

Это был самый запарный, по мнению Вадима, день недели – четверг. Спецов собрали в конференц-зале административного здания станкозавода. Презентация, посвящённая внедрению системы SAP, шла третий час.

Вадим изнывал во втором ряду, сдавшись под напором непонятных терминов, которыми сыпал докладчик. От скуки посматривал сверху в панорамное окно на заводчан, понуро пересекающих отсыревшую дугу парковки под затяну-

тым выцветшими облаками небом. В их перемещениях виделось не больше смысла, чем в мертворожденных словах выступающего.

Докладчик, морщинистый мужичонка в пиджаке, с плечами, щедро усыпанными перхотью, монотонно зачитывал с трибуны о модулях, транзакциях и мандантах. Одесную восседала зам начальника управления контроллинга, известная своим трудоголизмом Светлана Сергеевна Митрохина по прозвищу Чугунная Жопа. Чопорная, как всегда, она только изредка кивала. Вадим был готов съесть на спор свой мобильник без соли и перца, если Митрохина и впрямь что-либо понимала из услышанного.

По соседству с ним ёрзал инженер Костик Тевосян, фыркающая каждый раз, когда докладчик сверялся с записями. Тевосян перевёлся с другого предприятия, где уже имел удовольствие поработать с SAPом.

– Чушь, – негромко, но не таясь, комментировал Тевосян. – Этот москвич не врубается и в половину того, что зачитывает. Отберите у него бумажки.

За два с лишним часа Вадим успел привыкнуть к вспышкам Тевосяна и прекратил откликаться на них даже вялым пожатием плеч.

– Я-то знаю. – Сосед не сбавлял поток желчи. – С SAPом все наплачутся. Эта штука морально устарела. Совершенно недружественна к пользователю!

Сидевший в первом ряду Артур Стреляев, самый молодой

менеджер «Антея», повернулся и смерил Тевосяна неприязненным взглядом. Тевосян то ли не догадался, то ли проигнорировал реакцию Стреляева.

– Точно говорю. Эта система не создана человеком. Её писали роботы для инопланетян. И писали ногами!

Соседка Стреляева, секретарь Оксаночка Пономарёва, которая всю презентацию не уставала демонстрировать менеджеру гладкие, цвета слоновой кости ноги в чулках, оглянулась и манерно прожурчала:

– Константин Владимирович, если вам не интересно, не мешайте другим. – Она выразительно взглянула на Стреляева, играя платиновой прядью.

– Попомните меня. Намучаетесь! – пафосным шёпотом воскликнул Тевосян. Стреляев обернулся снова. Его глаза побелели от гнева.

– Коллеги, – рыкнула Митрохина.

Тевосян всплеснул руками, как оскорблённая Кассандра, и театрально склонил голову. Вадим знал, что это ненадолго. Даже гнев Чугунной Жопы не мог прервать поток слов маленького инженера. Он, наверное, не иссякал и во сне, а уж когда...

Ближняя к трибуне дверь в конференц-зал с треском распахнулась. В проёме возник Новицкий. Его серое, до пят, кашемировое пальто блестело от дождя, как собачья шерсть. Внезапно в зале сделалось холоднее, будто Новицкий впустил с собой промозглый октябрьский воздух.

Докладчик озадаченно смолк. Новицкий оглядывал собравшихся сквозь запотевшие стёкла очков, криво сидевших на носу.

– Богдан Вячеславович, – пророкотала Митрохина («Вот как, оказывается, его зовут», – подумал Вадим). – Вы мешаєте мероприятию. Вы отдаёте себе отчёт? Покиньте зал. Зайдите в три. С объясни...

Спокойно и плавно, будто носовой платок из кармана, Новицкий извлёк из-под полы охотничий карабин «Сайга». Любопы, кто в этот момент взглянул бы на Митрохину, без труда прочёл бы её мысли: «Это розыгрыш? Это сон? Это правда?».

Но все взоры оцепеневшего зала были прикованы к вошедшему.

Новицкий плавно поднял карабин и выстрелил от бедра.

Докладчик из Москвы всплеснул руками в пируэте внутри облака разлетающихся конспектов. Крутанулся в прощальном па, оступился и рухнул на трибуну. Прежде, чем докладчик скатился с подмостков, Вадим успел разглядеть на его груди расплывающееся тёмное пятно.

Зал взорвался воем.

Новицкий небрежно повёл стволом. Второй выстрел вышел оглушительнее первого. Вадиму показалось, что внутри головы взорвалась граната... и что Новицкий выбрал следуюющей мишенью его. Переносица Чугунной Жопы провалилась в череп, разбрызгивая багряные ошмётки. Митрохина

грохнулась ничком на стол возле трибуны. Раздался треск – словно кувшин шваркнули о каменный пол.

Людская волна вздыбилась и, верезжа на все лады, хлынула через кресла к дальнему выходу. Новицкий же двинулся вдоль первого ряда. Дважды выстрелил в толпу, не целясь.

Кто-то закричал громче других. Кто-то упал. Волну подкосило, люди валились плашмя, топтали друг друга и пёрли по головам дальше – на локтях, на четвереньках. У дверей возникла давка. Новицкий пальнул в человеческий затор. Курчавый толстячок, прижатый к дверному косяку, осел, одной рукой держась за рёбра, второй хватая воздух – Денис Санин, наладчик, любитель скабрёзных анекдотов, который навязчиво сватал всем холостякам завода – Вадиму чаще прочих – свою младшую сестру.

Самому Вадиму деваться было некуда. От Новицкого его отделяло всего несколько человек, среди которых – Стреляев, визжащая Оксана и Тевосян, пытающийся заползти под кресло.

Лицо Новицкого ничего не выражало, но разил он без промаха. Бах! – пуля сочно, с брызгами, впиалась в ягодицу Тевосяна. Инженер заголосил, дрыгая ногами. Бах! – кувыркнулась, как жестяная утка в тире, бухгалтер Светка Бахтарова. Стреляев, который вознамерился заслонить собой рыдающую Оксану, получил пулю пониже солнечного сплетения. По белоснежной, без лишней складочки рубашке поползло вишнёвое пятно, будто менеджер облился вином на корпо-

ративнике. Стреляев попытался стряхнуть пятно, как рассыпавшиеся крошки. Яростно засучил руками по животу, напомним Вадиму заводного зайца-барабанщика, с каким тот играл в детстве. Благородно-белое лицо менеджера посинело, на бумажной коже можно стало сосчитать каждый сосудик. Жадно дыша ртом, он медленно завалился набок.

«Стрелева подстрелили», – чокнуто хихикнул кто-то в голове Вадима.

– Умоляю! – рыдала лишившаяся защитника Оксана. Она металась у окна, подламывая ноги, как самый неуклюжий в мире вратарь, напяливший каблуки – из стороны в сторону. – Умоляю, пощадите! Не убивайте меня, я всё исполню я жить хочу мама а-а а-а а-а!..

За Новицкого ответил карабин. Ба-бах! Короткая юбка секретарши лопнула, словно неспособная более сдерживать упругость бедра. На оконное стекло брызнуло мясными ключьями. Тоненько взыв, Оксана рухнула на пол. Висок секретарши врезался в истёртый паркет с треском, от которого Вадима передёрнуло. Кровь толчками выплёскивалась из бедра, как из пробитого садового шланга, затапливая цветочки, что весело пестрели на батисте платья. Наманикюренные ногти заскребли по вылинявшим доскам. Нестерпимо едко пахло сгоревшим порохом и бойней.

Вадим сполз под кресло, сжался, не тщаь укрыться, как Тевосян, чьи ноги в дешёвых туфлях елозили на расстоянии вытянутой руки. Зарылся лицом в ладони, совсем как в дет-

стве, когда бабушка читала страшные сказки Гауфа. Он пробовал отыскать среди скачущих мыслей воспоминания о Даше, чтобы уцепиться за них, как за соломинку – или кануть с ними в небытие – но сознание настойчиво подсовывало ему гнойно-жёлтый автобус, катящийся к остановке через чёрный экран распадающегося разума.

Ничего не происходило.

Вечность спустя Вадим осмелился глянуть сквозь пальцы.

Безумец стоял над ним, тяжело дыша. Пахнущее гарью дуло карабина плавало у носа Вадима, огромное, как тоннель метро. Вадим, загипнотизированный, вытаращился на этот тоннель, будто в нём вот-вот вспыхнут кошачьи глазища, надвинутся; из тьмы выплывет радиаторная решётка и бледное пятно на месте номерного знака. Затем лобовое стекло с цифрой над ним, и эта цифра будет...

– Ты видел её, – произнёс Новицкий ровно. Вадим не понял, вопрос ли это, но на всякий случай осторожно кивнул. – Ты отмечен. Ты должен прокатиться. Понимаешь? До конечной.

Откуда-то издалека, из-за тёмных лесов и высоких гор, донёсся окрик. Ни Вадим, ни Новицкий не среагировали.

– Это всё изменит, – терпеливо добавил убийца, и на какой-то миг Вадим поверил, что спасётся.

Громыкнул выстрел. Прилетел со стороны, как и окрик. Брови Новицкого дрогнули и поползли вверх. Рот приоткрылся. Наконец на его лице отразились эмоции.

Растерянность. Изумление.

Новицкий попытался обернуться. Его ноги подломились, и он упал на колени, выронив «Сайгу». Позади, в дверях, застыл охранник-чоповец с пистолетом в вытянутых руках – поза копа, без пяти минут героя. Вадим опустил глаза и увидел кровь на обшлагае своей рубашки. Он взмок от пота, на ресницах дрожали слёзы – но кровь была чужой. Спасибо Господу за большие радости.

Теперь лицо Новицкого очутилось на одном уровне с его лицом. Инженер осторожно кашлянул. На губах вздулся алый пузырь. Вадим ждал последней реплики, чего-то помпезного – «Я просто хотел, чтобы меня любили», например, – но Новицкий только всхлипнул – и опрокинулся на Вадима, марая его рубашку ещё сильнее.

Превозмогая шок, Вадим ухватил Новицкого за волосы и спихнул с себя. Отполз на задку от недвижимого тела, вжался спиной в подлокотник и принялся хрипло глотать осквернённый кровью и порохом воздух. Не мог надышаться. Желудок, протестуя, свернулся в узел.

«Хорошо, не успел пообедать, – отрешённо подумал Вадим. – Какая удача». Да он просто счастливчик! Новицкий мёртв, уткнулся носом в занозистый пол, и сырое пятно расплзается между его лопаток, а Вадим жив. Не наоборот.

– Он придёт, – гнусаво, но отчётливо сказал Новицкий, не поднимая головы. Стены зала накренились, пустились в похмельный штопор, закрученный вокруг небольшой, словно

пальцем проделанной, дыры в спине Новицкого.

– Это шанс. Готовься.

Рядом вновь закричали, сипло и надрывно. Прежде, чем провалиться в забытие, Вадим понял, что кричит он сам.

Шестеро убитых, трое раненых – таков был итог Антевской бойни, как её окрестили в прессе. Позже журналисты напишут, что жертв было бы больше, не подоспей чоповец вовремя. Он нарушил какие-то правила применения оружия, но публику это совсем не волновало, и чоповец стал героем города.

Вадим считал, что шесть убитых – это ни разу не «вовремя», а бойня могла бы не случиться, будь на входе в административное здание металлодетекторы, как на главных проходных. Новицкий с карабином под пальто и коробкой патронов в кармане прошёл пост охраны без подозрений.

Но кто бы Вадима спрашивал. Впрочем, на короткое время и он попал в центр внимания, хотя предпочёл бы оставить всю славу чоповцу. Вадима донимала пресса. Руководство заставило написать объяснительную – формальность для внутреннего расследования, как его заверили – и отправило в недельный оплачиваемый отпуск. Предложило медицинскую помощь, осторожно намекнув на психолога. Вадим согласился на отпуск и отказался от медпомощи, прикинувшись, что не понял намёка.

Наконец, его допрашивал следователь – и тоже формаль-

ность, тоже для полноты картины... В каких отношениях состоял гражданин Самарин с гражданином Новицким? Не вёл ли, по мнению гражданина Самарина, гражданин Новицкий себя подозрительно? Что, с точки зрения гражданина Самарина, могло подтолкнуть гражданина Новицкого совершить преступление? На вопросе о том, не состоял ли гражданин Новицкий в экстремистских сообществах, группах суицида, свидетелях Иеговы, Вадим в голос расхохотался. Ему было жутко, а не весело, но он не мог прекратить. Подмывало сказать, что гражданин Новицкий состоял в группе пассажиров автобуса номер «четыре». Приравнивается ли это к самоубийцам? Вадим сдержался лишь по одной причине: после подобного ему точно было не избежать мозгоправа. Следок и без того смотрел на него чересчур пристально.

Не осталась в стороне и Настя. Позвонила вечером, едва узнав об Антеевской бойне.

– Я нормально, – изнурённо соврал Вадим. Все лампы в его двушке, куда он перебрался после размена квартиры, горели. Он забрался с ногами в кресло и пил травяной успокаивающий сбор, третью чашку за вечер. – Даша знает?

– Я не говорила, – голос Насти звучал глухо, как из-под подушки. Плачет?

– И правильно, – одобрил Вадим, незряче уставясь в телевизор, который работал с выключенным звуком. Бойня попала на центральные каналы. Из мерцающего аквариума экран шевелила красными, как раздавленные вишни, губами

Андреева. Чашка в руке Вадима была горяча, но он ощущал только холод.

– Не хотела её пугать. – Пауза. – Если хочешь, приезжай.

Даша, наверняка, спит, но проснётся и обрадуется папке, даже если тот завалится с помятым лицом и остановившимся, как у безголосой Андреевой, взглядом. Он едва не согласился.

– Давай потом. Завтра? Я уже в кровать лёг.

– Да-да, конечно... Такой стресс, так тебе досталось... Давай. Давай потом.

«Потом. Не завтра», – отметил он про себя. «Потом» могло означать выходной день. Он виделся с Дашей по выходным. И... что это в голосе Насти? Облегчение?

– Пока. Спокойной ночи, – сказала Настя.

– Пока, – ответил он и добавил уже гудкам в трубке: – Люблю тебя.

И повторил мысленно: «Потом».

Потом все внезапно потеряли к нему интерес. Спустя несколько дней обыватели нашли новый предмет для обсуждения – в перегруженный новостями век сенсации плодились, как мыши, и столь же скоро дохли. Вадим вернулся в привычный мир маленьких вещей, но легче ему не стало. Дело было в Новицком. И в жёлтой «четвёрке».

Новицкий. Он являлся во сне и наяву, пусть Вадим и осознавал, что это морок, что слетевшего с катушек инженера давно выпотрошили в прозекторской, набили порубленны-

ми органами вперемешку с одеждой (если верить байкам про патологоанатомов) и закопали за казённый счёт. От этого понимания не делалось легче. Как навязчивая идея, Новицкий преследовал Вадима всюду. Он вылезал из-под кровати, когда Вадим отправлялся спать: лицо почернело, волосы – всклокоченная паутина, глаза – тлеющие угли, глубоко запавшие в бездонные провалы глазниц. Он подждал Вадима в очереди на кассу, вцепившись в тележку, как гриф, и полумесяцы засохшей крови багровели под его ногтями. Он не погнушался объявиться в туалете, едва не вызвав обморок, когда отражением в зеркале выглянул из-за Вадимова плеча. Исчезал Новицкий так же неожиданно, как и появлялся: проваливался в паузу между секундами.

«Четвёрка». Что бы там ни напроорочил Новицкий перед тем, как словил пулю, автобус Вадиму больше не попадался. А Вадим искал.

Сперва призвал на помощь Интернет. Вбил в Гугл: «Автобус номер четыре Нежимь» и получил ворох ненужных ссылок. «МУП Нежимьпассажиртранспорт», «Маршрут №24 изменится в связи с заменой асфальтового покрытия на проспекте Ленина...», «Плата за проезд в общественном транспорте возрастёт с декабря 2019 года на четыре рубля...». Вадим раздосадовано признал: лет десять назад, введя запрос в поисковик, ты получал ровно то, на что рассчитывал, однако нынче избыток информации превратил Сеть в помойку. Он сдался, долистав до мультика про волшебный школьный

автобус.

Ничего, решил Вадим. Пойдём иным путём.

Он набрал справочную и спросил про маршрут номер «четыре».

– Нет такого маршрута, – ответила оператор. Её голос, квёлый во время приветствия, зазвучал категорично, если не сказать – враждебно.

– Извините, но я видел его не раз...

– Нет, – отрезала женщина. Температура в трубке упала ещё на десяток градусов.

– Перепроверьте, – Вадим понял, что готов сорваться на крик.

– Прекратите этот розыгрыш, – отчеканила собеседница и прервала сигнал. Робот предложил Вадиму оценить работу оператора.

Одержимый, Вадим днями напролёт околачивался по остановкам, бродил вдоль дороги, которой ездил на работу и обратно. Блуждал, пока в отсыревших ботинках не начинало чавкать, и тогда возвращался домой, чтобы наутро продолжить поиски.

Одним вечером ноги привели его к пятиэтажке цвета тухлого мяса, фасад которой украшала огромная надпись «МУП Нежимыпассажиртранспорт». Отслаивающаяся краска букв скисла из зеленоватой в пепельно-серую. Слева от здания изгибалась тронутая ржавчиной арка, предваряющая вход на территорию автобусного депо. Под ней предостере-

гающе костенел шлагбаум, похожий на палец великанского скелета. Оконце в будке сторожа было приоткрыто, но свет не горел. Вадим обошёл шлагбаум.

Он очутился на безлюдной площадке среди угрюмых боксов – точно в окружении древних, седых склепов, путь к которым давно позабыт живыми. Щербатый асфальт дыбился волдырями и зиял кариозными провалами. Вдалеке из темноты выступали три автобуса, выстроившиеся в ряд. Мокрый снежок, первый за осень, лениво оседал на них, как озёрная муть. Ни одна из этих окунутых во тьму туш не была «четвёркой».

Вадим медленно зашагал вдоль боксов, сопровождаемый хрустом искрошившегося асфальта. Ни людей, ни собак, разве что ветер проволок через площадку скомканный пакет, точно перекасти-поле. Вадиму сделалось и тоскливо, и жутко. Он вдруг увидел себя будто со стороны – забытой на Луне крошкой под увеличительным стеклом некоего огромного и непостижимого существа, не испытывающего к нему ни симпатии, ни сочувствия, а один чёрствый интерес исследователя.

К горлу подкатил слезливый ком. Под куртку прокрался холод – а может, Вадим нёс его под полами от самого подъезда и почувствовал только сейчас. Настоящий озноб.

Он готовился повернуть назад, когда заметил, что контур дальнего автобуса подсвечен. Вадим ускорил шаг, и пожалуйста – за машинами обнаружился бокс с приоткрытой

створкой ворот, из-за которой пробивался рыжий свет. Один факт его существования в столь безотрадном уголке Вселенной заставил озноб уняться.

Без колебаний Вадим протиснулся в ворота.

– Приветствую, – поздоровался он, надеясь, что язык сам подскажет остальные – правильные – слова. – Разрешите?

В боксе коротали время трое. Четверо, если считать дворнягу – та млела на дерюге возле нагревателя, демонстрируя всем розовое брюшко с налитым выменем. У дальней от входа стены здоровяк в ватнике читал потрёпанную книжку про блокаду Ленинграда. Два его приятеля, оседлав стулья, резались в «дурака». Столом им служил замызганный табурет.

Здоровяк оторвался от книги и уставился на вошедшего из-под бесформенного, словно картофель, лба. Картёжники обернулись разом, точно исполощенные сурикаты. Псина задрала морду, обратила её к лобастому и вопросительно тявкнула.

– Извиняюсь, если отвлѣк. Поговорить можно? – Вадим подступил ближе к обогревателю. Холод, терзающий руки, ослабил хватку.

– Коли разговор интересный. – Здоровяк заложил страницу книжки пальцем.

Книжка подала Вадиму идею.

– Я писатель, – сказал он. – Краевед. Собираю материал о нашем городе. Сейчас работаю над историей общественного транспорта Нежими.

– Да какая у нас история? – встрял один из картёжников, долговязый, с седыми непослушными волосёнками и созвездием крупных оспин, пробегающих от лба к носу. – В автобус сел, прогрел, запердел да полетел.

«Запярдель да полятель», так это прозвучало. Судя поговору, седой был из деревенских.

Третий, паренёк в растянутом свитере, в разговор не вмешивался, переводя взор с седого на лобастого.

– Охолонь, дядь Мить, – проурчал здоровяк из своего угла. Набитая окурками кофейная жестянка, стоявшая перед ним на верстаке, звякнула. Уши собаки вздрогнули. – Нешто нам рассказать неча? Подь сюда, чего через весь гараж перекикаться-то?

Осмелев, Вадим приблизился. Лобастый протянул ему лапу, огромную, как у морячка Попая.

– Веня, – представился он. – А те – два раздалдуй.

– Суку Никой кличут, – хохотнул дядя Митя.

– Максим, – соврал Вадим. «Как пулемёт», – присовокупил седой раздалдуй.

Обменялись рукопожатием.

– У меня с собой тысяча, – опомнился Вадим. Веня, поморщившись, отмахнулся. За спиной Вадима дядя Митя неодобрительно крякнул.

– Спрячь, сгодятся, – усмехнулся Веня, и Вадим подумал, что тот напоминает доброго разбойника из сказки. Ему сделалось спокойнее. – Записывать будешь иль так запомнишь?

Вадим вытряхнул из наплечной сумки мобильник и включил диктофон.

– Ну так что ж тебе рассказать, Максим? – протянул Веня, подпирая рукой щеку. Может, у лобастого и был удалой вид, но глаза оставались серьёзными.

– Меня интересует быт простых водителей, их судьбы, то, как профессия отразилась на их жизнях, – нараспев затянул Вадим. Последний раз он плёл чушь столь вдохновенно на университетских экзаменах. – И, само собой, интересные случаи, необычные случаи, которые происходили с вами.

– Был случай! – оживился дядя Митя. – Вышел я на рейс. Ко мне барышня садится. Говорит, денег нет, дядя Митя, а давай я тебе за проезд отсос сделаю? И юбку красную задирает – («задирая»), – а под юбкой ничего. Ну я такой...

– Умолкни, гемор! – гаркнул Веня. Кофейная банка в который раз брякнула. – У него болезнь какая-то в котелке: говорит и говорит, что взбрeдёт, совсем язык за зубами не держится, – посетовал он.

Следующий час Вадим смиренно выслушивал историю неприметной жизни Вени: немного сельской школы, много армии, дембель, училище, МУП. На втором часу Вадим начал чувствовать себя так, будто и сам провёл за баранкой лет двадцать. Заурядность биографии вгоняла в сон. Веня и сам подвыдохся. Вадим воспользовался паузой:

– А скажи, – (по настоянию Вени они перешли на «ты»), – что за автобус такой номер «четыре»?

Тени на враз затвердевшем лице Вени сделались глубже, словно лобастый попытался спрятаться в них; очертили, как резцами, морщины, превратили лицо в череп.

– Такого нет, – произнёс он изменившимся голосом: глухим, как у погребённого заживо.

– Я видел. – Вадим старался говорить беспечно. – Трижды. Своими глазами. Он показался мне странным...

Позади переглянулись картёжники. Подобралась, заворчала Ника.

– Нет такого, – отрезал Веня.

Казалось, вокруг лобастого возросла гравитация, словно он был планетой Юпитер, ещё немного – и разорвёт в клочья. Глаза Вени угрожающе блеснули из каверн под бровями. Он в момент утратил всякое сходство с добрым разбойником и превратился в просто разбойника.

– А я ведь тебя знаю, – прогремел он. – Тебя показывали в новостях.

– Почему все скрывают?! – сорвался Вадим. – Что не так с этой «четвёркой»?!

– Двигай отсюда, – мотнул башкой лобастый. – «Максим»...

– Я заплачú... – засуетился над сумкой Вадим. Веня начал подниматься из-за верстака. Водила оказался огромен. И он обезумел от ярости. «Халк крушить!»

Вадим сцапал телефон и поспешно ретировался к воротам. Чувство собственного достоинства не позволяло ему

припустить со всех ног. Раздалдуи отложили карты и неотрывно провожали его взглядами.

– Я всё равно докопаюсь! – выпалил Вадим. Веня швырнул в него первым попавшимся под руку, и Вадиму повезло, что это была кофейная банка. Она врезалась в воротную створку над головой Вадима и обдала его мерзким окурочным дождём. Ника разбрехалась, силясь подняться, её затёкшие задние лапы вразнойбой колотили по дерюге. Вадим вышмыгнул наружу.

Выплёвывая пар, он поспешил к шлагбауму, который казался теперь непостижимо далёким. На полпути он услышал за спиной хруст шагов и затравленно обернулся, не смея надеяться, что это всего-навсего эхо. Его настигали. Сердце Вадима сорвалось в галоп, и даже когда он убедился, что преследователь ниже и сублильнее Вени, долго не стихало.

Из ночной поистрёпанной бесцветицы в островок оловянного света, растёкшегося под фонарём, выплыл взерошенным призраком дядя Митя.

– Эта, – проквашал он. Снежинки убелили его патлы, как перхоть. – Слышь, эта. Погодь.

Вадим безмолвно ждал.

– Я Веньке сказал, что в тубзик пошёл, – поведал дядя Митя полушёпотом, подойдя к Вадиму. Ближе, чем тому хотелось. Дуновения предзимнего ветра не могли развеять дыхание дяди Мити – тонзиллит, разбавленный винной кислятиной. – Ты эта... Говорил, косарь есть?

«Сказаль... пошэль... исть...». В иной ситуации говор старика показался бы Вадиму забавным. Но не сейчас. Слишком мертвенным казался лунный пейзаж под истёршимся, как дрянная ткань, лучом фонаря.

Вадим кивнул. Дядя Митя сцапал его под руку и поволок из кокона жиденького света поглубже в сумрак.

В закутке за ржавыми бочками, у бетонного забора, где пахло калом и окурками, дядя Митя отцепился. Выжидательно вытаращился на Вадима. Вадим сообразил: сперва деньги, после стулья – и расстался с тысячей. Подношение исчезло за пазухой стариковского бушлата. Дядя Митя шмыгнул носом и проглотил.

– Про неё, значит, хочешь знать?

– Хочу, – подтвердил Вадим. – Это ведь... не обычный автобус?

Старик помотал головой.

– Она... как бы автобус, а как бы нет.

– В смысле?

– Коромысле. – Дядя Митя зажал пальцем ноздрию и сморкнулся в сторону. – Она была всегда, ага. Вот сколько люди существуют. Мож, и до них. Судачат, в старину она прикидывалась повозкой, каретой и хрен её знает, какой она будет через сотню лет. Ага.

Вадим попытался разглядеть ехидную усмешку под маской тьмы, лёгшей на лицо водителя. Отрицание, сомнение – не так ли полагалось откликнуться на услышанное? И всё-

таки в глубине души Вадим знал: старик не лжёт. Не просто верит в правдивость сказанного: это и есть правда. Безумная, непреклонная истина.

– Что он... *она* такое?

– Она просто есть, – сказал дядя Митя.

«Есть»? «Ест»? Или оба слова верны?

– Я устроился в девяностых, – продолжил дядя Митя. Речь обретала степенную плавность по мере того, как он погружался в воспоминания. – Тогда на всю Нежимь было шесть маршрутов. Двадцатый, второй, тридцать седьмой и так далее – и никакой промеж них «четвёрки». Шоферá о ней не болтают. О плохих вещах не бачут, сам понимаешь, а *она* – это очень плохая штука. Как рак или уродства у детей. Ага. Мне не рассказывали про неё, пока не пошли те убийства. Мож, помнишь, был такой Селифонкин? Пятерых девах умучал в гараже.

Вадим помнил. Селифонкин, Человек-невидимка, как его окрестили газетчики. Наставления матери: «После школы сразу домой; вчера опять старшеклассница пропала». Несчастных девушек в итоге нашли... то, что от них осталось, и, по мнению Вадима, для родителей школьников неведение было бы лучше знания. Последней жертве маньяк кусачками отхватил язык и пальцы на руках, раскалённой проволокой проткнул глаза и барабанные перепонки. Запер без еды в своём чудовищном гараже, переделанном под пыточную с обитыми звукоизоляцией стенами, и наблюдал, разва-

лившись в кресле и пожирая бутерброды, как из неё уходит жизнь. Селифонкин работал слесарем, но душа его тянулась к ремеслу иного рода – извращённому и монструозному. Из частей тел замученных Невидимка составлял инсталляции. Ими был увешан весь гараж. Именно смрад гниющих «шедевров», который стало невозможно скрывать, в итоге помог раскрыть чудовищную тайну. Невидимку заперли в дурняк, но его гаражом пугали друг друга поколения детей. Может, пугают до сих пор.

– Да, – сипло выдавил Вадим. Он внезапно почувствовал себя на четверть века моложе. Ему снова десять, и он до бессонницы боится историй про гараж, в запечатанной вонючей пасти которого по ночам слышатся скрипы – шаги крадущегося маньяка – и рыдания девушек. Боится каждой страшной байки, рассказанной в темноте, потому что верит.

– Во-от, – вернулся к истории дядя Митя. – Наши старшие, кто давно работал, тогда и смекнули: без *неё* не обошлось. Я у Чаргалова стажировался, он мне и рассказал. Ага. Царствие ему небесное. Предупредил, что если встречу – сразу чтоб взгляд отводил. И упаси боже в неё входить. Иначе... Всякое бачили. Зайдёшь – и не выйдешь. А то и выйдешь... – Он обрубил конец фразы взмахом руки. – Она, вишь, ежли появляется, вскорости всякая беда твориться начинается. Дичи и без неё хватает, ну а коль что из ряда вон пошло, сразу ясно: вернулась, окаянная. На станкозаводе, слышал, инженер работяг положил из ружья? *Она*, не иначе.

Ты ещё заявляешься и про неё пытаешься. Видал, значит?

Горло Вадима сдавила невидимая

(Невидимка)

рука. Ответить ему удалось только со второго раза:

– Видал.

Дядя Митя сокрушённо покачал головой.

– Хорошего мало.

– А вы её видели?

– Боженька оборони. – Дядя Митя суетливо перекрестился.

– Но поверили другим?

– А чего ж нет-то? – изумился дядя Митя простодушно. –

Это вы, городские, ни в бога, ни в чёрта не верите, в науку одну, ага. А я про одних колдунов нашенских, деревенских, как начну сказывать – держите семеро.

Вадим не желал слушать про колдунов – особенно на ночь – и спешно вернул старика к теме:

– Значит, опасно это... встретить «четвёрку»?

Вопреки желанию, пред ним возник образ Новицкого, высоченного, как Голиаф, если взирать на него, скорчившись за креслом. «Ты видел её. Ты отмечен». Сердце Вадима наполнилось горячей тяжестью, камнем ухнуло в желудок.

– Не обязательно, – произнёс собеседник. Вадим подумал, что из дяди Мити никогда не вышел бы рекламный агент – так неуверенно прозвучал ответ. – Чаргалов видал, и обошлось.

«Царствие ему небесное», – колокольным эхом откликнулись в голове Вадима недавние слова водителя.

– Глядишь – и пронесёт. Главное, не думай о ней. И найти не пытайся. Не ровен час, откликнется.

Старик отступил на шаг. Едва ли осознанно – но Вадим отметил.

– Вишь, она... неспроста является, – добавил дядя Митя неохотно. – А коль появилась, бачут, ей мешать не надо. Селифонкин, инженер тот с завода... Ежли остановить таких раньше, чем *она* решит, что достаточно... *наполнилась*... ещё хуже станется, понимаешь? Голод случится иль мор. А то и война. Ага.

– Из-за автобуса, который раскатывает в каком-то Жопо-сранске? – нервно хмыкнул Вадим. Скепсис наконец прорвался, отчего страх стал лишь горячее.

Погружённое в темень лицо старика скомкала кривая усмешка.

– Херов как дров! Своя «четвёрка» в каждом городе есть. (*Есть? Ест?*)

– Иль это она одна, сразу и всюду. Кто как считает.

Он оглянулся на пяточок фонарного света, трепещущий меж ломтями тьмы.

– Пошпирилял я. Венька хватится, озвереет. Ага.

– Он мне чуть лоб не пробил банкой, – попытался разрядить обстановку Вадим.

– Хотел бы – пробил. Уж ты не сумлевайся.

Вместо прощанья дядя Митя, помявшись, бросил через плечо:

– Усёк? Её заметишь – не глазами, а лучше забудь совсем. Узнал – и ладушки, а теперича угомонись. Как жил, так и живи. Тогда обойдётся.

– Ага, – закончил за него Вадим и добавил вполголоса: – Ещё бы я мог жить так, как жил...

Уходящий вскинул руку, но не для прощания, а чтобы выбить нос. Звук спотыкающихся шагов старика вяз в сырости прибывающего снежного киселя.

Не дожидаясь, пока шаги – единственный знак присутствия другого человеческого существа в этих безжизненных декорациях, прикидывающихся автобусным парком, – угаснут, Вадим заторопился прочь. Его некогда пышущее жаром сердце задубело, он продрог до костей, но едва это осознал.

Совет дяди Мити забыть про «четвёрку» пропал даром. Сложно не думать о проклятом автобусе, когда тебе говорят не думать о проклятом автобусе. «Четвёрке» было тесно среди прочих запертых в подсознании Вадима тем. Загадочное злое нечто, которое притворялось жёлтым «ЛиАЗом», шутя сносило мысленный барьер. Тогда голова Вадима заполнялась рёвом клаксона и слепящим светом фар. В такие моменты Вадим чувствовал, что смотрит в бездну.

И бездна не могла не откликнуться.

Наступивший ноябрь украл солнце и принёс назойливый мокрый снег, грязным пюре стелящийся под ногами. Принёс в «Антей» начало договорной кампании на грядущий год и ежедневные совещания. Вадим таскался на них с ощущением, что вычерпывает выгребную яму решетом. Главный инженер разбирал причины брака продукции, а Вадим безучастно малевал на полях документов цифру 4. Порой совещания затягивались до семи вечера, порой – до восьми. В тот понедельник, когда Вадим опять увидел «четвёрку», совещание закончилось в полдевятого.

Он ждал своего автобуса, кутаясь в не по сезону лёгкое пальто. Через дорогу предновогодняя иллюминация превращала административный корпус в затопленный корабль, чьи огни продолжают призрачно сиять из холодной глубины, а каюты полны утопленников. Снег, мелкий, как пыль, таял, не касаясь тротуара. Компанию Вадиму составляла пара припозднившихся работяг, смоливших сигареты возле изжёванных ненастьем кустов, да голуби, которые расклёвывали кляксу стылой блевотины у киоска с беляшами. Вадим был бы счастлив даже запаху сигарет – хоть какая-то связь с людьми. Но вместо дыма ноябрь доносил до него испарения киснущей листвы. Словно кто-то подвёл Вадима к свежерытой могиле.

Он уже почти решил вызвать такси, когда из-за поворота плавно и беззвучно вынырнули огни. Вадим забыл, как дышать; замер, словно ошеломлённый зверь в лучах дальня-

ка фуры, прущей по ночному шоссе. Огни бестелесно плыли навстречу, выдавливаемые, как гной из чирья, тьмой, что таилась за ними – тьмой более густой, чем ноябрьская ночь. Выжигали мир. Делали мрак вокруг совсем непроглядным.

В этом мраке проступали знакомые черты. Черепаший купол лобового стекла. Массивные, полные жара колёса. Алчно скалящаяся решётка радиатора. И сигил «4» над триплексным лбом.

Соседи Вадима по остановке закурили ещё по одной. Никто из них не обернулся на подкативший автобус.

Потому что они не отмечены, подумал Вадим. Они недостойны. Их мир – это мир мелких вещей. Мир совещаний и подъёмов в шесть утра. Бар по пятницам, дача по субботам, «Вечер с Владимиром Соловьёвым» по воскресеньям.

Передняя дверь автобуса растворилась. Взгляду Вадима предстала подножка, ведущая в полумрак за изогнутым зелёным поручнем. Всего пара шагов – и можно ехать.

Или... Как там увещевал дядя Митя? Забудь и живи себе по-прежнему?

Живи в мире мелких вещей.

Вадим снова покосился на работяг и обнаружил, что на большее не способен – не мог отвернуться от «четвёрки». Она притягивала, как пламя свечи притягивает к себе мотылька.

«Если я войду... Для них я просто исчезну?»

Ты для них и не существуешь, металлом отозвался незна-

комый голос в его голове. Будь ты важен для этого мира, разве бы Настя ушла?

Он подумал о Даше. Какое место в жизни детей из неполных семей занимают отцы, с которыми их разлучило государство, или судьба, или всеблагий Бог?

Автобус ждал. В обволакивающей его вибрации чувствовалось нетерпение.

Пара шагов. Пара шагов – и рука на поручне.

Вадим оторвал ногу для первого шага.

Опустил обратно.

Ночь разорвал рёв клаксона – повелевающий и взбешённый. Рёв мамонта, готового в кровавую кашу истоптать первобытного охотника, который посмел поднять на него копьё. Из глаз Вадима безудержно хлынули слёзы. Но сам он не вздрогнул. Ни единым мускулом.

А вот один из работяг вдруг сграбастал в горсти куртку у себя под горлом и начал грузно оседать. Бычок выпал из его губ. Боковым зрением Вадим видел, как ошарашенный приятель пытается удержать бедолагу.

Не дожидаясь развязки, Вадим сделал эти два окаянных шага и поднялся в автобус. Проще, чем казалось. За спиной лязгнула, захлопнувшись, дверь – «четвёрка» звучала как самый обычный «ЛиАЗ».

Коим она не являлась. Вадим убедился в этом, не успела «четвёрка» отчалить от остановки.

Он схватился за поручень – и вовремя: едва автобус тро-

нулся, перед глазами поплыло, а уши заложило, как в самолёте. Вадим зажмурился, с силой провёл пятернёй по лицу. Это лишь немного привело его в чувство. Он огляделся и – очередной пугающий сюрприз – понял, что глазам не удаётся сфокусироваться. Будто Вадим изрядно напился. Его начало подташнивать. Автобус разогнался, и со скоростью это гадкое ощущение усиливалось. Лучше было бы сесть, и срочно, пока желудок не вздумал вывернуться наизнанку. В автобусе оказалось ненамного светлее, чем снаружи, но Вадим убедился, насколько позволяло освещение и упавшее зрение, что свободных мест в избытке.

Однако сперва полагалось расплатиться.

Он поднял слезящиеся глаза на кабину, отгороженную переборкой, и оторопел: просиженное, обтянутое истрескавшейся кожей кресло водителя пустовало.

Горели приборы на панели. «Баранка» вальяжно вращалась то вправо, то влево. Лучи фар вспарывали темень за лобовым стеклом, и в ней мерещились горбатые фигуры, шарохающиеся с пути автобуса, чересчур стремительные, чтобы разглядеть их подробнее.

Сам собой рычаг передач переключился со второй скорости на третью.

Окошечка для мелочи или терминала оплаты не было, но в сравнении с пустой кабиной это не казалось чем-то странным.

Кривясь от внезапно вспыхнувшей зубной боли, Вадим

обвёл салон мутным взором. Пассажиры двоились в глазах. Если в их облике и присутствовало что-либо необычное, Вадим это упустил. Цепляясь за скользкий и непривычно тёплый поручень, Вадим поплёлся по салону.

Ноги спотыкались. Пол без явной причины кренился, и Вадима заваливало набок. Ряды кресел закрутились в пьяном вихре, как внутри ярмарочного аттракциона. Вадим замер, убеждённый, что содержимое желудка – дешёвый обед из столовки – вот-вот извергнется на брюки; повис на прогнувшемся поручне, как обезьяна на лиане. Закрыв глаза. Открыл.

Отпустило. Пол всё так же кренился влево, но вращение остановилось. Это позволило Вадиму сделать ещё одно открытие: изнутри автобус казался больше – *глубже*, – чем снаружи. Дальний конец салона полностью скрывался в сгустившихся тенях, но у Вадима возникло стойкое убеждение: салон тянется далеко-далеко, через город, через все города мира, а может, и через сам мир. Через неисчислимое множество миров. Картинка перед глазами по-прежнему расслаивалась – как 3D-фильм, когда смотришь на экран без очков, – но Вадим начал свыкаться с новым зрением.

Увы, к боли это не относилось. Зубы ныли сильнее и сильнее, ныла вся челюсть. Боль ввинчивалась в череп, отчего тот зудел, словно камертон.

В кресло. Срочно.

Вадим собрался плюхнуться в первое попавшееся, когда

человек, сидевший дальше по салону, приветственно воздел руку. Вадим сощурился и узнал Новицкого.

Мёртвый инженер приглашающе похлопал ладонью по спинке соседнего места. Он не выглядел ни дружелюбно, ни угрожающе. Затвердевшее, почти безмятежное лицо. С таким выражением лица Новицкий палил по сослуживцам.

Вадим потащился к Новицкому, отпустив поручень – уж слишком тот на ощупь напоминал натянутые внутренности. Старался он не смотреть и на попадающихся по пути пассажиров. Боковое зрение подсказывало, что с ними не всё в порядке, но Вадим не желал уточнять. Ему и без того хватало отвратительных ощущений. И пока он приближался к Новицкому, к ним прибавлялись новые.

Заложило нос – крепко, словно промеж бровей с размаху приложили киянкой. Вадим задышал ртом. В лёгкие врывался наэлектризованный воздух со вкусом плесневеющей рыбы, пережёванной ноябрьской листвы, поцелуя утопленника. И холод – колодезный, сковывающий горло; будто невидимая рука пыталась нашарить сердце и раздавить в заиндевевших пальцах. Вадим ускорил шаг, но Новицкий, казалось, становился дальше. Как в сказке про Алису. «Мы бежим со всех ног, чтобы оставаться на месте, а чтобы попасть куда-то, надо бежать вдвое быстрее»

Не то, что бежать – под конец он не мог даже идти и до цели добрался совершенно измотанным. Голова превратилась в один сплошной ноющий зуб. Виски отсырели от пота. Ва-

дим без сил плюхнулся рядом с Новицким.

Тот и бровью не повёл. Оно и к лучшему – вблизи Новицкий казался чем-то чужеродным: словно и не человек, а прикидывающаяся человеком опухоль, выросшая из сиденья. Волосы взъерошены и напоминают воронье гнездо. Стёкла очков затянуты серой мутью, похожей на засохшие сопли. Новицкий пах железом и грязью.

Вадим отстранённо отметил, что среди обуревавших его чувств – боль, растерянность, гадливость – нет ни ужаса, ни паники. Происходящее казалось естественным. Он попытался устроиться поудобнее, скрестил руки на груди, вытянул ноги; сложил руки на животе, закинул ногу на ногу; выпрямил руки и расслабил ноги. Извертелся, но комфортная поза всё не находилась. Будто части тела принадлежали кому-то чужому и их сшил вместе доктор Франкенштейн.

Продолжая глазеть в пустоту перед собой, Новицкий разлепил покрытые запёкшейся кровью губы и произнёс:

– К этому не привыкнуть. Остаётся терпеть.

Вадим сцепил пальцы рук и поджал пальцы ног. Наверное, следовало что-то спросить, раз Новицкий заговорил. Вот только вопросы на ум не шли.

Новицкий дёрнул головой – то ли кивнул, то ли качнулся на ухабе.

– Начинаешь постигать, – сказал он. Голос звучал сдавленно и невнятно из-за одежды, которой патологоанатомы нашпиговали Новицкого. Вадим буквально видел их, скло-

нившихся над распахнутой, как сундук, грудной клеткой, перекидывающихся шуточками. Это была новая степень *пони-мания*, неожиданная – но не шокирующая. – Мир просачивается в тебя. Ты просачиваешься в мир. Замечаешь?

Окружающее продолжало вибрировать перед глазами Вадима, расфокус не исчез, но воспринималось это теперь и вправду иначе. Нормальнее. Потолочные светильники горели вполне адекватно, от пульсации ламп ломило в затылке, однако зрение приобрело новые возможности. Темнота за спиной – Вадим инстинктивно оглянулся, чтобы убедиться – больше не казалась непроницаемой. Она *отодвинулась*. В силуэтах пассажиров проступали черты. Слишком чуждые, чтобы на них задерживаться – и Вадим отвернулся. Стал смотреть на девчонку в соседнем ряду. Тощая, одетая не по погоде в худю и короткие шорты. На спичечных ногах – огромные, как чугунные утюги, армейские ботинки. Из-под натянутого капюшона свисала сальная чёлка. В голове Вадима снова закрутилась, непрощенная, строчка старой сплиновской песни: «Он спрятал глаза, надел капюшон, нажал на Play». Девчонка водила бледным, до полупрозрачности, пальцем с обкусанным ногтем по чёрному, как обсидиан, экрану выключенного планшета. Что ж, почти нормальная девчонка, если сравнивать её с пассажирами сзади.

– В общественном транспорте ездят сплошь уроды, – подхватил его мысли Новицкий и внезапно огорошил: – Знаешь, почему от тебя ушла жена?

Чувство, похожее на панику, наконец коснулось сердца Вадима. Пока лишь легонько, словно падение пера. Жар и холод под новокаином. Вадим сжался.

– Ей нравятся женщины, – продолжил Новицкий. – Она пыталась это заглушить. Болезнь. Изъян. Вывих сознания – так она считала. Так ей внушили родители. Они не знали её маленький секрет. Но догадывались.

Вот теперь ужас прорезался.

– Хватит, – взмолился Вадим.

– Грязный маленький секрет, – повторил собеседник упорно. Челюсть Новицкого ходила вниз и вверх, превращая того в огромную куклу чревоушателя. – Она надеялась, что всё изменится, стоит ей переспать с мужчиной. Таким мужчиной стал её инструктор по фитнесу.

– Мне всё равно, – прошептал Вадим. Промозглая сырость внутри автобуса, казалось, обернулась трескучим морозом.

– Он трахнул её в раздевалке после занятий, – продолжал Новицкий. – Не помогло. Ей стало мерзко. Она пыталась смыть скверну случки, тёрла и тёрла себя мочалкой под душем, а после напилась. И не придумала ничего лучше, чем повторить опыт. На этот раз – основательно. Втемяшила себе, что если у неё будут серьёзные отношения и дети, изъян рассосётся. Как сода в кипятке. Она выбрала тебя. Знаешь, почему?

Вадим иступлённо замотал головой – не знал он и не же-

лал знать. Зубы клацали, как усеявшие пляж осколки ракушек под чьими-то безжалостными ногами.

– Ты казался ей мягким. Мягкость ведь женская черта. Проще говоря, она не видела в тебе мужчину. Думала, так легче будет свыкнуться с отношениями. Как ты уже понял, она опять облажалась.

– Враньё, – выдохнул Вадим. Бронхи свело спазмом и дышать стало нечем.

Пещерный, истеричный звук – прыснула девчонка в худи. Из-под её капюшона вывалилось насекомое, розовое и шишковатое, размером с кулачок младенца. Липко шмякнулось на планшет и поползло по стеклу. Оно походило на обтянутого прозрачной кожей клеща. Взгляд Вадима тревожно заметался по салону, отскакивая от стен «четвёрки», как теннисный мячик.

– Здесь не врут, – сказал Новицкий. – Она старалась полюбить тебя. Или хотя бы привыкнуть.

Он слегка придвинулся к Вадиму. Запах крови и земли усилился. Казалось, Вадим мог впитывать его кожей.

– Ей по-прежнему нравятся женщины. Знай это суд – ни за что не отдал бы ей дочь. Представляешь, как она её воспитает?

– Хорошим человеком, – сорвалось с омертвевших губ Вадима. На зубах хрустнуло, словно песок, принесённый ветром пустыни. – Человеком, которого я продолжу любить.

Чавкающий шлепок. Клещ, свалившись с планшета, тух-

лой виноградиной хряпнулся об пол. Пополз по проходу, волоча за собой нитяные кишки. За ним потянулась полоска слизи – предостерегающее послание на незнакомом языке всякому, кто сумеет прочесть.

– Я бы рассмеялся, если б мог, – обронил Новицкий. Клочок белой ткани мелькнул меж его губ и столь же стремительно скрылся. – Как тебе поездка?

– Куда мы едем? – с замиранием сердца спросил Вадим. Так тревожится пациент в ожидании вердикта врача: причина учатившейся мигрени – давление или нечто посерьёзнее?

– Сам посмотри, – предложил Новицкий и откинулся на спинку кресла, открывая вид из окна.

Вадим не желал. Он изо всех сил оттягивал этот миг, едва взошёл на подножку «четвёрки». Здравая часть его сознания предостерегала: увиденное изменит бесповоротно.

И Вадим желал. Неведомая человеку, неодолимая воля ввергла его в транс, принудила войти в автобус – но это была лишь часть правды. Вадим осознал, что желание понять тайну автобуса, курсирующего меж двух Вселенных – или через мириады Вселенных – проистекало из его порочного, до одержимости, любопытства.

Обречённо – и облегчённо – Вадим обратил взгляд к окну, без надежды, что ночь скроет от него свои тайны; алча их.

И ночь расступилась.

Нежимь никуда не делась, но стала иной. Превратилась

в дешёвые плоские декорации, беспорядочно наслаивающиеся друг на друга, в схему себя, небрежно накарябанную на распяленном, изношенном полотне реальности. Сквозь это полотно монументально проступали исполинские формы, одновременно вогнутые и выпуклые, простирающиеся в многомерную бесконечность, разбегающиеся фракталами, завинчивающиеся в спирали. Мозг не вмещал зрелище, вылёвывал прорывающиеся в него образы – но Вадим не прекращал их впитывать. Квадрат окна, как магический экран, затягивал, и Вадим проваливался, проваливался, проваливался в него – и оставался, оставался, оставался в этом чудовищно древнем мире.

Древнее человечества. Древнее звёзд. Древнее Вселенной.

Искажённые перспективы улиц, будто снятых на широкоугольный объектив. Густые, увесистые, как боль в животе, тени. Вздувшаяся бесцветица, просачивающаяся сквозь череп, поселяющаяся в голове, зудящая – запустить пальцы в мозг и чесать, чесать, скрести ногтями, месить серый студень, как глину, как тесто. Сойти с ума и постичь этот разверзшийся мир.

В переносице что-то лопнуло. На губу потекло. Сопли или кровь. Вадим не придавал этому значения. Он не среагировал бы, взорвись под ним граната.

Новицкий стиснул его лицо ладонями, ледяными и полными червивого шевеления, и властно отвернул голову от

окна. Вадим скосил глаза, сию же минуту уцепиться взором за отбираемое зрелище. Новицкий опустил подушечки больших пальцев на его трепещущие веки и сомкнул их. Но и с закрытыми глазами Вадим продолжал видеть застилающие небо – если в этом мире всех миров существовало небо – циклопические твердыни, исполосанные зияющими, простирающимися в бесконечность пустотами.

– Какой жадный, – раздалось слова Новицкого. – Не всё сразу. Выдохни. У тебя ещё будет возможность насладиться. Если ты решишь ею воспользоваться, конечно.

Вадим прислушался к совету и выдохнул. С выдохом изо рта вылетел кусочек отколовшейся пломбы. На зубах опять песчано хрупнуло.

– Нам повезло, – говорил Новицкий. – Не каждому выпадает шанс стать частью великого замысла.

– Чьего... замысла?... – прохрипел Вадим. В межбровьи вновь что-то чавкнуло и в горло побежала жижа со вкусом тлена и железа.

– Не знаю, – сказал Новицкий.

Сзади, из невероятного далёка, принесло рокочущий отзвук какого-то шума. Едва ощущаемый рокот прокатился по салону, заставив стены «четвёрки» вибрировать. Эта дрожь прошла и сквозь тело Вадима.

– Что это было? – спросил он и не узнал собственный голос.

– Успеется.

Подушечки пальцев исчезли с его век, однако Вадим не спешил открывать глаза.

– Боль и мясо, – величественно произнёс Новицкий. – Это то, на чём стоит мир.

– Поэтому ты убил?.. – начал Вадим и не договорил.

– Глянь на меня. – Гнилостное дыхание Новицкого щекотнуло пылающее ухо. – Никто не умирает до конца. К сожалению.

Вадим открыл глаза.

– Мне сказали, «четвёрка» появляется перед какой-то катастрофой... эпидемией или войной... Это правда?

– Правда, – подтвердил Новицкий. – Это не предотвратить. Но можно отсрочить. Вот почему нельзя прерывать таких, как мы.

«Мы, – повторил Вадим про себя. – Кто эти «мы»?»

Измождённость навалилась с новой силой.

Дребезжащий рокот повторился. Вадим не мог ручаться – все органы чувств пошли вразнос, – но, похоже, источник звука приблизился.

– Людям не нужна причина убивать, – продолжил Новицкий, когда тряска улеглась. – Они занимаются этим беспрестанно. Они могут твердить, как недопустимо и аморально – убивать. Но убивать им по кайфу. И не «четвёрка» тому причиной. Это в их сути, это как постигать запретное таинство. И почему же, – он возвысил голос, заставив Вадима вздрогнуть, – почему не наполнить их жажду *смыслом*?

Пробудившиеся эмоции вдохнули жизнь в лицо Новицкого. Его глаза засверкали из-под запотевших очков. Губы искривились в подобие улыбки. Он превратился в чокнутого уличного проповедника, кликушествующего на тумбе, пока за ним не явится патруль.

– Как говорят, делай, что нравится, и тебе никогда в жизни не придётся работать, – страстно проклекотал Новицкий над плечом Вадима. Вадим, невзирая на забитый нос, скривился от выплеснувшегося на лицо могильного смрада.

– Дай мне вернуться! – выпалил он. Голос слезливо дрогнул. – Я не хочу в эту... Изнанку.

Новицкий по-птичьи дёрнул головой и с деланным изумлением воззрился на Вадима.

– Мы туда и не едем. Мы едем *из* Изнанки. Изнанка – это твой жалкий, привычный мирок. Мир маленьких вещей. Люди облюбовали его, как блохи – собачью шкуру. Настоящий мир – там!

Он театральным жестом указал на окно.

– Подлинный мир! – проревел Новицкий. – Смотри!..

...Вадим очнулся от ставшего знакомым протяжного металлического стона. «Четвёрка» содрогалась в конвульсиях. Сомнений не было – грохот подбирался и уже не стихал. В надвигающемся рёве тонули вопли, звуки рвущейся ткани... а может, плоти? Худючая девица слева сгорбилась, вдавила скрытое капюшоном лицо в планшет, словно желала спрятаться внутри экрана.

Вадим по-заячьи пугливо обернулся. Увидел устремляющийся в бесконечность тоннель, полный мрака и силуэтов, корчащихся в мучительном ужасе. Ближе всего к Вадиму сидела молодая женщина, полностью обнажённая. На её лице была нарисована гримаса истеричного безумия. Нарисована в буквальном смысле – на гладком, как страусиное яйцо, эллипсоиде. Стоило женщине чуть повернуть голову, и она превращалась в оживший портрет кисти Пикассо. За обнажённой пассажиркой студенисто извивалось нечто, напоминающее язык в рост человека, вырастающий из кресла и усыянный голубыми глазами. А ещё дальше, на пределе видимости, на дне тоннеля, выталкивая мрак...

Колыхалось. Пульсировало...

Близилоь.

Вадим резко отвернулся, спасаясь от увиденного. Лёгкие сжимались и разжимались в диком темпе, гоняя сквозь сжатые, визжащие от боли зубы склизкий воздух: ах, ах, ах!

– Что там?! – вырвалось у него. Не голос – щенячий скулёж.

– Контролёр, – охотно откликнулся Новицкий.

– Что за контролёр?!

– Который штрафует «зайцев». И знаешь, непохоже, что ты покупал билет.

– Терминала не было! – взвыл Вадим. Теперь ему приходилось кричать, чтобы перекрыть рокот и вопли пассажиров, до которых добирался Контролёр. Вопли «зайцев». – И какой

штраф?!

– О, я не знаю. Никто не знает, кроме безбилетников. Ты можешь их спросить. – Новицкий ткнул большим пальцем в сторону источника грохота. – Или выяснить лично, если капельку подождёшь.

– Как заплатить?! – Вадим сгрёб Новицкого за лацкан. Под пальто хлюпнуло, словно ткань скрывала мусорную кучу.

Нечеловеческая улыбка растянула рот Новицкого до ушей – точно незримые руки раздирали губы, ваяя хохочущий оскал Джокера.

– Впитать в себя мир подлинный и освободиться, – прорычал Новицкий. – Доделать прерванное! Кормить.

Вадима бросило в жар.

– Стать как ты? – простонал он. Пузырящаяся кровь стекала из ноздрей, обжигая кожу. Треснул и отслоился ноготь большого пальца. По руке, комкающей лацкан пальто, разлилась дёргающая боль. Скоро он весь превратится в одну сплошную незаживающую рану.

Если Контролёр не настигнет его раньше.

– Нет.

Черты лица соседа разметало гримасой бешенства.

– Да! – проорал монстр, вцепившись в запястья Вадима. – Да, да, да!

В раззявленной пасти Новицкого вторым языком трепетал изжёванный, обслюнявленный рукав, уходящий в глот-

ку. И черви. Они пиروвали на рыхлой плоти дёсен, их жирные, цвета стухшего сыра тельца сокращались, прогоняя через себя мерзкую снедь. Некоторые лопались под зубами Новицкого, но продолжали извиваться.

Никто не умирает до конца, вспомнил Вадим.

Новицкий орал, и ему вторили пассажиры автобуса, пусть и по иной причине. Эта причина громогласно сопела и чавкала позади Вадима, а вибрация сделалась столь нестерпимой, что каждый атом тела стремился оторваться от соседа и каждая частица была готова покинуть орбиту вокруг ядра.

Треск, стон, душераздирающие крики и тщетные мольбы. Визгливое «ри-и-и-и» рвущейся материи. Совсем рядом.

Тот же порыв, что заставил его войти в «четвёрку», принудивший посмотреть в законный мир, приказал Вадиму обернуться. Его голова взорвалась от рыданий безвозвратно распадающегося разума – словно призраки вырвались из заброшенного особняка.

То, что предстало его слепнувшим глазам, напоминало мессиво из трухлявых крошащихся грибов, заполняющее всё свободное пространство автобуса. Оно продвигалось конвульсивными толчками, как слипшаяся, плохо пережёванная еда по пищеводу. Впереди, где у невообразимого нечто могла быть морда, зияла дыра – словно вмятина, проделанная в болотной грязи кулачищем свирепого великана. В дыре бурлила тьма, столь глубокая, что в сравнении с ней безлунная ночь, мрак пещеры – как свет прожектора, бьющий прямо-

ком в лицо. Первородная тьма, в которой, по преданиям, носился Дух Божий. И в ней – что-то ещё. Огни. Сверхновые. Целые миры, гибнущие в аду ядерных реакций.

Контролёр.

– Ну не совсем он, – прилетел откуда-то голос Новицкого. – Лишь его перст.

Девчонка в худи завизжала. Из-под капюшона выбились толстые чёрные жгутики и облепили планшет, который девчонка продолжала прижимать к лицу – или что там у неё было вместо лица? Вадим едва обратил на это внимание.

Тварь скользила сквозь меняющееся пространство «четвёрки», одновременно далёкая и близкая. Её туша не сминала поручни и сиденья, а обтекала их. С безбилетниками Контролёр – или его перст – был менее щепетилен. Он не щадил ни тех, кто трепетно и смиренно ждал своей участи, ни пытавшихся убежать. Контролёр настигал всех, и за миг до того, как исчезнуть в мерцающей липкой каше, тела несчастных изламывались, искажались, таяли, как нагретое масло, и с сёрпаньем всасывались колоссальным туловом.

Вадим попытался встать. Ноги затекли, и он шлёпнулся обратно на сиденье. Новицкий с ехидной ухмылкой наблюдал.

Вторая попытка удалась. Вадим, как подранок, заковылял прочь. Новицкий глумливо захлопал в ладоши. Мурашки вонзили в бёдра Вадима тысячи крысиных зубов, разбежались по щиколоткам. Он словно пробовал бежать на ходулях.

Выход не приближался. А Контролёр – да.

Вадим бросил взгляд через плечо как раз вовремя, чтобы увидеть, как Контролёр, весь в клубах зловонного пара, смял женщину с нарисованным лицом. Она развалилась под червивой массой на куски, как манекен. Чей-то истошный вопль едва не выбил из Вадима сознание. Его собственный.

Он рванул по салону изо всех иссякающих сил, натываясь на сиденья. Толкнул субъекта, с головы до ног завёрнутого в толстую, будто ковёр, ткань. Пассажир гневно простёр руки разной длины, пытаясь задержать безбилетника. Вадим увернулся и раздавил ползущего клеща, порождение девчонки с планшетом. Клещ чмокнул под подошвой так осязаемо, словно Вадим наступил на него голой пяткой.

Справа и слева за ним гнались ряды окон, за которыми плясал сумасшедший, пожирающий души *подлинный мир*. Боковым зрением Вадим видел, как снаружи бредёт вперевалку нечто невообразимо гигантское, изъеденное временем. Сатанинское око здешней луны – заспиртованный эмбрион младенца, огромное кровоточащее бельмо, паучий кокон, обесцвеченный вечным прозябанием в недрах глубочайших каверн; что угодно, только не привычная луна – провожало его бег.

Заверещала девчонка – словно бутылочные осколки вонзились в уши. Вопль осёкся, но не смолкал в голове «зайца». Резкая боль штопором ввинтилась в пах, Вадим оступился, оттолкнулся от поручня и продолжил бесконечный марафон.

Теперь ему казалось, что выход стал ближе. Определённо, ближе!

– Последний шанс! – донеслось до Вадима сквозь настаивающую какофонию карканье Новицкого.

В финальном рывке, отобравшем все силы, Вадим впечатался в дверь. Заколотил кулаками. Что бы ни находилось снаружи, он выберется. И найдёт дорогу домой.

– Есть всего один способ! – Голос Новицкого был едва различим за канонадным грохотом, сопровождающим тварь. Вадим почувствовал её жар, волны смрада, рвущиеся из всех склепов, моргов и мавзолеев, накрывающие с головой, сбивающие с ног. Почувствовал неодолимую гравитацию. Необъятная тень накрыла его и повергла на колени.

Гаснущий голос Новицкого:

– Твоё слово!

За дверным стеклом плоская, растоптанная подлинной реальностью улица Нежими казалась странно знакомой. Она мигала, как неоновая вывеска, пропадала и появлялась, и только от Вадима зависело, проявится ли она или исчезнет навеки – как и он сам. Опаляющее, податливое и слюнявое коснулось его плеч легко, точно заразный поцелуй, под которым пополз, сгорая, кашемир, вспузырилась кожа.

И Вадим закричал.

Её вечер начинался с кружки горячего какао, так же как утро – с чашечки кофе. Большущая кружка – «мужской раз-

мер», как она называла – с приплясывающим Дональдом Даком стояла на раковине, ожидая, когда её наполнят сладким напитком и добавят маршмеллоу. На плите в кастрюльке согревалось молоко. В духовке румянился лимонный пирог, наполняя кухню ароматом тропического рая. Ласково струились из соседней комнаты шёлковые звуки джаза. В клетке на холодильнике дремала канарейка. Провинциальное хюгге под апельсиновым абажуром. Расслабиться в плетённом кресле, прикрыть глаза, позволить воображению унести тебя – и вот ты уже в Дании.

Губы Насти тронула улыбка. словно прочитав её мысли, запрокинула головёнку Даша, которая играла на полу со смешариком Ньюшей и тряпичным динозавром Ариком. Динозавра Настя смастерила сама – в свободное время она подрабатывала шитьём игрушек. Дочка тоже улыбалась – ласково и слегка растерянно, с ямочками на щёчках. Ямочки достались ей от отца, как и тёмные волосы.

А Насте от отца Даши и бывшего мужа досталась двушка в пятиэтажном доме на окраине города и «Субару», который сейчас под окном заметало снежком. После развода они разменяли четырёхкомнатную квартиру, и Настя купила эту: пусть в хрущёвке, но уютную, чистенькую и тёплую. Район считался стариковским, а значит – спокойным. Здесь даже сохранились деревянные домики девятнадцатого века, аккуратненькие, хоть помещай на открытку. Поблизости красовалась сосновая рощица, светлая и нестрашная, мимо можно

ходить без опаски. Летом ветер приносил в открытые окна терпкий хвойный запах. Синяя церквушка в соседнем дворе по утрам будила чистым колокольным перезвоном, от которого было радостно просыпаться даже в будний и ненастный – совсем как сегодня – день. Настя не знала, считать ли выпавшую ей долю счастьем – как и у всех, в быт вторгались проблемы, большие и не очень. Но совершенно точно в жизни Насти хватало долгожданного умиротворения. Её это более чем устраивало.

Она подмигнула в ответ на Дашину улыбку. Дочка отбросила игрушки и потянулась ручонками к голубым язычкам пламени, танцующими под кастрюлькой.

– Нет-нет, зайка, – сказала Настя. – Детям на ночь нельзя. Не уснёшь. Я дам тебе яблочный сок. Чуть-чуть.

– Сок! – Даша будто попробовала слово на вкус и нашла его негодным. – Сок не хочу.

– А что хочешь? – Настя начала вливать тёплое молоко в плошку с какао-порошком и сахаром.

– Хочу слонёнка, – отчеканила Даша. – И дельфиёнка.

– И где же они тут поместятся? – усмехнулась Настя.

– Здесь. – Девочка развела кулачки. – Мы сделаем, мы сделаем бассейн дельфиёнку.

– За ними будет очень трудно ухаживать.

– Ну ма-ам. Ну ма-а-ам. Ну мам.

– Как только подрастёшь, обязательно купим.

Настя убавила огонь и сняла с какао пенку. Когда она

страживала её в раковину, сзади раздался треск, заставивший хозяйку вздрогнуть: всполошилась канарейка. Настя задела рукой нож, который лежал возле мойки. Нож брякнулся на пол.

«Кто-то придёт», – машинально подумала она, наклоняясь за ножом, пока до него не добралась Даша. Мужчина или женщина? Настя не помнила, что на этот счёт говорила примета. Необъяснимая тревога лизнула кожу между ключицами ледяным языком.

– Кто-то придёт, – объявила Даша, словно прочитав мысли матери. Настя сомневалась, знает ли про примету девочка. Иногда Даша безошибочно предсказывала то, что должно случиться. Например, где свободное место на забитой парковке или когда в кофейне неподалёку приготовят её любимые морковные кексы. Настя упорно считала это совпадением.

– Опять сочиняешь? – Она заставила себя улыбнуться, точно улыбка могла развеять прорицание. – Уже поздно. Кому вздумается прийти?

– Не знаю, – присмирела Даша. Птичка неистово металась по клетке, роняя перья.

Настя хотела добавить, что все спят, и маленьким девочкам тоже пора, когда в ускользящий уют ворвался громкий и отчётливый стук. Настя забыла о хюгге и какао. Забыла об умиротворении.

Тук. Тук. Тук. Из прихожей.

«Не открывай», – велела ей интуиция.

«Не глупи, ничего страшного», – возразил рассудок.

Настя выключила плиту и, вытирая чистые руки о передник, направилась в прихожую. Некстати ей вспомнилось, что в старину шахтёры брали канареек в забой. Если в скважине скапливался газ, пташки первыми оповещали горняков о беде.

Тук. Тук. Тук. Требовательно и знающе: хозяйева дома, отсидеться не выйдет.

Настя на цыпочках подкралась к двери и заглянула в глазок. Запоздало вспомнила о ноже, оставленном на столешнице.

Ничего. Темнота. И это было хуже, страшнее всего, что она ожидала увидеть.

Затем темнота пришла в движение, задышала и обрела форму. Знакомую.

– Господи! – выдохнула Настя. Отперла замок, загремела цепочкой, нарочито громко, чтобы привычные звуки помогли избавиться от страха.

– Господи, – повторила она для собственного успокоения – и не испытала оного. – Привет. Чего не предупредил? Случилось что?

За спиной раздалось шлёпанье ножек. Настя кинула назад беглый взгляд. Даша вышла в коридор с динозавром Ариком в обнимку.

– Папа! – воскликнула она. Улыбка расцвела на детском

личике, та самая, с ямочками... а затем увяла.

Насте пришла на ум – неизвестно почему – одна из песен, которые любил слушать в машине бывший муж. «Сумасшедший автобус» группы «Сплин». Как там?

Сумасшедший автобус идёт домой

Поздний гость перешагнул порог квартирки. Настя попятилась.

– Мам, а что у папы с лицом? – спросила Даша слёзно, а потом сорвалась на крик, от которого Настя вздрогнула: – Что у папы с лицом?!

Мать отступила к дочери. Заслонила её собой.

Дома всё кувырком

Дома всё кувырком

2021

Письмо Полины

Здравствуй, Галя.

Написала приветствие и вот сижу, ломаю голову, как продолжать. Столько времени прошло. Лет тридцать, пожалуй; и большой срок, а пролетел – как не было. Аж жутко.

Я и поблагодарить тебя опять хочу, и извиниться. Поблагодарить – за то, что помогла мне тогда с мамой, за каждую копейку. А извиниться – что отвечать я перестала. Не из гордости и не из зависти какой, не подумай, ради Бога. Как ты уехала в Москву поступать, так я и стала думать: да зачем я Гале, когда теперь у неё один день ярче да насыщеннее, чем те десять лет в Студёновске, что дружили мы? Целый волшебный мир, и какое я право имею набиваться в него со своими горестями? Хотела от себя огородить, не тянуть назад. Жизнь разводит людей, дорогая, только всегда я тебя помнила, и не было у меня подруги ближе. Тебя отпустила, а сама забыть не смогла: нашла в соцсетях и радовалась, как у моей Гали всё ладно сложилось. И доченьку ты свою Полиной назвала. Я аж заплакала, когда узнала. Будь у меня дочь, назвала бы Галей. Но Господь детей мне не дал, а про успехи и писать неловко. Однако ж придётся, потому как тяготит меня, и уносить эту ношу с собой, не поделившись, не хочу. Знаю, ты одна поверишь, как прежде бывало. И мне легче станет.

Нет меня на этом свете, дружок, если ты письмо это читаешь. Конверт я Инессе Викторовне передам заранее, она отправит. А ты не горюй. Пожила своё Поля, хорошего видела мало – жалеть не о чем. Думала к тебе съездить напоследок. Не решилась. Страшно мне, Галя. Того что ждёт, боюсь.

Есть там что-то, милая. В «после».

Кольку Клигера помнишь? Учился с нами в параллельном. Поди, не помнишь, зачем он тебе. От него вся школа натерпелась. Таким был отребьем! Кажется, его единственного у нас из пионеров исключали. Как вылетел после восьмого класса, тут же и сел за злостное хулиганство. Мать его в нашей школе работала уборщицей. Оказалось, что уборщицы – немногие, к кому он относился снисходительно. Убедилась лично.

Но я торопыжничаю, а надо по порядку. Главное, до ночи успеть. У меня целая стопка бумаги, потому как рассказ долгим, и фляжка с настойкой, потому как будет он непростым.

Я про Кольку не зря написала. Он часть истории. Возможно, сама история.

Клигер стал известной персоной у нас в Студёновске. Я не следила нарочно за его похождениями, но они были на слуху. Союз ещё не распался, а Колька с друзьями, такими же бандюганами, уже крышевал торговлю на Цементном, на Ленинском рынке, и Бог знает, что ещё за ним водилось. А уж после Союза для таких вот клигеров настало золотое время, и развернулся он по-крупному. Самое занятное знаешь,

что? С той его отсидки после школы к нему ни разу ничего не прилипло. Это, правда, не спасло Клигера от прочих напастей, присущих его «профессии».

Лихое было время. Помнишь? Ребята в трениках, блатная романтика и, конечно, разборки... После одной из таких двое дружков Клигера пропали, а его самого нашли избитым до беспамятства за набережной. Он с месяц пролежал в коме. Приди Колька в чувство, превратился бы в дурачка, который проносит ложку мимо рта напрямиком в глаз. Он и до комы был не самым умным человеком на Земле, даром, что Клигер. Но Колька выкарабкался. Ко всеобщему удивлению, не стал ни инвалидом, ни дурачком, и очень скоро продолжил своё восхождение. Или начал – потому как прошлые его победы ни в какое сравнение не шли с новыми. Развернулся будь здоров.

Мои же дела катились под гору. В середине девяностых у мамы отказала левая рука. Мне пришлось уйти из столовой и устроиться уборщицей в больницу, там платили лучше. А наш герой сообразил, что одним криминалом не проживёшь, и решил выйти из тени. С прошлым окончательно не порвал, но для видимости соблюдал дистанцию. Он превратился в типичного «нового русского»: малиновый пиджак, бритая башка, золотые цапки и телефон размером с цветочный горшок. Клигер рассекал по Студёновску на единственном в городе «Джипе Гранд Чероки» (джипы были его страстью, он менял их, как перчатки), а его империя приросла

вещевым рынком и торговым центром «Берёзка». С врагами он как-то утряс вопросы, многие его соратники, менее удачливые, отправились в мир иной; никто и ничто не мешало Клигеру властвовать. Он и властвовал. О да! Был самой крупной жабой в нашем болоте, тогда как в городе побольше затерялся бы среди прочих головастика, ищущих лучшей доли.

Клигер это понимал и потому остался в Студёновске. Он купил участок в Первомайском районе – неподалёку от набережной, где его отмутузили – и начал строить дом. Сейчас район в упадке, но в те времена считался престижным. Особняк достроили, если память не изменяет, в девяносто седьмом: вышел двухэтажный коттедж, полностью отвечающий представлениям «новых русских» о прекрасном. Помпезный, из красного кирпича, с забором и гаражом, и с пристройкой для охранника. Тут тебе вазоны, тут тебе беседка. Клигеру тогда не исполнилось и тридцати – мы с ним почти ровесники, а в девяносто седьмом мне было двадцать восемь. Вот ведь как непонятно устроено на свете: у него на третьем десятке уже домина, а у меня двушка в хрущёвке и мама, которая больше не могла перебираться в инвалидное кресло без помощи.

Мне не хочется думать, что это зависть. Я называю это уязвлённой справедливостью. Так звучит возвышенной: «уязвлённая справедливость». Но посуди сама. Клигер был ненамного умнее гориллы Коко, которая понимала язык же-

стов, однако ему это не помешало – даже помогло – взлететь. В то время как та, что окончила школу с золотой медалью, писала стихи для молодёжных изданий и успела полгода отучиться на журфаке в Ленинграде, выполняла чёрную работу и еле сводила концы с концами. Пытаешься, пытаешься выбраться из колеи и скатываешься обратно всякий раз, когда, кажется, её край близок. Вот вопрос, всегда не дававший мне покоя: почему в мире царит такое... *неравновесие*?

Хотя позже я нашла ответ – или достаточно к нему приблизилась.

Лучше бы я не находила!

Опять забегаю вперёд. Ладно...

Вот к такому человеку я устроилась на службу. Случилось это, назову точно, в декабре две тысячи первого.

Маме делалось хуже, а больничная получка, и без того жалкая, скатилась в какие-то отрицательные величины. Иногда казалось, что в день я больше трачу на проезд, чем зарабатываю. Может, так оно и было. Я помню, как больше месяца сидела на одной гречке. Гречка на завтрак, обед и ужин – или только на завтрак и ужин, потому как обед случался не каждый день. Если удавалось полить её кефиром, это был праздник. Она мне даже снилась, гречка, её горьковатый, разваренный аромат. С той поры ни единожды за двадцать лет я к ней не притронулась. От одного запаха выворачивает, если вдруг где почую. Хуже только запах гари...

Мне попало газетное объявление: экономке требуется

помощница для уборки в особняке, с опытом, и так далее, и тому подобное. Трижды в неделю. Я решила, что это может оказаться неплохой подработкой в придачу к больнице, если удастся совместить смены, и, не мешкая, позвонила. Экономка, Нона Львовна, назначила мне встречу на следующий день. Назвала время и адрес. Ты уже поняла, дружок, чей он был.

Без десяти семь я постучалась в ворота Клигерского особняка. Нона Львовна в своём чопорном чёрном платье с белым фартуком напоминала состарившуюся Мэри Поппинс. Ответы она слушала вполуха, зато глаз не спускала с моих рук. А как закончили беседовать, предложила показать, на что я способна. Я и показала.

Тогда же я впервые после школы встретила Клигера. Я пылесосила ковёр на первом этаже, а он промчался по прихожей, сунулся в комнату и, оглядев меня – оценивающе, как какой-то новый бытовой прибор, – выскочил на улицу. Помню, как меня это уязвило, пусть я и давно занималась ничтожным трудом. Меня оценивал недоучившийся двоечник, полубандит, поймавший волей случая синюю птицу за хвост. Он меня даже не узнал.

Уязвлённая или нет, уборку я закончила. Экономка прошлась по комнатам, проинспектировала всё вплоть до плинтусов и вынесла вердикт:

- Если не передумали, вы почти приняты.
- Почти? – переспросила я.

– Вас должен утвердить Хозяин.

Я прямо видела большую букву в последнем слове.

– Николай Витальевич, – уточнила престарелая Мэри Поппинс. Она произнесла имя по слогам, словно я страдала задержкой в развитии. – Вам позвонят.

Обычно этой фразой всё и заканчивается. Я вернулась домой без особой надежды, вся в расстроенных чувствах: и из-за взгляда Клигера, и из-за того, что мне не заплатили за уборку.

Вечером зазвонил телефон.

– Лебедева? – услышала я в трубке голос Ноны Львовны. – Приняты. Завтра будьте без десяти семь.

На завтра я работала в утреннюю смену, о чём и сказала. Тогда Нона Львовна назвала мне сумму. Я не помню, сколько там было, но явно больше, чем мои больничные заработки – и это за три дня в неделю, двенадцать дней в месяц.

– Без опозданий, – добавила она, прерывая мои сбивчивые благодарности.

Видишь, Галя, иногда грузовик с мороженым переворачивается на улице, где живут такие жалкие создания, как я.

В больнице я отпросилась, а вскоре вовсе оттуда ушла. Нам с мамой требовалось больше не только денег, но и свободного времени.

Рабочий день у Клигера начинался строго в семь. Это было правилом. Мне довелось слышать, как Хозяин крыл последними словами садовника, задержавшегося на пять ми-

нут. По части материцы Клигер был тот ещё виртуоз. За опоздание Хозяин лишил бедолагу дневной получки. Повторись подобное снова, думаю, он бы его вышвырнул за порог – и не только в переносном смысле.

Я была на подхвате у Ноны Львовны. Она вела хозяйство, решала бытовые вопросы – от вызова слесаря до организации ремонта, когда таковой требовался – и готовила. Если к Клигеру заявлялись гости, что случалось нередко, она вызывала повара из ресторана. После гостей мне доставалась гора грязной посуды. В дни застолий я получала плюсом ещё половину суточного жалования.

Кроме нас из obsługi Хозяин держал охранников и упомянутого садовника. Шофёра у Клигера не было. Он ухаживал за своими джипами сам. Насколько могу судить, возня с ними была его единственным хобби.

Конечно, пересекались мы часто, и не могу сказать, что в первые годы его отношение ко мне как к чему-то малозначимому сильно изменилось. Только позже я поняла, что это был максимум, на который могли рассчитывать люди, не являвшиеся Клигеру близкими. Порой, когда я убиралась, он мог прийти и понаблюдать. Бывало, комментировал что-то невпопад, вроде «сегодня ветер крепкий», или плоско шутил на отвлечённые темы. Нашутившись, он с довольным видом удалялся. В такие дни у него было приподнятое настроение.

В общем, держал дистанцию. Никаких домогательств, Господи оборони, и спасибо за это. Да и к кому приста-

вать-то? Клигер таких водил любовниц! Как с обложки. Любовницы были едва ли умнее его, зато все – моложе. Клигер менял их столь же часто, сколь и джипы.

Со временем я стала убираться в особняке уже четыре дня вместо трёх. Я гадала, стоит ли считать это повышением. Мои сомнения развеяла Нона Львовна. Однажды она спросила у меня – прямо, как у неё водилось, – умею ли я готовить.

Я умела, пусть и без изысков.

– Сегодня готовите вы, – распорядилась экономка, выслушав ответ.

Это был тест.

Клигер питался незатейливо: котлетами, отбивными, яичницей с беконом... с горой бекона. Легко состряпать. Так что он получил свою холестериновую яичницу и кофе утром, а на обед, помнится, я сделала гуляш с пюре, который ему тоже понравился. Я поняла это по серии его плоских шуточек и разговорам о погоде.

В тот день Клигер принимал гостей. Позвали повара, а я подавала блюда. Дым стоял коромыслом. Караоке, Шуфутинский, Вика Цыганова. «Кольщик, наколи мне купола» – раз пять за вечер, аж наизусть выучила. Всё как водится. Один из приятелей Клигера, премерзкий тип, опрокинул тарелку с рыбой на ковёр.

– Не страшно, – развязно заявил тип. Как сейчас помню бисеринки пота, блестящие на его лице, будто слепленном

из картофельного пюре. – Это отчищается. Громозека убе-
рёт. Давай, Громозека!

Громозека – это я. Гости заржали, а этот, прости Господи, боров – громче прочих. Смех – будто ножницами железо режут.

Не знаю, почему Клигер поступил так, как поступил. То ли не понравилось пренебрежение, с каким гость отнёсся к его имуществу, то ли – что распоряжаются в его доме. Или даже (я не исключаю) он меня пожалел.

Хозяин вырос над столом – как гора уходит ввысь, когда сталкиваются континенты. Смех сразу оборвался. У борова одного не хватило ума заткнуться, и он всё подхихикивал. «Бек-бек-бек». Хозяин опустил ладонь ему на загривок. Без размаха, но так, что гостя пригнуло к скатерти.

– Извинись, – пророкотал Хозяин. Вроде ровным голосом, но поверь, этот тон – словно камни посыпались по склону – сулил бóльшую опасность, чем мат и ор. – Давай. Вот сюда, и погнал.

Гость выбрался из-за стола и принялся расшаркиваться: передо мной, перед собравшимися, а больше всего – перед Хозяином. Точь-в-точь ручная обезьянка, выплясывающая на потеху публике с шапочкой для подаяний под присмотром перебравшего пирата, который так и ищет, в чьё бы горло вонзить нож.

Удовлетворившись, Клигер кивнул, и все продолжили ку-
тить, как ни в чём не бывало. Я убрала бардак, не подав виду,

но оставшийся вечер ноги у меня тряслись – не от обиды, а от страха.

Что ж. Как я говорила, это был тест. Я его прошла.

В следующий раз, когда я явилась в особняк, Нона Львовна встретила меня на пороге. Вместо привычного чёрного платья и фартука на ней были лёгкий свитер и джинсы.

– Ухожу в отставку, – сказала она, как обычно, без приветствия. – Теперь моё место – ваше, Полина. Если пожелаете.

Она впервые назвала меня по имени. Удивительно, как мелкие вещи способны врезаться в память, правда?

Естественно, я согласилась. Мама стала совсем плоха. У неё начала отниматься вторая нога и полностью отказала уже и правая рука. Ещё она начала заговариваться. Будь у меня больше денег, я могла бы отвезти её в Москву и показать хорошему специалисту.

Связка ключей – символ могущества – перекочевала ко мне от Ноны Львовны. Так я стала вторым человеком в доме после Хозяина. Теперь не нужно было заниматься совсем чёрной работой, вроде чистки унитазов – их в доме Клигера было аж три. Теперь я нанимала для этого помощниц.

Это случилось в две тысячи шестом, я хорошо запомнила. В его конце, под праздники, умерла мама. Я так и не отвезла её в Москву. Не отвезла.

Когда я пытаюсь назвать чувство, которое я испытала помимо таких простых и понятных, как боль и горе, мне на ум приходит слово «облегчение». Это совершенно неподходя-

щее слово, но другого в русском языке я не нашла. Я любила её, люблю и сейчас, и жалела, но была ещё тяжесть и был страх бессилия. Под конец она перестала понимать что-либо. Одним осенним вечером она забылась, я задремала возле, и вдруг мама очнулась, попыталась сесть, во взгляде ужас, и закричала: «Если твой правый глаз тебя соблазняет, вырви его и брось от себя! Полина! Вырви его и брось от себя!». Всё повторяла и повторяла. И я не могла её унять.

Потому, когда её не стало, горе никуда не делось, но страх и беспомощность отступили. С меня словно сняли ношу. Это эгоистичные слова, чёрствые, и я, возможно, заслуживаю участи, что меня – если я права – ждёт. Но вот так.

Я попросила у Клигера два дня на похороны. Разговор случился в гостинной, где однажды извинялся его мерзкий приятель. Клигер угрюмо выслушал и молча вышел, оставив гадать, что я получу: отгул или увольнение. Ждала я недолго. Он вернулся с деньгами.

– Пять дней, – произнёс он, протягивая пачку, перевязанную резинкой. Верхняя купюра была пятитысячной. Сумму не помню, но хватило и на панихиду, и на поминки. Остаток я могла прибавить к своим сбережениям и уехать. Попытаться опять поступить на журфак или окончить курсы медсестры. Но мне было тридцать семь, и мне казалось, что слишком поздно начинать жить заново. Сейчас я бы рассмеялась над этими возражениями, а тогда... Прошло пять дней, и я вернулась к Хозяину.

Его отношение ко мне осталось прежним. Но мне запомнились те два случая его неожиданного ко мне расположения. Если бы не они, я, не исключая, решила бы оставить работу. Именно потому меня мучает совесть за поступок, о котором подошла пора рассказать. Как я наткнулась на ту шкатулку и заглянула в неё.

Будь она проклята.

Запомню, в каком это случилось году – знаю только, что я уже бросила красить волосы, а Клигер обзавёлся новой подружкой (его связи стали более продолжительными). Зато я отлично помню тот день: жаркий, как внутри духовки, и безоблачно-слепящий. Зенит лета. Хозяин парился в сауне под домом, а я убиралась в его кабинете. Без Клигера вход в кабинет посторонним запрещался. Всем, кроме меня. Комната как комната, по меркам Клигера очень скромная. Там стоял здоровенный стол, похожий на гранитное надгробье – двигать его было сущим мученьем. За ним Хозяин работал на своём ноутбуке. Три кресла: Хозяина и пара для гостей, попроще. Возле окна – мини-бар, единственное, что в кабинете не запиралось, в отличие от ящиков стола и вделанного в стену небольшого сейфа. Дверцу сейфа скрывала от любопытных глаз картина с пышной барышней в чём мать родила, разлёгшейся на шелках. Я называла её Мадам Пухляшка. «Шедевры», подобные этому, украшали едва ли не каждую комнату Клигерского имения. Хозяин знал толк в живописи.

Порядок был таков: протереть пыль, пропылесосить и по-

сле – влажная уборка. Покончив с пылью, я вкатила в кабинет свой верный «Дайсон», закрыла дверь и взялась за дело. Когда я пылесосила под креслом Хозяина, то ненароком взглянула на картину. Мадам Пухляшка следила за мной под новым, не свойственным для расположения картины углом. Я поняла, что вертикальный край картины отошёл от стены, хотя Пухляшка висела, как положено, когда я вытирала раму.

Я решила: наверняка крепления, удерживавшие картину, ослабли и я ненароком сместила Пухляшку, коснувшись рамы. Я выключила пылесос и подошла вернуть картину на место. Потянулась к ней, да так и замерла. Дверца сейфа, заслоненная полотном, была приоткрыта на ладонь. За ней зияла тьма.

Мне бы поступить как хорошей экономке: захлопнуть сейф, поправить картину и известить Хозяина. Вместо этого я торопливо оглянулась на дверь. Никого. Жалюзи были опущены, и просачивающееся сквозь них солнце исполосовало стол и стену с Пухляшкой. Я отчётливо вижу сейчас эти полосы света и тени на холсте и моих поднятых руках. Я вообще помню всё очень ясно.

Я знала всех камеры в доме Клигера. Большая их часть размещалась снаружи, две – внутри: в прихожей и коридоре второго этажа. В комнатах были установлены обычные датчики движения. Клигер не желал, чтобы на камеры (и в посторонние руки, если обстоятельства сложатся скверно) по-

пало что-то лишнее. Никто не мог следить за мной. Такие мысли пронеслись в моей голове, прежде чем я совершила то, за что экономки вылетают с работы без рекомендательных писем.

Я открыла сейф и заглянула внутрь.

Я ожидала найти там стопки денежных пачек, и клянусь, не взяла бы ни банкноты. Мною двигало чистое любопытство. Грудь сжало от страха и дерзости, и мне показалось, что свет в комнате потускнел, словно на солнце, как на глаз, напоззло бельмо. Мои щёки пылали, но из разверзшейся в стене ниши тянуло холодом. Нервы, подумала я.

Никаких денег внутри не оказалось, как и документов или оружия. Там была всего-навсего шкатулка, немногим больше пластикового контейнера для ланча, но, разумеется, не из пластика и вся вычурная. Она была погружена в темноту сейфа, словно в квадратную прорубь, и разглядеть я могла только её переднюю часть.

«И нечего разглядывать, закрывай дверцу и забудь, что видела!» – заметался в моей голове панический голос. Но другой, не столь громкий, зато дико обольстительный, прошептал: «А что же ты видишь?»

Шкатулка, та её часть, что выступала из тьмы, была испещрена причудливым орнаментом. Мне сложно его описать, для того, полагаю, есть специальные термины. Их я не знаю. Там были линии, и выпуклости, и бороздки, и геометрические фигуры, наслаивающиеся и режущие друг друга

своими изломанными гранями. Чем дольше я смотрела на эти узоры, тем сильнее плыло у меня в глазах, кружилась голова и комната будто растворялась. Я стала как птичка, которая смотрит в глаза змеи. Меня начало мутить. Тогда я списала всё на стресс. Теперь я так не думаю.

Знаешь, как во сне бывает – ты не можешь контролировать собственные поступки? Вот так было и со мной. Я видела со стороны, как медленно, точно под водой, тяну руки к шкатулке. Она... Она словно бросилась на меня, её узоры выросли и закружились перед взором, образуя новые, невиданные, и мне пришлось зажмуриться. У меня редко болит голова – а вот в тот раз заболела. Сильно, словно в лоб выстрелили.

На вид шкатулка казалась сделанной из дерева или из слоновой кости, но на ощупь была как из мяса, обтянутого кожей. Я понимаю, ты решишь, что я сошла с ума, но, если ты дочитала до этого места, прошу, не бросай! Да, на ощупь шкатулка напоминала брусок стылой, озябшей плоти... *мёртвой*. Я взяла её и выронила бы – шкатулка оказалась неожиданно увесистой, – кабы не привыкшие к труду руки. И узоры мне открылись новые. Это была совершенно свихнувшаяся геометрия. Они менялись, когда я смотрела на них под разными углами. Иногда они превращались в животных... каких-то рогатых костистых змей с нижними челюстями, походящими на пилы. В центре крышки был вытиснен *глаз*. Стоило чуть наклонить шкатулку, и положение

глаза на крышке *менялось*. Не могу объяснить лучше. Скажу лишь, что это напоминало картинки с оптическими иллюзиями. Ну, где у лестниц ступени закольцовываются, параллельные улицы пересекаются; наверняка ты видела такие.

Голова заболела сильнее. Она разрывалась от крика моей матери: «Если твой правый глаз тебя соблазняет, вырви его и брось от себя!». Головокружение отпустило, но не настолько, чтобы я вернула шкатулку на место. Мне стало безумно интересно, что внутри. Клигер, зайти он в ту минуту, не просто выкинул бы меня за порог без рекомендательных писем. Подозреваю, он бы меня прибил. Одна часть моего сознания ужасалась этому... но другой было плевать.

Попробовав поддеть крышку ногтем, я содрогнулась от омерзения. Точно я прижала палец к губам покойника. Однако влечение пересилило, и я попыталась снова. Крышка не поддавалась. Замка я не видела, поэтому я ощупала шкатулку в поисках секретной кнопки. Бесполезно – только губы себе искусала. Отчаявшись, я тискала и тискала проклятый ларь. Наверное, прошло не более минуты с того момента, как я взяла его в руки, но для меня время остановилось.

«Это проверка! – истерил голос в моей голове. – В сейфе есть камера, и Хозяин наблюдает за тобой со смартфона! Тебе конец! Он прихлопнет тебя, как муху!»

Да только мне сделалось безразлично. Если я засветилась, то исправлять содеянное поздно. Семь бед – один ответ.

В конце концов я сдалась. Вернула шкатулку в сейф и по-

чувствовала себя одновременно освободившейся и разочарованной. Она была как порочное, постыдное удовольствие. Наверное, наркоманы испытывают подобное, когда клянутся завязать. Я взялась за дверцу сейфа, бросила беглый взгляд на дверь... и скорее ощутила, чем услышала лёгкий щелчок. Точно кто-то с причмоком вздохнул. Посмотрела на шкатулку, и да, её крышка приоткрылась.

Я схватила шкатулку и откинула крышку полностью.

В глубине души я догадывалась, что не увижу ни денег, ни драгоценностей, но всё равно почувствовала себя озадаченной.

Что же я увидела?

Куски плоти, высохшей и потемневшей. Я сперва даже решила, что это части тел каких-нибудь недругов Клигера. Некоторые вполне могли принадлежать человеку. Одна из этих штук напоминала скрюченный палец с растрескавшимся ногтем... или когтем, таким он был длинным. Но другие... Нечто, похожее на свёрнутый кольцом хвост ящерицы, только суставчатый. Или затвердевший до состояния камня корень, сморщенный, а морщины... Они складывались в подобие крошечного уродливого лица, не человеческого, а скорее обезьяньего – злобного, с раззявленной пастью. Или чёрный глаз, будто рачий, но размером с пятирублёвую монету. Так чем же это могло быть? Экзотическими наркотиками из бразильских джунглей?

Я поднесла шкатулку к лицу, хотя всё внутри меня проти-

вилось и вопило от отвращения. Я уловила запах гари и другие, менее сильные: гниющей под ноябрьским дождём трясины, больных стариковских дёсен... но гарь перебивала их все. Когда я потянула носом во второй раз, то не почувяла ничего. Три месяца назад я переболела ковидом, и на неделю у меня пропало обоняние. Не чувствовала даже запах уксуса или мандаринов. Так вот, когда я повторно понюхала содержимое шкатулки, ощущения были схожие. Щёлк – и ничего. Голова разболелась совершенно, в висках колотило, словно что-то хотело проклюнуться сквозь череп и вырваться наружу.

И тогда

[следующие несколько строк зачёркнуты настолько сильно, что невозможно разобрать написанное]

Не знаю, сколько я так простояла и сколько простояла бы ещё, если бы не крик Клигера. Я вздрогнула, чуть не выронила шкатулку, но зато отрезвилась. Словно всплыла на поверхность со дна чёрного озера.

«Полина! – орал Клигер снизу. – Дай мне квасу!»

Я чуть не расхохоталась – от напряжения и ужаса, а не от веселья – и зажала ладонью рот

[конец предложения зачёркнут до нечитаемости]

Наваждение, спугнутое криком Хозяина, возвращалось, и я захлопнула шкатулку прежде, чем она вновь загипнотизировала меня – в этот раз уже насовсем. Но я успела заметить... мне показалось...

Галя, один из этих ошмётков плоти – одновременно похожий на раздавленный кактус и голову змеи без нижней челюсти – *шевелинулся*.

Он просто сместился, когда я тряхнула шкатулку, подумала я. Ещё я подумала, что мне лучше забыть увиденное. Я сунула в сейф эту окаянную штуковину, и захлопнула дверцу, и припечатала картиной. Бросилась из кабинета, но в дверях остановилась и взглянула на стену, скрывавшую тайну. Всего-навсего стена кремового цвета с безвкусным рисунком в раме. Ничего подозрительного.

Поборов желание вернуться и проверить, закрыт ли сейф, я поспешила за квасом. Ноги ходили ходуном, я чуть не кувырнулась с лестницы, но чудом сумела сохранить невозмутимое выражение лица, когда отдавала Клигеру бутылку. Мне казалось, что он схватит меня и заревёт: «Я всё знаю! Я видел! Как ты посмела?!». Будет трясти меня, может, двинет, может, выгонит вон. А может, вцепится в волосы, затащит в сауну и прижмёт лицом к раскалённым, как ад, камням.

Клигер взял квас, хмыкнул и скрылся в парной. Я вернулась к работе, и до самого вечера в моей раскальвающейся голове не унималась чехарда: «Ловушка! – Случайность. – Он это подстроил! – Он ничего не знает. – Узнает!». Не прекращала гадать, правильно ли я поставила шкатулку, а если нет, заметит ли Клигер? Заметит ли он

[конец предложения зачёркнут, нечитаем]

Далее воображение рисовало мне раскалённые камни сау-

ны и моё лицо, вдавленное в них и шкворчащее, будто яичница с салом.

Другая часть меня мысленно возвращалась к шкатулке. Та засела в мозгу занозой, которую никак не выковырнуть. Я думала о ней, как она замерла, запечатанная в кубе черноты под сталью и бетоном, и волоски на руках шевелились, словно муравьи ползли по коже, а саму меня от содеянного кидало то в жар, то в озноб. Не просто болезненная взбудораженность – почти возбуждение. Ну, ты понимаешь. Неприличное.

[зачёркнуто до нечитаемости]

Той ночью мне приснилась мама. Во сне она могла ходить, пускай ноги плохо её слушались. Как и руки. Мама плелась ко мне из тьмы, сама окутанная тьмой; движения дёрганные, словно не лично она, а кто-то незримый переставлял её ноги, крутил головой, шевелил руками. Как марионетка. Мама прижимала к груди шкатулку. Я хотела закричать, чтобы она бросила её, что шкатулка опасна, опасней уранового стержня... может, и закричала, не знаю. Во сне детали ускользают. Так или иначе, шкатулку мама не бросила. Её рот начал открываться, шире и шире, отвисала челюсть, обнажая сточенные зубы, лицо растягивалось, морщины делались глубже. Я ожидала услышать причитания про глаз, который соблазняет, но нет, мама затянула другое.

– Пока они не выросли! – провыла она. Начала повторять громче и громче. – Пока они не выросли! Пока они не вы-

росли!

Крик превратился в клокочущий неразборчивый визг, челюсть отвисла совсем противоестественно, так, что голова мамы превратилась в конфету-тянучку, расплавившуюся на жару. Шкатулка открылась, и пусть крышка заслоняла от меня содержимое, я и так знала, что внутри.

Мама запустила в шкатулку руку очередным расхлябанным, кукольным движением, зачерпнула из неё и швырнула в безразмерную пасть. Да, пасть, это больше не могло называться ртом. Мама принялась жевать, её лицо оставалось по-прежнему растянутым, чёрная жижа потекла из уголков глаз, и стало ясно: ко мне приближается мертвец.

Я закричала от горя и ужаса. Бессильно повалилась на колени.

Тьма, из которой брела мама, сгустилась за ней и над ней, приняв почти человеческие очертания. Почти – потому как фигура была высоченная и... неправильная. Я не могу объяснить по-другому. От неё веяло такой ненавистью, такой злобой, что я проснулась. Слава всем богам, какие есть – если они есть.

Я тотчас зажгла ночник. Чёрная фигура из кошмара оставила мимолётный след на сетчатке: когда вспыхнул свет, я увидела на стене силуэт чудища. Я примёрзла к простыне, забыв, как дышать. А потом вспомнила и дышала ртом, словно бежала кросс. И надышаться не могла.

Хозяин не узнал. Когда наутро я вернулась в особняк,

Клигер, по обыкновению, хмыкнул вместо приветствия и отправился по своим делам, а я занялась своими.

С тех пор, убираясь в его кабинете, я с тревогой ждала, что сейф откроется сам собой, картина сдвинется, и из стены на меня развяжется вертикально пасть, переполняемая мраком. Пылесосила я или протираала пыль, взгляд мой беспрестанно обращался к Мадам Пухляшке, а мысли – к тому, что было за ней сокрыто. Я боялась зря, но думы о шкатулке, таящейся в этой пасти, подгоняли меня завершить уборку кабинета быстрее.

Некая часть меня, о которой я прежде и не подозревала – не самая лучшая часть, чего скрывать – хотела снова увидеть шкатулку. Сквозь металл, бетон и тьму я порой слышала её зов. Нет, не голос в голове, а, скорее, притяжение. Как магнит. Слишком слабое, чтобы я не владела собой, но достаточно реальное, чтобы его осознавать.

Время поджигает, дружок. Руку от писанины ломит, и я намерена закончить до вечера, поэтому опушу незначачие детали. Перенесёмся сразу в середину десятых. Когда Клигер начал строить часовню.

Он собрался избираться в горсовет, и я думала, что так он хочет завоевать симпатии горожан. Клигер давно не ввязывался ни во что криминальное – во всяком случае, явно, – но за ним тянулся шлейф сомнительного прошлого. Как за котом консервная банка, привязанная хулиганом к хвосту. Место под часовню отвели в конце парковой аллеи с расчё-

том, чтобы после строительства её купол стал виден из окон второго этажа Клигерского особняка. Хозяин будто не хотел спускаться с неё глаз.

Помню, как в гостиной он сказал мне без всякого вступления, когда я шла мимо:

– Вот, надумал часовню в парке отгрохать.

Полагалось как-то отреагировать, и я ответила:

– Это богоугодное дело, Николай Витальевич.

Хозяин повернулся ко мне от окна, из которого озирали окрестности. В руке он, несмотря на раннее утро, держал бокал виски. Клигер не был трезвенником, но без компании не пил ничего крепче пива. До определённой поры.

– Богоугодное? – переспросил он с жутковатой ухмылкой. – Бога нет.

– Вы этого знать не можете, – вырвалось у меня, и я обомлела. Впервые за время службы я осмелилась перечить. Ну всё, подумала я, теперь с вещами на выход.

Но кривая ухмылка Клигера лишь перекечевала на другую половину лица.

– Я там был и видел. Бога нет.

– Тогда что же? Совсем ничего?

Он отхлебнул из бокала и вернулся к созерцанию вида из окна. Решив, что разговор окончен, я продолжила путь через гостиную. Ответ Клигера настиг меня в дверях и заставил сердце подпрыгнуть.

– Лучше бы ничего, – произнёс Клигер сдавленно.

Он держал дома иконы и носил золотой крест. Как по мне, говорило это лишь о его суеверности. Ты, несомненно, знаешь таких людей. Они справляют Рождество Христово, посятятся и красят яйца, но не перечислят на память десять заповедей, когда их попросишь. Для Клигера крест и иконы были магическими оберегами, на помощь которых он надеялся. Как и та часовня.

Торжественное открытие состоялось в две тысячи шестнадцатом. Поздравления, фанфары, крестный ход, перерезание ленточки под запись. Большое интервью, которое Клигер дал местному телеканалу. Фотография, на которой Хозяин улыбался на фоне часовни, головой попирая купол. Он собирался использовать этот снимок для предвыборных плакатов. Настроение у Хозяина в те дни было прекрасное, он отказался от виски и вновь созывал к себе гостей.

На подъёме он пребывал недели две-три, пока сторож, явившийся в часовню поутру, не обнаружил, что та разгромлена. По городу сразу поползли слухи. Болтали, что пол посреди часовни обвалился. Якобы, при строительстве в том месте был вырыт и залит бетоном колодец десятиметровой глубины; бетон треснул и в полу образовалась прямоугольная дыра. Часть обломков бетона вынесло наружу. Будто нечто вырвалось из колодца и вытолкнуло их. Оконные стёкла в часовне потрескались, а вся электрика вышла из строя. И обуглились иконы. Их показывали в репортаже. Можешь найти на «Ютубе», я не сочиняю. Что до прочих слухов... Я

и тогда в них поверила, а сейчас у меня вовсе сомнений нет.

Клигер напился в стельку, не дожидаясь вечера. Пьяный, он бродил по дому и лютовал, как взбесившееся привидение. Так разошёлся, что его очередная зазноба собрала вещи и сбежала. Рыженькая такая. Его последняя.

И всё. Жизнь Клигера начала сыпаться, как та часовня, пусть и не в одночасье. Про то, чтобы избираться в горсовет, больше не шло речи. Пovyлезали проблемы с бизнесом, падала выручка, а расходы рванули вверх. Он профукал контракт на постройку нового торгового центра, и когда тот был возведён, магазины Клигера лишились изрядной доли покупателей. Рынок издёргали проверками, и Хозяин не продал его только потому, что не успел. Он терял хватку, об этом сперва шептались, затем заговорили открыто, и не только конкуренты, но и друзья с партнёрами. Клигер разогнал их всех. Друзей и партнёров, я имею в виду.

Одни говорят, время меняет человека. Другие – что люди остаются прежними. Сама я считаю, что люди проходят через жизнь и выходят покалеченными. Клигер... Клигер менялся. В те дни я, правда, думала, что причина не во времени, а в «Чивас Регал». Хозяин всё чаще сидел в гостиной у остывшего камина и исподлобья буравил пространство тяжёлым взглядом – в отставленной руке бокал, а в ногах бутылка. Я старалась уйти из дома до того, как он совсем накачается. От одного запаха, окружавшего Хозяина, можно было свалиться без чувств. Но хуже всего было, когда Хо-

зьяин принимался говорить. Его речи казались столь же бессвязными, сколь и пугающими. Для него не имело значения, слышит ли его кто-нибудь. Полагаю, он меня и вовсе не замечал. Хотя однажды, когда я оказалась рядом, он схватил меня за запястье и долго не отпускал, продолжая пялиться в стену. Его ладонь была потной, а хватка – крепкой, но я почувствовала, как дрожат его пальцы.

Этим странности – или раскручивающаяся спираль безумия? – не ограничились. В свой последний год Клигер прогнал всю охрану. Он стал требовать, чтобы я оставалась до темна, и я не смела ослушаться, хоть мне и было до чёртиков жутко. С наступлением темноты я должна была зажигать свечи. Ты бы видела эту картину! Похожий на вывороченный бурей валун Хозяин в гостиной, которую свечи превратили в костёл, а со стены на стену перескакивает его горбатая, кривляющаяся тень. Эта угольная тень заставляла меня вспоминать о давнем ночном кошмаре, про который я рассказывала. Весной и летом стало полегче, но август прошёл, а с ним и всякая надежда на возвращение прежней жизни, когда Клигер имел хватку, колесил по городу на очередном джипе и ни один гаишник не смел взмахнуть перед ним жезлом.

Заканчивался две тысячи восемнадцатый. Кажется, той осенью не выдалось ни одного солнечного дня. Клигер пил, как не в себя, и его прошлые загулы стали казаться всего лишь разминкой. Однажды я поднялась в гостиную зажечь

свечи и, увидев в кресле привычную фигуру, не сразу поняла, что в свисающей с подлокотника руке Хозяина не бокал, а пистолет. Бокал, пустой наполовину, стоял у кресла, как и бутылка. Тоже наполовину пустая, насколько я могла судить.

Я замерла, не дойдя до середины комнаты. Я не знала, заметил ли меня Клигер, и колебалась: остаться или выйти тихонько прочь? – когда Хозяин слабо шевельнул рукой с пистолетом и сдавленным, но отчётливым голосом произнёс:

– Они растут.

«Он болен», – решила я. Он болен, он, быть может, умирает, безумие угнездилось в его голове, и я испугалась за нас обоих. Как себя вести? Что заставит его выстрелить – моё молчание или любое сказанное слово?

Я выбрала второе, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал спокойно:

– Я пришла зажечь свечи.

Клигер едва уловимо повёл головой в мою сторону. Его рука с пистолетом не шелохнулась.

– Они растут, – повторил он, а я подумала про те иссохшие ошмётки плоти, которые я нашла в шкатулке, и про сон с мамой. «Пока они не выросли!» – и хруст челюстей. Мне показалось, что ноги отнимаются, и я сейчас грохнусь без чувств.

– Всё в порядке? – спросила я как-ни-в-чём-не-бывало тоном.

– Зря я ходил в лес, – изрёк Клигер туманно и хрипло. Его

веки тяжело опустились, точно он вознамерился заснуть... или вспоминал. – Он намахал меня. Теперь мне ясно. Но я так хотел жить. И я так хотел... всего!

Он всплеснул руками, будто это объясняло сказанное, открыл глаза и уставился на меня. Глаза были розовыми, словно Хозяин мыл их с шампунем.

– Он похож на человека, – с расстановкой проговорил Клигер. – Но он не человек. Одной рукой даёт, тремя забирает. А я взял её. Понимаешь ты?

Вне себя от ужаса, я кивнула. Я бы клялась и ела землю, лишь бы Хозяин прекратил и дал мне уйти.

– Ни черта ты не понимаешь, – скривился он. На самом деле вместо «чёрта» он сказал словцо покрепче, из тех, что я особенно не люблю. Его рука с пистолетом взметнулась над подлокотником, как кобра. И вдруг он взревел: – Я видел! Никакого Бога нет! Нет Бога! Там что-то другое, и я не хочу опять это видеть! Не хочу возвращаться *туда*!

Его голос стал похож на лай пса, которому наступили на горло. Пистолет описывал круги в воздухе. Едва живая, я прикидывала, смогу ли добежать до двери и не получить пулю промеж лопаток. Но то, о чём Хозяин говорил, ужасало сильнее.

Он обмяк в кресле так же внезапно, как взорвался – если валун в человеческом облиции вообще способен обмякнуть. Рука с пистолетом бессильно опустилась на колени.

– Гарь. Чуешь? – спросил он брезгливо. – Весь дом про-

вонял.

Единственное, что я чуяла, это запах виски, резкий и рвущий горло, как битое стекло. Но я согласилась. С вооружёнными сумасшедшими разумнее соглашаться.

– Мне открыть окно? – предложила я.

Клигер мотнул головой.

– Не. Задуеть свечи. Зажигай и уходи.

И, к моему облегчению, он нагнулся за бутылкой. Обошёлся без бокала, глотнул виски сразу из горла, легко, как воду.

Я сделала, как он велел. Зажгла и ушла. Он не проронил ни слова.

С того вечера Клигер постоянно жаловался на запах гари и требовал днём открывать окна. Я открывала, хотя дождь заливал подоконники и на них вырос грибок. Вечером же Клигер пьяным истуканом сидел в своём кресле, а к его старым приятелям – бокалу и бутылке – прибавился третий друг, пистолет.

Ты спросишь, почему я не уволилась сразу после того случая. Я задавала себе тот же вопрос, и ответ покажется тебе, наверное, бредовым. Я не могла его бросить. После почти двадцати лет, что я присматривала за ним – не могла. У меня не осталось никого ближе, чем он. И в конце у Хозяина не осталось никого ближе меня. Такое называют Стокгольмским синдромом. Ну пусть.

Дружок, я сейчас сидела и очень долго думала, как про-

должать. Что бы я ни написала, ты сочтёшь это безумием. Я и сама желала бы так думать, но у меня нет этой роскоши читателя. Я видела. Как было, так и расскажу.

Пришёл ноябрь, тоскливый до одурения, бесконечный, как неизлечимая болезнь со смертью в конце. Одна сплошная мокрая ночь длинной в тридцать дней. Помню, у меня появилось твёрдое чувство, что мы достигли черты, ещё немного – и привычный мир рухнет. Так и случилось. Двадцать первого ноября – день, когда рухнул мир.

Он начался, как обычно, этот день, тянулся, как обычно, и обещал завершиться, как обычно. Разве что ноябрьское ненастье перерастало в бурю. МЧС прислало эсэмэску об усилении ветра. В сумерках я поднялась в гостиную для традиционного зажжения свечей. Ещё на лестнице я заметила льющийся сверху свет – оказалось, Клигер зажёл свечи сам. У меня возникло странное ощущение, забытое, но знакомое. Словно я погрузилась в сон, который видела прежде. Я не шла, а плыла в гостиную сквозь толщу воды, и мои ноги утопали в иле. Внезапно заболела голова, перед глазами вспорхнуло облако встревоженных золотистых мошек. Кокон света надвигался на меня из сгустившейся черноты, и в этом коконе – знакомая квадратная горгулья, оседлавшая кресло.

Как во сне, разум отметал ненужное, сосредотачиваясь на одних имеющих значение деталях. Клигер, окружённый свечами. Его рубленая тень. Бутылка с бокалом на полу. Пистолет на подлокотнике. И шкатулка на коленях у Хозяина. Та

самая. Открытая.

Я застыла в дверях, забыв, как двигаться, как дышать, и только волоски у меня на руках ожили, зашевелились. Я помню этот зуд, помню, как нестерпимо хотелось почесаться, запустить ногти в кожу и драть, пока та не слезет, а пальцы не нащупают под ошмётками кость. Я не знала, что произойдёт, если Клигер меня заметит, но мне казалось – нечто чудовищное.

Хозяин склонился над шкатулкой так низко, точно собирался в неё нырнуть, и не двигался. У меня мелькнула мысль, не умер ли он. В эту минуту он поднял безвольную руку и, как бы колеблясь – а может, сопротивляясь? – запустил пятерню в ларь.

Я уже знала, что произойдёт дальше.

Клигер достал из шкатулки одну из тех... штук. Поднёс к лицу, порассматривал. Широко, как Щелкунчик, распахнул челюсти – я слышала, как они хрустнули – и закинул в рот.

Дружочек, мне показалось... Нет, теперь я уверена. Этот кусок, он, оно... *закричало*.

Закатив глаза, Клигер принялся жевать, и мне стало ясно, что он безвозвратно спятил. Возможно, спятили мы оба.

Ещё я поняла, что отрублюсь, если останусь досматривать.

Я нашла в себе силы отступить и на цыпочках спуститься по лестнице, пока Клигер жевал, или, может, глотал и запищал виски.

К пристройке, которая досталась мне после того, как Клигер повыгонял охранников, я уже неслась на полном ходу. Вбежала, пошвыряла кое-как вещи в сумку и выскочила под ливень. МЧС, предупреждавшее о шторме, не обмануло. Буря дубасила по крыше особняка громовыми кулачищами, шмякала о стены изжёванную осклизлую листву, от которой на кирпичах оставались маслянистые пятна, напоминавшие брызги рвоты. Расхристанные липы, росшие перед домом, остервенело вцеплялись друг в друга ветвями, как скандалящие торговки, срывали оставшиеся листья, выдирали стволы из земли. Я открыла зонт, но порыв ветра тут же вывернул его. Борясь с зонтиком, я вспомнила, что оставила телефон на кухне. Всё внутри меня противилось возвращению в особняк, Галя, и как же я жалею, что не прислушалась к внутреннему голосу! Но мне надо было забрать телефон. Я решила, что переступлю порог дома Клигера в последний раз, и пусть он остаётся со своими чёрными тайнами сам по себе.

Когда я схватилась за ручку входной двери, сзади раздался оглушительный треск. словно само пространство разрывала неведомая сила. Я обернулась вовремя, чтобы увидеть, как старый клён за воротами надломился и кренится к земле. Он смял провода, натянутые вдоль дороги, как рука сминая паутину, и в облаке искр рухнул на обочину, погружая улицу во мрак. Второй раз провидение, казалось, давало мне шанс одуматься и не возвращаться в дом. Я им не воспользовалась. Дура!

Я ворвалась в прихожую. Свет вырубил, но я нашла бы кухню и с закрытыми глазами. Первый этаж, вторая дверь по коридору направо. Телефон лежал на холодильнике. Я схватила его с намерением вызвать аварийку. Телефон был мёртв. Я поняла это ещё до того, как нажала на кнопку.

Делать нечего – я сунула мобильник в карман и заторопилась к выходу. Я была на полпути, когда наверху раздались выстрелы. Раз, два, три! Затем Клигер закричал. И четвёртый выстрел. И снова крик.

Я побежала. Не из дома – наверх. В крике Кликера не осталось ничего повелительного. Только ужас и мольба. Порой так кричала моя мама.

В доме смердело гарью. Он весь пропах пожаром, и давно, Клигер оказался прав, как я не замечала прежде? И сам воздух... он стал *грязный*. Грязный. Понимаешь? Замаванный.

Я влетела в гостиную. Я сперва ничего не поняла. Увиденное ворвалось в моё сознание, которое было вовсе не готово ни принять это, ни вместить.

Гостиная была полна чудовищ.

Они обступали Кликера. Он полз по полу и отмахивался пистолетом. Полз среди свечей. На его губах пузырилась кровь. Стекала по подбородку. Я успела заметить прежде, чем его заслонили.

И, кажется, Хозяин успел заметить меня.

Они

Они были

формы

Галя, я не могу

Их было шестеро. Шесть. И из шкатулки выбиралось седьмое. Седьмое. Из шкатулки на полу. Выбиралось и росло. Росло.

если твой глаз соблазняет тебя вырви его и брось от себя

Там был глаз. Гигантский будто рачий глаз с крючками и отростками и лапками и чтото сворачивалось и разворачивалось в нём и плавали твари внутри как в аквариуме

Господи помилуй Господи помилуй

Они

сливались складывались липли у одной из морды торчал длинный коготь у той что похоша на хвост огромной ящерицы ящеречный хвост

Как куча слипшегося мусора.

Морда

Сношающиеся формы Слякоть

Клешни и клыки и хоботы ласты

[зачёркнуто до нечитаемости]

Они разрывали Клигера.

Он надрывался вопил, а их тени кривлялись над ним, как хирурги над столом, а Клигер ревел как

Галчонок, я не могу.

Я убежала.

Они сгрудились над ним, кровь хлестала из-под их лап, и зеркала в гостиной трескались, стоило отражениям их кос-

нуться.

Я убежала. А он всё кричал.

Я мчалась по затопленной бурей и мраком шипящей, хочущей улице, ужасаясь оглянуться и увидеть, как чудища догоняют меня.

Я сейчас выпила, дорогая. Прости. Помогает собраться. Я не пьянею. Я написала невероятную невнятицу, но если попробую снова, выйдет хуже. Поверь, хуже.

Они были настоящими, те твари, они вылезли из проклятой шкатулки и растерзали Хозяина.

Не помню, как очутилась дома. Бег выбил из меня и силы, и мысли. Четыре километра под проливным дождём – убийственное испытание для Громозеки под пятьдесят, которая ещё в школе поняла, что не создана для спорта. Меня словно нашпиговали гравием: лёгкие, горло, сердце. От меня валил пар. Я потеряла зонтик. Я думала, я умираю.

Я провела ночь в беспамятстве и очнулась под утро на кухне в окружении свечных огарков, с Евангелием на коленях. При свете дня воспоминания о событиях той ночи поблекли, и я начала убеждать себя, что они – лишь сон, живой и яркий. Но мои распухшие ноги говорили об обратном. Я едва могла ходить. Я порывалась позвонить Клигеру – пусть он развеет мои сомнения. Но телефон безнадёжно вышел из строя, мне не удалось зарядить его, сколько ни пыталась. А после обеда пришли полицейские.

Если коротко, его так и не нашли, Клигера. Зато, говори-

ли, крови в гостиной было столько, что вовек не отмыть. Последним человеком, который видел Хозяина живым, оказалась я.

Я врала, и врала убедительно. Уборщица – не обязательно дура, милая. Мол, ушла от Клигера, как началась гроза, ничего не видела, ничего не слышала. На время это сработало. Ничто не могло меня выдать. Вся электроника в доме Клигера, включая наружные камеры и жёсткие диски, на которые велась запись, погорела. Насколько знаю, копы пытались восстановить диски, но без толку. Те попросту оплавилась. Да что там, даже батарейки в фонариках и дистанционных пультах сдохли, будто из них высосали всю энергию. Это отражено в протоколах, Галя, и подтверждает лишний раз: я не сошла с ума.

С камерами мне повезло. Везение кончилось, когда оказалось, что Клигер завещал мне приличную сумму. Яхту не купишь, но на год безбедной жизни хватило бы вполне.

Внезапно свалившееся наследство из свидетельницы сделало меня подозреваемой. У меня устраивали обыск. Галя, не описать, как это унижительно, когда тебя обыскивают. Словно ты голая на площади и каждый норовит тебя ущипнуть за место посрамнее, снять на мобильник и выложить в сеть.

Да, о мобильнике. Мой, сгоревший, тоже нашли. Очередная улика против меня. Следователь допрашивал снова и снова. Допытывался, не состояли ли мы с Клигером в отно-

шениях. Отношения – у меня-то. Обхохочешься.

Что до шкатулки... О ней ни разу не спрашивали. Нашли ли её, или она исчезла, как тело Клигера – не имею представления. И не хочу иметь.

Я выкрутилась. Сломанного телефона и завещания оказалось недостаточно, чтобы меня потопить.

Большая часть перепавшего мне наследства ушла на адвоката. Остатка впритык хватило на курсы медпомощи. Я собиралась пойти сестрой в больницу, где раньше работала уборщицей.

Не взяли. Прямо не объяснили, почему, но жирно намекнули на уголовное дело. Прошрое тянется за нами, Галя, как консервная банка за кошкой, помнишь, я писала об этом? Рано или поздно, оно нагоняет.

После долгих мытарств я устроилась в краеведческий музей. Уборщицей, конечно. Платят гроши, но много ли мне теперь надо? Жизнь прошла, а я так и не поняла – зачем? Ради того, чтобы Клигер приоткрыл мне свою тайну? Но что я увидела? Я до сих пор толком не поняла. Его настигла расплата за везение и богатство, одолженные у того, о ком я боюсь даже думать? Не знаю, да и что мне с того? При чём тут я? Почему вляпалась в эту историю?!

Пусть это и несправедливо, я ненавижу Клигера всякий раз, когда задаюсь подобными вопросами. Сам того не зная, он коснулся меня своим проклятием, и эту отметину не смыть. Она точно смертельный вирус, затаившийся в ожида-

нии подходящей минуты.

Вечером в музее почти нет посетителей. Зато тут много камер и охранник дежурит на входе. В последнее время он жалуется, что камеры барахлят. Но я всё равно предпочитаю задерживаться в музее подольше. Камеры и охранник – мнимое утешение, но дома и такого нет.

Видишь ли. Я стала чувствовать запах гари. Он преследует меня повсюду. Даже на улице. Там он слабеет, но не исчезает.

И... Порой я замечаю – мельком, краешком глаза или в отражении в стекле – едва уловимое движение. Будто пробегают рябь... или тень. Стоит оглянуться в сторону движения, и там не оказывается ничего необычного. А затем всё повторяется, внезапно, когда ты и думать забыла. Поэтому я стараюсь не забывать. Хотя, говорят, когда думаешь о плохом, то притягиваешь плохое. Эта рябь или тень – очень, очень плохое. У меня нет сомнений.

Вчера в музейной уборной треснуло зеркало. Я заливала моеющее средство в писсуары, когда услышала хруст. Будто кто-то со вкусом пробует подошвой нетронутый наст. Я обернулась и увидела, что зеркало, секунду назад целое, расколото сверху донизу. И зыбь в отражении – как ветерок пронёсся. Тёмный такой ветерок.

Разбитое зеркало – семь лет удачи не видать. Я же задаюсь вопросом, есть ли у меня семь часов.

По крайней мере, времени на то, чтобы написать письмо,

мне хватило. Рука поначалу болела, а теперь онемела и не чувствует ничего, хоть ножом кромсай. Если

Только что. Я снова видела тень, боковым зрением. И запах гари – усилился. Боженька, дай мне закончить. Боженька, дай мне закончить. Дай мне

Я

Галя, пойми. Когда я заглянула в шкатулку – в *тот* раз – я не могла противиться. Словно я не я. Это было отвратительно. Эти куски плоти. Я съела один из них. Помилуй меня, Господь.

Бога нет, говорил Клигер. Есть что-то другое. Вдруг он прав? Что если он прав, Галя, и я

Люблю тебя, дружок. Как бы там всё ни обернулось, я обнимаю тебя и надеюсь, в твоём сердце сыщется немного тепла для той нескладной девчонки, которую ты когда-то учила кататься на велике и с которой делила тайны.

Я не могу, я боюсь желать тебе счастья. Что если пожелание от такой... *осквернённой* обернётся противоположностью?

Прощай, Галя.

Никогда не забывавшая тебя,

Полина

Из газеты «Студёновский вестник» за 12 февраля 2021 года:

ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В ГОРОДСКОМ МУ-

Сегодня в 9:10 в Отдел полиции №3 УВД России по г. Студёновску поступило сообщение о случае вандализма в Краеведческом музее нашего города и, по неподтверждённой информации, исчезновении уборщицы музея. Заступивший утром на смену охранник обнаружил, что в цокольном этаже здания разбиты все оконные стёкла и зеркала. Из-за неисправности систем видеонаблюдения установить подробности произошедшего пока затруднительно. По непроверенным сведениям, в музее найдены следы крови.

Уборщица, 51-летняя Полина Лебедева, должна была закончить работу в 9-00, однако домой не вернулась, и до настоящего времени её местонахождение не установлено. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают названную сотрудницу музея, а также возможных свидетелей.

Случившееся заставляет вспомнить схожий случай трёхлетней давности, когда таинственным образом из собственного особняка исчез Николай Клигер, известный в городе бизнесмен с вызывающим вопросы прошлым. Примечателен тот факт, что Полина Лебедева ранее работала у Клингера экономкой. Прокомментировать, существует ли связь между двумя этими событиями, представители правоохранительных органов отказались...

В Ульцинь

– В Ульцинь можно попасть двумя способами, – тоном бывалого путешественника объяснял Виталик Але перед полётом. – Дойти пешком от аэропорта до автобусной станции или тормознуть на остановке проезжающий автобус. До станции минут десять ходьбы, а остановка – рядом с аэропортом. У нас сумки, поэтому первый вариант отпадает.

Третий вариант, о котором Виталик умолчал – взять такси, – Але нравился больше прочих. Его Виталик не рассматривал: дорого. Але осталось лишь вздохнуть про себя.

– А как ты узнаешь, какой автобус надо тормознуть? – спросила она.

Виталик глянул на неё поверх солнечных очков, кривоулыбавших на горбинке греческого носа.

– Станем махать каждому. На «Винском» пишут, в Черногории это так работает. Не кипишуй, Свинникова.

В ответ Аля Винникова привычно назвала Витальку Мамонова Омоновым.

На земле всё сложилось иначе, чем сулил форум Винского. Остановка и вправду оказалась возле аэропорта, но проторчали они на ней почти час. За это время мимо проехало два автобуса, хотя Виталик и махал им рукой, а перед вторым даже подпрыгивал. «Не пассажирский», – оправдывал Виталик каждую неудачу. Он стряхнул с плеч рюкзак и водрузил

его на Алину спортивную сумку, стоявшую в траве. Сзади на прежде белоснежной футболке Виталика проступило сырое пятно с коричневатой каймой. Поля Виталикиной панамы понуро обвисли. Он утратил всякое сходство с бывалым путешественником.

Терпение Али, и без того подорванное долгим перелётом – транзит в Белграде занял двенадцать часов, – иссякло. Она хотела заметить, что десять минут пешком до автобусной станции – это в пять раз меньше времени, проведённого ими на остановке, когда Виталик оторвал взор от залитой жарким солнцем асфальтовой ленты, извивающейся среди сочной июньской зелени, и оповестил:

– Едет, кажется.

Поля его шляпки тотчас вернулись в прежнее приподнятое положение. Рик Санчес с принта на футболке торжественно показывал Але «козу».

– Ну так тормози!

Аля не сомневалась, что и третий автобус – тёмно-синий кашалот с лоснящимся лобовым стеклом – промчится мимо, обдав их запахом выхлопов и нагретой резины. Но тормоза обнадёживающе скрипнули, шины, замедляя вращение, зашуршали, и металлический великан замер, усмирённый Виталькиным поднятым пальцем.

Виталик послал Але ликующий взгляд «А что я говорил?» и сунулся в растворяющуюся путникам дверь.

– Ульцинъ? – спросил он в полумрак. Ответа Аля не услы-

шала, но заметила, как просияла физиономия парня. Она подхватила со скамейки свой рюкзачок.

– Ульцинь, Ульцинь! – тараторил Виталик, возвращаясь за вещами. – Ты ещё сомневалась. Ульцинь!

В боку автобуса с причмокиванием распахнулся люк багажного отсека. Виталик закинул в него спортивную сумку, после чего как истинный джентльмен первым устремился в автобус.

– Путешествие продолжается! – трубил Виталик. Рюкзак свисал с одного его плеча, так что поднимающаяся следом Аля видела теперь лишь половину грязного пятна на спине. – Время, мать их, приключений.

В автобусе царила жара. Не послеполуденная жара раннего лета, сухая и пропитанная кондитерским благоуханием жёлтых цветочков, обильно рассыпанных у остановки, подобно кукурузным зёрнам. Нет, это была тяжёлая, законсервированная духота, наполненная пылью, затхлостью и крепкой сигаретной вонью. Прочие запахи, менее выраженные, Аля пока не узнавала. Она лишь могла сравнить их с вонью кислой плесневевшей капусты или носков, забытых на дне корзины для белья.

Водитель что-то сказал. Виталик переспросил. Водитель ответил. Виталик обернулся к Але. Лямка его рюкзака шлёпнула девушку по щеке.

– Надо надеть маску, как я понял, – сказал Виталик. – У них, вишь, с этим построже.

Аля достала из кармашка рюкзака медицинскую маску, с которой проделала путь из Москвы, и нацепила на нос. Неприятные запахи слабее не стали, зато теперь к ним добавился аромат затасканной тряпки.

Виталик расплатился и двинулся по салону. Глаза Али не успели отвыкнуть от солнца, и на миг Виталик выпал из поля зрения, словно автобусная темнота уплотнилась и втянула его в себя, оставив девушку одну на подножке тёмно-синего гиганта – выжидающая, готовая принять и её. Затем она увидела другого гиганта – того, что сидел за рулём – и от изумления на мгновение забыла, как переставлять ноги.

Водитель был противостоестественно толст. Настолько, что брюхо скрывало бёдра, и из-под него торчали сразу колени. Будто ламантина выволокли на сушу и затолкали в салон, где бедняга расплылся громадной каплей масла, обтянутой парусиновой тканью и бледной до болезненности кожей. Все черногорцы, которых Аля успела повстречать на балканской земле, были приятно смуглыми. Потому у Али, когда она смотрела на отливающее лёгкой синевой лицо водителя, возникла странная мысль: а он вообще когда-нибудь покидал своё кресло?

Смоляные неопрятные кудри шофёра напоминали ворох пружин, которые шути ради высыпали на голову и приклеили потом к черепу, лбу и вискам. Але редко доводилось встречать столь ошеломляюще жалкое и отталкивающее создание. Может, и вовсе никогда.

Она была убеждённой противницей бодишейминга, и потому действие эффекта «зловещей долины» стало для неё не только новым ощущением, но и неприятным сюрпризом.

Её окликнул Виталик – вот же он, никуда не исчез, стоит у передних кресел.

– Dobar dan, – поздоровалась она с водителем фразой из русско-черногорского разговорника.

Водитель дёрнул ламантиней головой, будто пытался повернуть её и рассмотреть вошедшую получше. Ничего у него не вышло. Шея водителя утопала в подушках жира. Ему удалось только скосить заплывшие поросячьи глазки, прячущиеся под очками с линзами, толстыми, как доньшки бутылок, и промяукать что-то совершенно не похожее на черногорское приветствие. Медицинская маска толстяка была растянута на подбородке, как слюнявчик. Над ней шевелились влажные, землисто-сизые губы. Аля подумала, что водитель похож на Ждуна, и едва не фыркнула.

Она поднялась в автобус. Дверь за спиной закрылась с уже знакомым звуком поцелуя, отсекая единственный источник свежего воздуха. В автобусе не оказалось никакого намёка на кондиционеры.

– Too hot⁴, – попробовала Аля объяснить водителю. – Кондишен.

Ждун скосил глаза сильнее и повторно мяукнул. Затем включил поворотник и потянул за рычаг. Автобус тронулся.

⁴ Слишком жарко (англ.).

За любовым стеклом остановка, где пара провела час, ушла вправо, пейзаж качнулся и поплыл.

– Блин.

Виталик шёл по проходу. Аля быстро окинула взглядом ряды кресел и не без удивления обнаружила, что все они заняты старухами. Не божьи одуванчики, как в России – крупные крепкие балканские бабки с густо-загорелой до терракотового кожей. Такого же цвета была черепица, покрывающая крыши домиков, что мелькали за окнами. Цепкие глаза в паутинках морщин дерзко и весело изучали вошедших. Нижнюю часть лиц всех без исключения тёток скрывали медицинские маски, над которыми клювами торчали мощные римские носы.

Замявшийся было Виталик бросил Але через плечо:

– Есть места, – и двинулся в конец салона, где действительно дожидались седоков два пустых кресла.

– Виталичек, дай мне к окну.

– Какни, – хмыкнул Виталик великодушно, заталкивая их рюкзаки на полку. Аля протиснулась мимо него и упала в кресло:

– Наконец-то!

– Наконец-то, – подхватил Виталик, усевшись рядом. Они разом стянули маски на подбородки. Аля со вздохом пожаловалась:

– Спина просто отваливается. И всё, что ниже.

– Осталась ерунда, – ободрил неунывающий Виталик. –

Час сорок, если приложение не врёт.

– А-а! – с деланым отчаянием вскрикнула Аля и отдёрнула с окна тёмно-коричневую штору. Штора сразу вернулась в прежнее положение. Аля повторила попытку. Штора упрямо съехала на прежнее место, оставив от вида из окна узенькую щёлочку. Дотрагиваться до шторы было неприятно – на ощупь та напоминала клочок пыльной старой паутины, – и Аля сдалась.

– Каков автобус! – Она раздражённо огляделась. – Воняет, кондиционера не предусмотрено. Худший автобус ever⁵!

– Счас решим. – Виталик привстал и распахнул форточку. Свежести не прибавилось. С тем же успехом Виталик мог открыть один из рюкзаков. Воздух снаружи был жаркий, неподвижный, он не мог колыхнуть даже строптивую шторку. Виталик развёл руками:

– Не судьба, Свинникова.

– Пользы от тебя, Омонов...

– Так можно и обидеться.

– Да я не из обидчивых, – отшутилась Аля, притворившись, что не поняла суть замечания.

Жара не располагала к тому, чтобы ломать голову над ответной шпилькой, и Виталик смолчал.

А вот пожилые дамы, притихшие во время остановки автобуса, вернулись к прерванным беседам. Очень быстро у Али сложилось впечатление, что все старухи знакомы друг

⁵ Здесь: самый (англ.).

с другом. Развалившаяся позади Виталика тётка в голос, почти криком, обращалась к товарке, сидевшей в соседнем ряду на три кресла впереди. Товарка откликнулась с той же неприличной мощностью децибел. Маска под её носом вздувалась и опадала, как зоб квакающей жабы.

– Ну охренеть, – прокомментировала Аля полущёпотом, морща лоб. – Ревут, как ослы. Чего они?

– Южный темперамент, – флегматично откликнулся Виталик. Он ковырялся в телефоне, сдвинув панаму на затылок.

Перед отлётом, вспомнила Аля, Виталик рассказывал, что в черногорском языке много слов, схожих с русскими. Она выучила некоторые выражения из разговорника: «Dobar dan», «Zdravo», «Hvala». Надписи в аэропорту: «Ulaz» и «Izlaz»⁶. И правда, похоже. Однако сейчас, вслушиваясь в трескотню, Аля не находила в ней ничего общего с родным языком. Ни единого узнаваемого слова в грохочущем потоке. Даже «Zdravo» или «Izlaz» не промелькнули. Одно нескончаемое «мяу-мяу-мяу». Аля не выдержала.

– Excuse me! – Она повернулась к тётке, горланящей над ухом. – Oprostite⁷! Вы не могли бы потише или пересесть, если вам так хочется пообщаться? Can you be quite or change a seat, please?⁸ Izvolite?⁹

⁶ Добрый день, привет, спасибо, вход, выход (*черногорск.*).

⁷ Простите (*черногорск.*).

⁸ Могли бы вы быть потише или пересесть, пожалуйста? (*англ.*).

Для убедительности Аля похлопала себя ладонями по ушам.

Старуха вытаращила на Алю маслянисто-чёрные глаза. В их глубине плясали искры – признак то ли веселья, то ли чеканутости. Энергично закивала. И пуще прежнего затянула своё «мяу-мяу» сидящей в другом конце автобуса подруге. Маска не первой свежести заходила ходуном, вздуваясь на самом горле крикуньи. У старухиной соседки на маске красовалось водянисто-бурое пятно в форме раздавленного жука. Алю передёрнуло. Изжога – она и вспомнить не могла, когда мучалась ею последний раз – ежом прокатилась по пищеводу.

– Витальк.

– А?..

– Уй на! – Аля раздражённо всплеснула руками в сторону неумолкающих старух.

– Ну что я сделаю? – пробубнил он. – По морде, что ли, надаю? Пожилые же люди...

– Да-а, тут точно дом престарелых на колёсах!

– Это не противозаконно. Сама такой будешь, – с вымученной улыбкой произнёс он, пытаясь изобразить, насколько безразличны ему царящие шум и гам.

Старуха позади Али расхохоталась. Как будто поняла сказанное Виталиком. Дребезжащий, хриплый звук: будто и не человек смеётся, а гигантский попугай.

⁹ Пожалуйста (*черногорск.*).

Девушка выругалась сквозь зубы. Бросила на хохотунью испепеляющий взгляд – Аля надеялась, что он кажется таковым, – вытряхнула из сумочки мобильник и заткнула уши наушниками. Клава Кока под кукольную музыку заканючила, чтобы её забрали пьяную домой. Сквозь эти настойчивые мольбы пробивался, ввинчивался в каждую паузу между нотами старушачий гомон. Але оставалось только уткнуться носом в узкую полоску стекла между шторкой и рамой и терпеть. Вдоль дороги бежали домики, указатели, заправки, опушённые пышной зеленью, но вид перестал казаться Але манящим.

Невероятно, но среди этой какофонии ей удалось задремать. Правда, ненадолго – на повороте Аля тюкнулась лбом о стекло и очнулась. Во сне, стремительно ускользящем из памяти, она ожидала приёма врача, а вперёд очереди в кабинет лезли люди, изуродованные ноздреватыми опухолями. Аля не возражала. У неё было стойкое предчувствие, что доктор приготовил ей дурные вести. Дрянь, а не сон.

Она потёрла ушибленный лоб. Наушники свалились на колени, и из комка спутанных проводов доносился комариный писк очередного дарования из Black Star.

Старуха, которая сидела впереди, размеренно билась затылком о спинку кресла. Аля забыла и про ушиб, и про скомканные наушники. Ей показалось, что сон продолжается и невесть откуда взявшийся доктор примет женщину без очереди. Её соседка никак не реагировала на поведение подру-

ги, продолжая горланить тётке из соседнего ряда.

– Витальк. – Аля пихнула локтем парня, который тоже успел задремать.

– Ого, – оценил он, почесав себе темя под панамой. Может, продолжил бы комментарий, но тут рука припадочной резко, будто вырвавшаяся из корзинки мамба, взметнулась к окну. Ногти, длиннющие, рубиновые – настоящие когти, – заскребли по стеклу.

– У неё приступ, что ль?

– Не похоже, – ответил Виталик без особой уверенности. Он подался вперёд, желая убедиться. Тотчас старуха среагировала на движение и обернулась, вперившись глазами в Алю. Старуха так неестественно сильно вывернула шею, что приобрела сходство с тучной совой в рыжем парике. Невольно Аля вспомнила какой-то древний ужастик, в котором одержимая злым духом девочка вытворяла подобное.

По крайней мере старуха была в сознании.

Хорошо это ли плохо? Аля не знала. Она физически ощущала на себе совиный взор бездонно-чёрный, с оливковой искрой, глаз: будто два шершавых пальца с крючковатыми когтями слепо шарили по её щекам, скулам, бровям... Когда взгляды – против Алиной воли – встретились, голова у девушки закружилась, словно призрачные пальцы вошли ей в мозг и начали месить.

Тем временем когти старухи всё вытанцовывали на стекле психоделическую чечётку, всё выстукивали дробно самое

странное и завораживающее ASMR из всех, когда-либо созданных и выложенных на YouTube. Будь Аля сейчас на ногах, они бы её подвели.

Она заставила себя улыбнулась старухе: чрезмерно приветливо, так, чтобы улыбка могла восприниматься как вызов.

– Zdravo! Давайте знакомиться! Я Аля. And you¹⁰?

– Свинникова, да оставь ты её, – предостерёг Виталик. – Эти мне твои случайные знакомства...

– Дружба – это магия, Омонов.

– Она тебя даже не понимает, – не сдавался Виталик, и тут старуха обратила свой взгляд на него. Морщинки умильно побежали от уголков её глаз до самых висков: старуха просияла под маской.

– Vitka, – промурлыкала она. Виталик пожал плечами. – Vitka.

– Вот и ты завёл себе друга, – невинным голоском заметила Аля. В глубине души она была рада, что старуха переключила внимание на парня.

– Счастье-то какое, – пробубнил Виталик. – Всю жизнь мечтал.

Аля снова улыбнулась старухе. Но та неожиданно отвернулась, будто вспомнив некое событие, которое требуется срочно обдумать. Рука, царапавшая стекло, бессильно упала. Старухина соседка что-то сказала рыжей, после чего обе

¹⁰ А вы? (англ.).

сипло и неприятно расхохотались: будто вороньё сорвалось с кладбищенской ограды.

Обычно дружелюбие помогало Але разрядить обстановку, но сегодня этот приём впервые подвёл. Напротив, воздух в автобусе точно сгустился, пространство сжало девушкины плечи. В семь лет Аля играла с мальчишками на стройке – она была той ещё пацанкой – и забралась в какую-то трубу, где и застряла. Дожидаясь подмоги, она пыталась не разреваться – и всё-таки разревелась к самому приходу взрослых. В накалённой солнцем трубе было душно, как в микроволновке, пахло ржавчиной и крысами. Голоса дружков снаружи казались громкими и искажёнными, точно между собой насмешливо перекликались чудовища, лишь прикидывающиеся людьми. Сейчас то давнее чувство (клаустрофобия? предчувствие угрозы? – Аля не знала) вернулось. Аля опустила ладонь на Виталикино колено и сжала.

Он истолковал жест по-своему.

– О-ля-ля. Сохрани свой запал до Ульциня. Нам ехать ещё час.

«Час езды! – повторила она про себя, убирая руку и отстраняясь. – Я ведь не разревусь, как в той трубе? Вот будет номер»

Занавеска колыхнулась и мазнула Алю по щеке. Вкрадчиво, щекочуще: ветхий саван, отслаивающаяся змеиная кожа. Аля отшатнулась от окна и обхватила себя руками.

Ей внезапно захотелось чесаться и мыться. Ей захотелось

домой. Не в гостиничный номер – в Россию.

Виталик отрешённо ковырял ногтем крохотное бурое пятнышко на спинке переднего сиденья. «Шарк-шарк». Будто пытался таким способом познать, что это за пятнышко цвета ржавчины.

Жара в автобусе не спадала. Аля чувствовала каждую каплю вязкого, как масло, пота, выступающую на лбу, шее и плечах. Капли скатывались между лопатками к пояснице, точно дети с горки. Несмотря на духоту, изнутри Алю обдало холодом. Желудок свернулся в покрытый инеем узел и из глотки к языку вскарабкалась горечь.

Виталик продолжал скрести обивку, найдя новое пятнышко, покрупнее. С видом учёного, корпящего над сложнейшей теоремой, разгадка которой способна или спасти мир, или погубить. Аля захотела осадить Виталика, из её обожжённого горла готов был вырваться крик, когда внезапно услышанное слово заставило её осечься.

Слово, знакомое каждому жителю России.

Аля закусил губу и наострила уши.

Слово повторилось:

– Блядь, – и следом, с другого ряда, прилетело ответное: –

Сука.

Глаза Али расширились до ломоты.

В нескончаемую, кажущуюся неразборчивой болтовню старух, от которой мелко дребезжали оконные стёкла, невпопад врывались родные ругательства:

– Мяу-мяу-мяу, мразь, мяу-мяу-мяу, дура, мяу-мяу-мяу, гнида, мяу-мяу-мяу, падла.

«Славянские языки похожи». Аля попыталась уцепиться за эту мысль, как за спасательный круг. Славянские языки похожи, и то, что у родственных народов одинаковые ругательства... возможно, не так ли?

Вот только зачем старухам понадобилось сквернословить? Аля не представляла.

Виталик тем временем забил на свою теорему и клевал носом, натянув панаму на глаза.

– Виталь!.. – сдавленным голосом позвала Аля. – Вита-аль.

«Мяу-мяу» исчезло и очищенное от черногорских слов сквернословие хлынуло по салону непрерывным помойным потоком:

– Жопа-овца-тварь-пидорюга-соска-мразота-сволочь-шалава-дегенератка-потаскуха-стерва-говно...

Кажется, ни одно ругательство не повторялось.

Аля впиалась ногтями в нижнюю губу. Это сон, просто дурной сон. Не было другого объяснения.

Резь в губе и привкус крови сказали ей об обратном.

По волосам на затылке пробежала лёгкая щекочущая волна. Муха. Аля мотнула головой. Щекотка пропала, но тотчас вернулась. Аля махнула рукой, отгоняя насекомое. Кончики пальцев чиркнули по чему-то упругому и гладкому. Она с омерзением оглянулась и упёрлась взглядом в нависший над

спинкой её кресла орлиный нос, который выпирал над медицинской маской старухи, сидевшей позади.

«Она меня нюхала? Нюхала?!»

В аэропорту Тивата Аля забежала в туалет, но сейчас её кишечник вновь налился невесть откуда взявшейся тяжестью.

«Самое время!»

Лицо старухи отдалилось от спинки Алиного кресла – будто глубоководная рыбёха, заглянувшая в иллюминатор батискафа, безмолвно отступила в пучину. Глаза старухи сверкали взбудоражено и весело.

– Виталька, проснись! – Аля пихнула парня ногой, продолжая коситься на чокнутую бабку.

– Приехали? – причмокнул губами Виталик.

– Виталик, давай выйдем.

– Чегой-то ты? – Он поправил панаму. – Это как понимать, Свинникова?

– Поймаем следующий автобус.

– Здесь? – Виталик с сомнением посмотрел направо. Окно с другого борта заливала лазурь, едва опалённая снизу персиковым румянцем заката. Они ехали по горной дороге над Адриатическим морем.

– Кого ты здесь поймаешь? – протянул Виталик плаксиво.

– Кого угодно. Автобус, попутку... хоть ишака!.. Такси вызовешь.

– Не пойму твоих капризов. То ты рвалась: «скорей-скорей», теперь выйти хочешь. До Ульциня меньше часа... – Он

вдруг хитро подмигнул. – А у тебя, случаем, не ПМС, а?

– Они здесь все крезанутые! – выпалила Аля.

– Тихо ты! – Виталик округлил глаза. – Услышат.

– Они не понимают ни черта! – огрызнулась Аля, понижая голос, и тотчас подумала: ой ли?

– Ты послушай, что они несут, – добавила она шёпотом.

Старушечье «мяу-мяу» вернулось. Никаких ругательств.

Виталик не понял.

– Пожилые леди любят общаться, – пояснил он. – Южный темперамент. Я ж говорил.

– Нет, они... перестали... Они ругались на русском, пока ты дрых.

– О-о. Весь мир ругается на русском. Горжусь Родиной.

Аля решила на крайние меры.

– Виталька, – пообещала она. – Если сейчас выйдем, разрешаю делать со мной до утра всё, что хочешь. Даже каждую ночь. А не выйдем, до конца отдыха справляйся сам.

На лицо Виталика выплыла растерянная улыбка.

– Это удар ниже пояса. – Он предпочёл решить, что Аля всё же шутит. – После таких угроз ребята идут искать секас на стороне.

– Виталь. – Аля тронула его за плечо. – Пожалуйста. Я очень прошу. Давай сойдём. Мне здесь реально жутко.

– Да отчего? – Он недоумённо оглядел салон, но Аля уже видела: поддаётся. Её сердце забилось чаще, подстёгиваемое предвкушением свободы.

А затем горло сжало в спазме слезливого ужаса.

Речь старух сделалась низкой, гортанной, резонирующей. Не голоса – осиное жужжание. В нём Аля опять услышала знакомое слово, но на сей раз не матерное.

«Смерть». Слово мощно врывалось в старушечий гвалт, превращая тот в подобие футбольной кричалки:

– Мяу-мяу, мяу, СМЕРТЬ. Мяу-мяу, мяу, СМЕРТЬ. Мяу-мяу, мяу, СМЕРТЬ.

– Каждую ночь, – подмигнул Виталик, думая о своём. Каким бы пугающим не оказалось её положение, Аля нашла в себе способность ужаснуться и другому: вот за этого валенка она хотела выйти замуж? – Что захочу. И золотой дождь? Каминг-аут: я всегда мечтал попробовать. В пассивной роли... Ну а чего?!

«Дождь будет коричневым, причём сейчас, если не оторвёшь, наконец, свою жопу от сиденья», – угрюмо подумала Аля.

– С превеликим удовольствием, – сказала она вслух.

Виталик оторвал жопу и, сграбастав рюкзак, поплёлся по автобусу, неуверенно озираясь.

Старухи разом смолкли. Если бы не шум мотора и гул пульсации в ушах, Аля решила бы, что оглохла. Внезапное молчание пассажирок испугало её куда больше, чем нескончаемый, полный ругани и проклятий гомон. Стараясь не выказать страх, Аля неуклюже выбралась в проход. Ударилась макушкой о полку. Забрала рюкзак и пошла по проходу, ста-

раясь не задевать старушечьи бока, которые свисали с кресел тюками несвежего теста. Задача не из простых – автобус пьяно вилял на серпантине и Алю бросало то в одну сторону, то в другую. Впереди за лобовым стеклом пейзаж – дивные балканские виды, небо и вода – мотылялся на поворотах, как возвращающийся под утро домой гуляка. Алю начало мутить. Она продвигалась, упиравшись ладонью в потолок и ощущая на себе пристальные взгляды старух, из чьих лап намеревалась ускользнуть.

«Не подавать виду. Выйти из автобуса. Дождаться следующего. Ничего сложного»

Она начала верить, что получится. Даже убедила себя – почти, – что ничего угрожающего не происходит. Просто иногда лучше перестраховаться – ради собственного спокойствия. И эти...

Палец одной из старух шершаво, с нажимом, чиркнул по её ноге. Сверху вниз. Точно пробовал на вкус.

Аля притворилась, будто не заметила.

...и эти бурые разводы на полу – того же цвета, что и пятнышки, которые недавно ковырял ногтем Виталик, – всего лишь ржавчина.

Последний что-то втолковывал водителю на смеси русского с английским, подкрепляя слова бурной жестикуляцией. Водитель взирал на него, позабыв о дороге. На мучнисто-белых щеках Ждуна проступила кислая испарина. Виталик закончил, толстяк пискнул и непонимающе поднял сдобные

плечи.

– Стоп, – присоединилась подоспевшая Аля. – Выход. Izlaz. We need to get off here¹¹.

Лицо водителя сохраняло идиотическое выражение. Аля пустила в ход крайний довод:

– A toilet! Туалет! – И показала сперва на свой живот, потом на зад.

Взор толстяка просветлел. Тягучая улыбка раздвинула обвисшие щёки. Водитель понимающе закивал. Пара закивала в ответ.

Автобус продолжал ехать.

– Эй! – Аля постучала кулачком по двери. – Тук-тук. Izlaz. Мы izlaz здесь.

– Nema izlaza, – пискнул шофёр, отворачиваясь и всматриваясь в дорогу. – Zabranjeno¹².

У Али затряслись руки.

– Почему «забранено»?!

– Горы! Горы! Остановка нет.

Дрожь перекинулась на ноги.

– Виталь, – воскликнула Аля в слезливом ужасе. Получился какой-то сиплый взвизг.

Туша Ждуна стекла влево, он пошарил под панелью и извлёк оттуда – здесь у Али возникло ощущение, что её затащило в чужой сон – ночной горшок.

¹¹ Нам нужно выйти здесь (англ.).

¹² Нет выхода. Запрещено (черногорск.).

– Туалет! – воскликнул водитель радостно.

На дне горшка коричневели витиеватые, как письма на древнем языке, загогулины черкашей. Аля выпучила глаза до онемения, они стали словно прибрежные камни-голыши.

– Да иди ты вон! – протрубила она, отшатываясь.

Виталик со скучающим видом поплёлся назад.

– Ты куда?! – вспыхнула Аля.

– Свинникова, ну а чего? – всплеснул руками предатель. – Раз здесь выхода нет. Может, дотерпишь? Если сядешь и не станешь шевелиться...

– Какой же ты... – На миг она даже позабыла страх. – Какой же ты *Виталик*!

Она развернулась к двери и двинула её ногой. Подошвой кроссовки, прямо в стекло.

– Открывай! – Повторила удар.

Замахнулась для третьего, и тут сидевшая справа от выхода старуха схватила Алю за запястье. Кроссовка, взметнувшись, зачерпнула пустоту.

Аля опустила глаза. Бабкины жилистые пальцы с бордовыми ногтями вдавились в её кожу до стремительно разливающейся синева. Глянула выше и встретила со старухиными буркалами, люто сверкающими над маской.

Сердце ударило Але под дых, словно перчатка боксёра.

– Отпусти. Меня, – отчеканила девушка, изо всех сил стараясь казаться бесстрашной. – Let. Me. Go.

Маска на ведьминой морде вздулась, заплясала ходуном.

Из-под ткани вырвался рокочущий рык псины, которая жаждет не жрать, а рвать и терзать: г-р-р-р! Вибрация этого звука – то ли хохота, то ли яростного рёва – сбежала по стальным пальцам старухи на Алину бедную, перекрученную руку.

– Аллë! – Это Виталик вспомнил, кто здесь мужчина. – Отпустила её! Какого хрена? Отпустите, я не шучу!

Глаза старухи блеснули мертвенным электрическим светом. Никаких метафор – лупетки ведьмы полнились жидким серебром, как у ночных животных, заснятых натуралистом на специальную камеру.

Аля в панике оглянулась. Виталик спешил на помощь. Тряска швыряла его от кресла к креслу. Неважно – он вырвет Алю из хрычовкиных лап. А потом старухи, мимо которых пробирался парень, не сговариваясь, вывалились в проход и повисли на нём. Облепили, словно поклонницы, которые прорвались на ковровую дорожку к поп-звезде. Ещё одна бабка перегородила ему путь, обняла, обволокла всей стокилограммовой тушей и скрыла от Али.

Виталик заголосил – сперва возмущённо, затем испуганно.

Аля присоединилась к его крику.

Хватка карги усилилась – хотя, казалось бы, куда ещё? Старуха рванула девушку к себе. Не устояв, Аля провалилась в гору колышущейся, пружинящей плоти, смердящей духами, пóтом и табаком. Щека утонула в дряблых подушках, выпирающих из выреза. Старуха торжествующе захихи-

кала. Звук, казалось, исходил из-под подбородка, не изо рта.

Из далёкого далёка, с другого полушария, с Южного полюса доносились истошные вопли Виталика. Под их аккомпанемент Аля забилась в мясных объятых, как муха в липучке. Старуха, забавляясь, ослабила хватку, чтобы Аля смогла выпрямиться. Когда это случилось, когти сомкнулись и потянули девушку обратно, выламывая руку, выворачивая в локте. Хватка опаляла кожу, и Аля почти видела, как та лопается и сползает с кости волглым чулком. Она закричала, теперь от боли и бешенства, размахнулась свободной рукой и обрушила рюкзак на голову противницы. Места для замаха было недостаточно, и удар вышел смазанным. Но он достиг цели.

Старуха потрянула башкой и иступлённо заморгала. На помощь ей пришла соседка: сцапала Алю за посиневшие и распухшие, словно сардельки, пальцы, торчащие из кулака приятельницы. Принялась выкручивать. Боль унесла Алю, как на ракете, куда-то в стратосферу. В глазах заплясали фиолетовые круги. Воображение услужливо подсунуло ей картину: чумазый, весь в жиру, отвратительный обжора, отламывающий крылышко у жареной перепёлки.

Аля рванулась вперёд и впилась зубами в старухино ухо.

Скользкий, стылый моллюск с жемчужиной серёжки, в паутине скомканных кудряшек хрустко сплюснулся между нёбом и языком. Аля вгрызлась в хрящ. Рот наполнился солью и медью.

Старуха сипло, басовито взревела, дёрнула кумполом. Её свободная рука взвилась, метя когтями в глаза той, что из жертвы превратилась в хищницу. Але пришлось выплюнуть ухо и отшатнуться. По подбородку Али побежала кровь, превращая девушку в киношного вампира. Старуха, остервенело вращая гляделками, сорвала свою маску. Под маской оказался напомаженный, как у клоуна, рот. Подо ртом – жирный подбородок.

Под подбородком – второй рот.

Не просто рот – пасть.

Края трещины, пересекающей горло старухи, разошлись. Ширящийся провал обнажил кривые треугольные зубы, похожие на осколки кувшина, которые кто-то воткнул в морщинистую плоть шутки ради. Голова старухи откидывалась назад под неестественным углом, как крышка деревянной пивной кружки – у Али была такая, Виталик привёз из Праги, – и пасть превратилась в ощеренный колодец с сочащимися влагой, цвета заветренного мяса стенками, в складках которых подрагивали узлы синюшной ткани.

Рядом кто-то истерично завизжал. Аля не поняла, что кричит она сама.

Играючи преодолев сопротивление, старуха потянула Алю ближе и захлопнула пасть на её руке, как капкан. В пробивающемся сквозь шок изумлении Аля лицезрела, как в акульих зубах исчез ломоть мяса с предплечья. Её мяса. Боли не было.

В первую секунду.

А далее в её сознании не осталось ничего, кроме боли – выворачивающей, ослепительной, не ведающей пределов.

Рана ослабилась растрёпано и сочно, обнажив кость. Кровь выплеснулась на морду старухи, и чудище алчно припало к вывороченному мясу, накрыло рану кожистыми складками, обрамлявшими пасть заместо губ. С тошнотворной жадностью, чавкая принялось лакать, сосать, тянуть из раны. Губы его верхнего, *человеческого*, рта растянулись в клоунской улыбке. Соседка твари, опьянённая запахом и видом, судорожно стянула с рыла маску, ринулась к руке, и Аля сквозь водопад слёз увидела, как перемалываются в клыках монстра её бедные распухшие пальцы. Струи крови выстрелили из обрубков на кисти, словно фонтанчики газонных разбрызгивателей, по странной прихоти садовника не прозрачные, но алые. Уцелевший большой палец ожесточённо сгибался и разгибался, точно подышающий червь. Будто голосовал, пытаясь тормознуть проезжающий автобус.

Воя, Аля рухнула на колени. Боль была мощная, нестерпимая, и Аля могла бы сравнить её с пламенем, охватившим с головы до ног – если бы была в состоянии сравнивать. Чья-то когтистая пятерня бесцеремонно ухватила девушку сзади за волосы, и, опалаяюще дыша, сбоку над плечом нависла одутловатая, в оспинах, харя – точно луна, сошедшая с орбиты и падающая на планету. И луну эту понизу раскалывала трещина.

Трещина, полная зубов.

Раздался хруст, проник Але в голову сквозь шею, мигнула барабанные перепонки, но последнее, что она ощутила, прежде чем провалиться в раскалённую тьму небытия, был едкий, постыдный жар, растекающийся из кишечника по внутренней стороне бёдер.

Желание посетить туалет перестало быть насущным.

Как и все её прочие желания.

Когда Виталик очнулся, то решил, что уже стемнело. Он не сразу сообразил, что лежит на полу автобуса, уткнувшись лицом в основание кресла. Раздавленные в лепёшку солнечные очки валялись рядом. Глотая воздух, Виталик попытался сесть. Кто-то помог ему, бережно поддерживая за спину.

«Аля», – воспрял он.

Невидимый помощник дышал тепло и шумно, по-собачьи. И пахло от него незнакомо. Со стоном Виталик ухватился за ушибленную при падении голову. Собравшись, он обнаружил, что автобус не движется. Из-за ветрового стекла по салону расплзался смутный отсвет угасающего дня. А возле кабины шла какая-то возня.

Виталик прищурил глаза на сопящую кучу-малу и разом всё вспомнил. Шарахнулся, попробовал подняться. Кроссовки беспомощно заелозили по полу. Чужое дыхание вновь обдало шею. Оно не было неприятным. Кофе и помада.

Виталик обернулся. Над ним склонилась, придерживая,

рыжая бабка. Та, что раньше колотилась затылком о спинку кресла. Она потянулась к его лицу. Виталик вздрогнул, но карга лишь ласково коснулась его щеки костяшками пальцев.

– Vitka, – промурлыкала она. Её глаза лучились радостью и покоем. Повязка скрученным жгутом утопала в глубокой складке под подбородком. – Vitka.

Виталик опять взглянул на копошащихся над какой-то грудой тряпья старух. Прислушался к звукам раздираемой материи... к другим – чмокающим, сглатывающим. Заметил в стороне от свалки кроссовку «Найк», из которой неряшливо торчало нечто тёмное. И сама кроссовка, некогда белая, потемнела. В одежде Аля предпочитала белый цвет.

Виталик судорожно всхлипнул. Старуха приобняла его и заворковала: не монстр, а любящая бабуся, коей у Виталика никогда не было.

Её подруга, ползавшая на четвереньках у кабины, натужно распрямилась, поглаживая поясницу – точь-в-точь обычная крестьянка, трудящаяся в поле. Поднялась враскоряку. Поддерживая округлившийся живот, поджимая подбородок, шагнула к водителю. Благоговеино взирая на подошедшую, тот сидел, свесив руки на баранку. Старуха наклонилась, придерживая толстяка за щёки, и Виталик решил, что та собирается его поцеловать. Он почти угадал: это оказался поцелуй, но особого рода. Старуха открыла рот – свой *нормальный* рот – и мягко накрыла им губы водителя. Вита-

лик успел заметить, как толстяк торопливо облизнулся. Пошее старухи спазматически пробежала волна. Её подбородок колыхался. Послышались звуки срыгивания. Толстяк в блаженстве закатил глаза, зачмокал. Его кадык заходил ходуном. Толстяк глотал.

Вторая старуха разогнулась и неспешно поплыла по проходу к продолжавшему сидеть на полу Виталику. Её руки оглаживали раздавшееся брюхо. Она сердечно улыбалась. *Нормальным* ртом.

– Vitka¹³, – повторилось у Виталика над ухом. Пальцы, одновременно нежные и непреклонно твёрдые, сдавили его челюсти, заставив их раскрыться.

Насытившаяся старуха приблизилась и потрепала его по голове, с которой слетела и куда-то запропастилась панамка. От рук старухи пахло печеньем и медяками.

Возможно, подумал Виталик, это будет не слишком противно.

Он обречённо зажмурился и открыл рот пошире.

2021

¹³ Худенький (черногорск.).

Старуха

Старуха выкупает комнату на неделю, и с самой первой минуты знакомства Арина Юрьевна замечает за постоялицей странное. Старуха – ну как старуха, лет на десять старше Арины Юрьевны, а той пятьдесят шесть – просит называть себя Эльвирой. Без отчества – оно так и остаётся для Арины Юрьевны загадкой. Airbnb отчества съёмщиков не показывает. Фамилия старухи – Штопф.

Что-то немецкое. Если бы Арина Юрьевна преподавала не биологию, а иняз, то знала бы наверняка. Обращаться просто по имени ей неловко. В школе все учителя зовут друг друга по имени-отчеству, даже стажёрок. Арина Юрьевна к этому привыкла и потому в разговорах с Эльвирой Штопф говорит просто «вы».

Её отказ от отчества Арина Юрьевна списывает на эксцентричность. Старуха и выглядит соответствующе: прямая, долговязая, на каблуках-танкетках, бантики-шарф-солнечные очки и тонны кричащей косметики. Возможно, именно поэтому Арина Юрьевна и прозывает Эльвиру-нет отчества-Штопф старухой: старение, считает она, следует встречать со смиренным достоинством, а такие «костыли» лишь добавляют возраст. Возможно, и потому, что Арина Юрьевна не может себе позволить наряжаться подобным образом. Впрочем, она никогда себе бы в этом не призналась.

Из вещей у Штопф только моднявая кожаная сумочка, что является другой старухиной странностью. Довольно скромный багаж для человека, который собирается гостевать целую неделю. Тут бы Арине Юрьевне и насторожиться.

Но кто их разберёт, этих чудаков? Вещи можно занести и после заселения или докупить – старуха не производит впечатление перебивающейся с хлеба на воду. Наверное, могла бы снять квартиру, а не комнату. И это третья причуда, на которую Арина Юрьевна закрывает глаза.

О чём не раз впоследствии пожалеет.

Но быть странным – не значит быть подозрительным, да и что Арине Юрьевне оставалось? Гнать старуху прочь, отказываться от денег?

Так что она даёт Штопф добро на заселение, а когда вечером делится наблюдениями с Павлом Петровичем, тот и вовсе не реагирует.

– Нет, ну она весьма чудная особа, – всё пытается развить тему Арина Юрьевна.

Супруг сворачивает газету, которую пролистывает, ожидая, когда Арина Юрьевна разольёт чай с ромашкой, кидает взгляд поверх очков и рассудительно замечает:

– Разве не иметь чемоданов – преступление?

– Так-то оно так, – соглашается Арина Юрьевна, доставая из духовки печенье и выкладывая его в вазу. – Не знаю... Первый раз у нас останавливается столь необычная особа.

– Всё когда-то бывает впервые, – изрекает Павел Петро-

вич.

– Просто я всегда нервничаю, когда сдаём комнату. – Арина Юрьевна хлопочет над столом. Чашечки наполняются чаем, а кухня – ароматом луговых цветов. – В такое время живём. Люди как с ума сошли.

– Подвоха приходится ожидать от самых нормальных. В тихом омуте черти водятся, – выдаёт муж ещё одну банальность и картинно приглаживает седую шевелюру. – А кстати, почему бы нам не предложить нашей гостье угоститься?

– Я спрашивала, – без охоты отвечает Арина Юрьевна. – Она сказала, что будет питаться сама.

Обеспокоенная, что Павел Петрович вздумает настаивать, она добавляет:

– Давай оставим печенек для Ростика. – Так зовут одного из учеников, с которым Павел Петрович занимается игрой на аккордеоне. Ростик приходит по воскресеньям и пятницам. Сама Арина Юрьевна сегодня репетиторствует с Нелей, которая следующим летом поступает в мед.

К её облегчению, муж согласно кивает.

– Она просила не заходить к ней в комнату, – вносит Арина Юрьевна ещё один кажущийся ей странным штрих в образ старухи, чтобы окончательно отбить у мужа охоту приглашать ту за стол.

– Её право, – откликается Павел Петрович и улыбается успокаивающе. – Всё будет хорошо.

Они ещё не знают, но Павел Петрович никогда не оши-

бался столь сильно.

– Паша, спишь? Паш!

– Нет, утя. Уже не сплю.

– Думала, ты тоже не спишь. Прости.

– Ну что стряслось, пупочек?

– У соседей собака лает. Я час её слушаю.

– Ой, ну ты из-за такого меня разбудила? Я теперь не засну, а мне завтра к девяти в музучилище.

– Прости, пожалуйста. Такое раньше за ней не водилось.

– Это за стеной.

– Она не только лает. Она воет.

– Собака же.

– Первый раз слышу, как воет шпиц.

– Знаешь, как звонить Бутасовым? Пусть её успокоят.

– А то они не в курсе.

– Может, не ночуют дома?

– Тем более, смысл им звонить?.. Кошмар.

– Ты сама себя завела. Сходить, принести тебе таблеточку и беруши?

– Да, будь добр...

– ...Во-от, пожалуйста. Не расплескай. И берушки в ушки.

– А что у нас так холодно?

– Сквозит. Кажется, наша гостья открыла окно в комнате.

– Не май месяц так-то.

- Не май.
- Завтра с ней поговорю.
- Поговори.
- И с Бутасовыми. Бедный Чапа. Бросили собаку одну.
- Спи уже, тебе тоже вставать рано.
- Сплю, Паш, сплю.
- Вот умница, хорошая девочка...
- Дурацкий шпиц!

Павел Петрович выходит из лифта и сталкивается с Ариной Юрьевной, которая выскакивает из квартиры в домашнем халате, в тапках и с сумочкой в руке. Супруга врзается в него и только тогда замечает. Ахает, хватает за лацканы пиджака и тащит обратно в кабину.

– Уть, что? – опешивает муж.

– Пашка, бежим! – ревет она неузнаваемо хриплым голосом. Арина Юрьевна ниже него на голову и весит меньше раза в полтора, но ей удаётся впихнуть мужа в лифт. Её трясёт – Павел Петрович и видит это, и чувствует.

– Арина, боже мой! – Он пытается взять супругу за плечи, но та уворачивается. Очки на её тоненьком носике запотели, лицо бледное, как у мима. – Нас ограбили?

– Всё потом! – Она, не глядя, шлѐпает ладонью по всем кнопкам сразу. Двери с лязганьем вздрагивают, но не закрываются. Лифт не понимает, куда ему ехать. – Надо убираться отсюда и вызвать милицию! – Арина Юрьевна по привычке

продолжает именовать полицейских милиционерами. – Она, она, она...

– Жилица? Она что, напала на тебя?

Арина Юрьевна мотает головой.

– Я хотела с ней поговорить. Н-н-н, насчёт окна, – пытается она объяснить и бросает, поняв, что не может. – Поехали отсюда!

Арина Юрьевна опять ударяет по кнопкам. Двери закрываются, но кабина не двигается с места.

– Ну я намылю ей шею, если она тебе что-то сделала, – насупливается Павел Петрович, открывая лифт. – Тоже мне, Эльвира – повелительница тьмы!

Он пытается выйти на площадку, но Арина Юрьевна повисает на нём.

– Посмотри, ты оставила квартиру открытой, – говорит муж с лёгкой укоризной.

– Ты выслушаешь меня или нет?! – рявкает Арина Юрьевна своим учительским голосом, которым осаживает расшалившихся школьников.

– Никто не выживет меня из моего дома, – произносит Павел Петрович густым, хорошо поставленным баритоном – второй тенор в любительском хоре при музучилище, как-никак. – Тем более, какая-то нафуфыренная мадам.

– Она не мадам! – шёпотом кричит Арина Юрьевна. – Битый час тебе талдычу! Она чудовище!

Двери лифта сходятся, ударяют Павла Петровича одна по

груди, другая по спине, и расходятся. Павел Петрович хмурит брови.

– Потрудись объяснить.

Арина Юрьевна рассказывает.

Она вернулась домой в третьем часу дня в неважнецком настроении. Не выспалась, ещё и поясница разболелась из-за рюкзака, набитого тетрадками «ашек» и «бэшек» – утром была контрольная. Невесело размышляя о том, что старость – не радость, Арина Юрьевна скинула ношу в коридоре и, не желая затягивать с неприятными делами, постучалась в комнату для гостей.

– Здравствуйте! – прокричала она, припав к двери. – Разрешите войти?

Никто не ответил, и учительница пошла в ванную привести себя в порядок. Здесь она тоже не обнаружила следов пребывания старухи. Это приходится ей по душе. Жильцы нередко оставляют на раковине капли воды, кляксы пасты, а иногда и засохшие сопли. Арина Юрьевна вымыла руки и снова постучала в комнату для гостей.

– Всего одну минуточку! – Ответом снова была тишина, и тогда Арина Юрьевна решила войти. В конце концов, она у себя дома.

Комната была пуста, можно сказать, стерильна. Ни единого признака присутствия в ней человека, если не считать платья, аккуратно сложенного на кровати. Даже белый, ли-

шённый оттенков солнечный свет заставлял Арину Юрьевну думать о рентгеновских лучах, губительных для всяких микробов. В её воображении эти лучи были бесцветными, сухими и острыми, как скальпели.

Помимо кровати в комнате имелись пара стульев, тёмно-коричневый комод с зеркалом, уставленный фарфоровыми котиками – на них ни пылинки – и массивный, в цвет комода, старый шкаф.

Арина Юрьевна в замешательстве обошла кровать и по другую её сторону увидела нетронутые гостевые тапочки. Старухины туфли, как заметила Арина Юрьевна ранее, стояли в прихожей.

Куда она могла деться босиком, в одном нижнем белье?

Пугающая догадка вспыхнула в голове Арины Юрьевны... подозрение, которое развеялось, стоило ей взглянуть на окно. Оно было закрыто.

Итак, жилища не зашла в своей эксцентричности настолько далеко, чтобы сигануть голышом с седьмого этажа. Но тогда что? Куда делась?

Кряхтя, учительница неуклюже опустилась на колени и заглянула под кровать, однако не обнаружила ничего, кроме чисто вымытого пола.

Значит, шкаф.

Здесь бы ей и прислушаться к чутью, предположить, что старуха незаметно для неё прошмыгнула в ванную, и уйти, но нет. Не могла она оставить загадку неразгаданной. Любо-

пытство сгубило кошку, но Арине Юрьевной было не до английских пословиц. Тайна уже не давала ей покоя, и можно было не сомневаться, что это чувство продолжит расти.

Если и был в тот момент предостерегающий толчок интуиции, он оказался недостаточно силён. Да и что, во имя Дарвина, можно ожидать, заглядывая в шкаф?

Она открыла дверцы, совершенно неподготовленная к тому, что увидит, и в следующую секунду вылетела из комнаты со скоростью циркача, которым выстрелили из пушки.

Лежащее в позе эмбриона на кипе сорванной с плечиков одежды создание нельзя было назвать ни старухой, ни вообще человеческим существом.

Оно было крупным и серым, с непропорционально длинными и тонкими, анорексичными конечностями. Оно спало. Во всяком случае, его глаза были закрыты, хвала Дарвину – будь иначе, сердце Арины Юрьевны могло не выдержать. Ему и так хватило того, что увидела учительница.

Арина Юрьевна сцапала свой ридикюль, лежащий в прихожей – рассудительная часть её сознания, не отключившаяся под натиском паники, посчитала, что кошелёк и телефон ещё пригодятся – и выскочила на лестничную площадку, где столкнулась с Павлом Петровичем.

Выслушав сбивчивый рассказ, Павел Петрович снисходительно усмехается и мягко, но решительно отстраняет супругу с пути.

– Ну-ну, пупочек, ты, конечно же, ошиблась.

– Пашка, ты что?! – задыхается Арина Юрьевна. Её голова то и дело поворачивается в сторону квартирной двери. – Бежим, пенёк!.. Пашка, стой! Нет!

– Да, – говорит Павел Петрович непреклонно и двигается к квартире, преодолевая сопротивление жены. – Ты же преподаёшь биологию, тебе следует знать, что никаких кракозябров и вампиров не бывает. Наверняка это попадавшая одежда тебя смутила, вот и причудилось.

Она тянет его за пиджак, но силы уже покидают её. С тем же успехом она могла толкать автомобиль.

– Пашенька, пожалуйста, я тебя прошу! Я тебя умоляю, ради меня, не ходи, пойдём спустимся и вызовем милицию, ну что ты за человек?..

– Ты побудь тут. Я сейчас проверю и вернусь, и увидишь, что ничего нет страшного.

Абсолютная уверенность его голоса и слов – «монстр в шкафу, ну как такое может быть правдой?» – заставляет Арину Юрьевну на мгновение если не поверить ему, то колебаться. Её пальцы ослабевают.

– И потом, в шесть придёт Миша, – напоминает муж ещё об одном из своих учеников.

Соблазн вернуться к привычному, *рациональному* порядку вещей слишком силён. Она разжимает пальцы, чем Павел Петрович незамедлительно пользуется.

Он входит в квартиру, а она семенит следом.

Павел Петрович долго и тщательно расшаркивается на коврик, мурлыча под нос песенку без слов, состоящую из одних «пу-пуру-пуру-пуру», неспешно и красиво снимает щегольской шарф, привычным жестом приглаживает шевелюру и, подмигнув жене, наконец направляется в комнату для гостей.

– Кто не спрятался, я не виновата-а! – игриво тянет он своим бархатным баритоном.

При звуках слов, сказанных не просто громко – *провокационно*, присмиривший ужас, взметнувшись, хватает Арину Юрьевну за горло, как вырвавшаяся из клетки обезьяна. Неважно, во что верит или не верит муж, насколько он прав – тварь действительно свернулась в шкафу калачиком на груди одежды, спящая или притворяющаяся таковой. Арина Юрьевна открывает рот, чтобы заново начать увещевать Павла Петровича, но поздно, тот шагает в комнату старухи, и учительница не может бросить его там одного.

В счастье и в горе, в болезни и в радости. Обречённо, полюбморочно, она плетётся за ним.

Комната в точности такая же, какой она её оставила: пустая и стерильно-светлая, словно операционная, в которую вот-вот вкатят тяжелобольного пациента. За единственным исключением. Когда Арина Юрьевна убежала, дверцы шкафа остались открытыми. Она это знает точно. Сейчас шкаф закрыт. Павел Петрович двигает прямо к нему, не давая ей опомниться. Арина Юрьевна хочет его остановить, но тут он

делает то, от чего у неё душа уходит в пятки. Павел Петрович кричит:

– Эльвира Батьковна! Говорят, вы прячетесь в шкафу! Разрешите вас побеспокоить!

На «побеспокоить» он хватается за ручки и распахивает шкаф. Дверцы взвизгивают. Из шкафа вырывается затхлый запах – старого лака, нафталиновых таблеток и чего-то ещё. Чего-то чужого. *Животного.*

Муж хочет что-то добавить к своей реплике – Арина Юрьевна видит, как приоткрывается его улыбающийся рот. Затем лицо Павла Петровича застывает, как у человека, споткнувшегося на полном ходу, всякая игривость покидает его без остатка, глаза расширяются. Павел Петрович отшатывается. Из лица уходит весь цвет, кроме белого. Муж захлопывает шкаф и пятится. А далее хватается одной рукой за горло, второй за грудь. Налетает на кровать и медленно оседает на разъезжающихся ногах. Арина Юрьевна подскакивает к нему, чтобы поддержать. Он невероятно, чудовищно тяжёл, как могильная плита. Чудом ей удаётся усадить его на кровать. Он прижимается похотливым на серую Луну лицом к её щеке, и с его губ срывается не очень приятный запах. Взор Павла Петровича прикован к шкафу.

– Что? – шелестит она.

Вместо ответа Павел Петрович пытается встать, размахивая правой рукой. У него ничего не выходит. Левой он продолжает держаться за грудь. Арине Юрьевне хочется кри-

чать. Она просто не представляет, что ещё можно делать, если не кричать.

Тут её пальцы оказываются в плену у других, твёрдых и мёрзлых, как мрамор, и вместо вопля она делает болезненный резкий вдох. Она отворачивается от шкафа и встречается взглядом с мужем.

– Беги, – выталкивает он одно слово сквозь стиснутые пепельные губы, увлекая, однако, её на кровать, будто решив порезвиться, как в годы юности.

«Отпусти», – хочет сказать она, понимая, что это прозвучит как признание в измене. Должно быть, он читает что-то в её глазах. Его хватка ослабеваает.

И тут за её спиной раздаётся голос.

Он медленный, вязкий и дребезжащий, точно принадлежит самому шкафу. Голос древней ведьмы, старухи Штопф, искажённый необъяснимыми метаморфозами, которые превратили её в то, что Арина Юрьевна увидела не так давно и имела глупость показать мужу.

– Вас здесь быть не должно, – говорит из-за створок тварь. С расстановкой, как объясняют правила поведения несмышлёным детям. Ярость, переполняющая голос, делает его почти карикатурным. Ярость... и безумие.

– Я стучала, – не находится с ответом Арина Юрьевна.

Из-за закрытых дверей выкатывается отрывистый смешок. Арина Юрьевна слышит, как за стеной заходится в истерику соседский шпиц.

– Вас здесь быть не должно, – повторяет тварь всё с теми же интонациями. Только не терпеливый педагог втолковывает прописные истины малышам, а свихнувшийся маньяк.

Павел Петрович громко пукает. Арина Юрьевна и сама еле сдерживается от того, чтобы не описаться, хотя каких-то пятнадцать минут назад её мочевого пузыря был суше, чем Сахара.

– Простите! – пищит Арина Юрьевна и смотрит на мужа. Тот тарашится из-за её плеча в сторону шкафа, вдыхая и выдыхая через рот. Её пальцы всё ещё в ледяном плену его хватки, но голова изнутри пылает. По её щекам текут слёзы. И начинает подташнивать.

Тварь издаёт низкий скулящий вой. Словно в шкафу душиат взбесившегося чёрного котищу, который вот-вот вырвется.

– И ка-ак мы посту-упим? – скрипит чудище, растягивая слова, будто хулиган, поймавший первоклашку.

Арина Юрьевна зажмуривается и трясёт головой.

– Отпустите моего мужа, – лепечет она. – Ему плохо. Кажется, это сердце.

Даже на пике ужаса Арине Юрьевне ясно, как сюрреалистична ситуация: она разговаривает с засевшим в шкафу монстром. Молит того о пощаде. Она ощущает себя маленькой девочкой, которая не может заснуть без света, потому что притаившиеся во мраке зубастые создания только и ждут, когда погаснет ночник.

– Се-ердце, – произносит тварь, и Арину Юрьевну пере-
дёргивает от безмерной алчности, которую тварь не пытается
скрыть.

За стеной соседка кричит на заливающегося пёсика. Чапа
игнорирует хозяйку. Шпицам далеко до служебных собак в
плане дисциплины.

– Я могу убрать боль, – воркует из шкафа. – Могу сделать
её сильнее. Могу сделать так, что его сердце взорвётся, как
банка с помидорами.

– Пожалуйста. – Арина Юрьевна чувствует, что сползает
с кровати. Комната плывёт перед взором. Она цепляется за
мужа, который твёрд и недвижим, и ей снова приходит на ум
ассоциация с надгробным камнем. Шпиц тоненько воет. –
Мы никому не расскажем.

– Вы никому не расскажете. – Тварь задумчиво пробует
слова на вкус. – Вы никому не расскажете.

Павел Петрович начинает заваливаться набок, и Арина
Юрьевна тянет его в другую сторону. Удерживать мужа так
же тяжело, как гранитную горгулью.

– Вы никому не расскажете, – решает существо, скрыва-
ющееся в шкафу. – Не станете лезть в мои дела. Я не стану
лезть в ваши. Пройдёт неделя, и я вас оставлю. Как договаривались.
Но если, – тварь делает паузу, – если вы будете со-
вать нос, куда не следует, я заставлю вас заплатить, голубки.
Я вас накажу. Кивните, если понятно. Я уви-и-и-ижу.

– Хорошо! – Арина Юрьевна трясёт головой. – Да! Да!

Мой муж, он умирает...

– Умирает, – голодно шипит тварь. – Ну нет. Погляди, ему уже лучше.

Арина Юрьевна оборачивается, и действительно, бледность на щеках супруга, успевшая приобрести серый оттенок за время этого дичайшего диалога, начинает робко вытесняться розовым. Одновременно с этим Арина Юрьевна ощущает, как уходит тяжесть из рук, которыми она удерживает Павла Петровича. Он взирает на неё с ужасом, изумлением и растерянностью. Затем муж смотрит на шкаф и несмело кивает. Вой шпица возвышается и становится похожим на человеческий крик.

– Что же ты такое? – Вопрос вырывается у Арины Юрьевны сам собой. Она совершенно не хочет это знать.

И вновь тварь хихикает. Затем следует ответ:

– Я – ветер. Я – вода. Я – бредущая дочь и вечноголодная мать. Я – видевшая Глаз. Я – след Игэша на песках времени. Я – сладость грёз и холод кошмаров. Я – дающая и забирающая. Вон! – гаркает она без всякого перехода, и супругам не нужно повторять дважды.

Волоча друг друга в охапках, как тюки белья, они вылетают из комнаты, подгоняемые блекочущим «хи-хи-хи, а-ха-ха-ха-ха».

– Тебе точно лучше?

– Лучше, утя, лучше... У-уф! Ты прости, что я тебе не

поверил сразу.

– А кто бы поверил?

– Оно было серым.

– Не надо, Паш.

– А голова! Оно открыло глаза, когда я заглянул в шкаф.

Оно...

– Прекрати!

– Прости.

– Просто не думай.

– И как же нам теперь быть?

– Может, поедem в деревню? Возьмём отпуск за свой счёт?..

– Я о другом. Что нам делать с той... тем... О-ох!

– Остановись.

– Я не могу! Эта штука лежит у нас в шкафу! Как мы могли пустить *это* в наш дом?

– У неё были отличные отзывы на Airbnb.

– Ну что же делать? Что нам делать?

– А... А может, позвать священника?

– Арин, ты чего? Это же ненаучно... Двадцать первый век, какие священники, какой Бог? Это суеверия...

– Умник, а умник?! Я не знаю уже насчёт Бога, но своим глазам я верю, а они мне сказали, что в нашем шкафу засела тварь, какой нет ни в одном учебнике биологии! Суеверие! Я готова его принять, даже если оно не вписывается в эту твою единственно правильную картину мира!

– Тише, люди смотрят!..

– Пускай.

– Ну может... Может, тогда в полицию?.. Ладно-ладно, не смотри так. Я хоть что-то предлагаю. Как нам быть-то?!

– Думаешь... ей можно верить?

– Это не кончится добром. Не кончится... Ой-вей, у меня же Миша скоро придёт!

– Ч-чёрт! Нам придётся всех отменять! Пока та не съедет...

– А... А она съедет?

– Если нет...

– Надо что-то придумать. Что-то придумать.

– Звони Мишке! Если он вдруг придёт раньше...

– Телефон! Там остался! О-о!.. Пошли.

– Мне страшно.

– Не на скамейке же нам ночевать.

– Может, попроситься к Ивановым?

– И капитулировать? Это наша квартира! Наша собственность!.. Ну и Ивановы, ты знаешь Иванова... Шаг по рублю. Нам податься некуда.

– Знаю... Что же, назад?

– Э-эх...

– И ты сможешь там находиться? Во имя Дарвина, я не засну, зная, что в соседней комнате засела... засело *это!*

– Оно обещало оставить нас в покое, если мы оставим в покое его.

– Готов доверять этому чучелу?

– Я только тебе доверяю. Но знаешь, что? Я думаю, по ночам оно... где-то ещё. Помнишь, как тянуло из окна прошлой ночью?

– Хочешь сказать, оно куда-то выбирается из окна седьмого этажа-то?

– Я хочу проверить... Не-не-не, к ней в комнату я не поеду. Но мы можем всё увидеть из окна спальни.

– Ты всю ночь собрался дежурить?

– Спать я всё равно не смогу. Так что я покараулю тебя.

И послежу за...

– Не исключено, в этом и будет смысл...

– Ты о чём?

– Так. Есть одна идея.

– Тогда пошли, я замёрз совсем. И Мишу надо перехватить.

– Тебе точно лучше, Паш?

– Лучше, пупочек. Правда, лучше.

Две ночи спустя.

Арине Юрьевне кажется, что глаза закрылись всего на миг. Может, так оно и было – но когда она их открывает, то видит в ногах кровати горбатую, до потолка, фигуру твари, вернувшейся со своей ночной вылазки. Если Арина Юрьевна и заснула – что кажется невероятным, учитывая её недавний поступок – тварь должна двигаться со скоростью света.

Никаких звуков, сопровождающих её перемещение, Арина Юрьевна не слышала. Её будит само новое присутствие.

Это же шестое чувство подсказывает, что не спит и Павел Петрович. Она находит под одеялом его руку и сжимает. Его пальцы влажные и стальные от пота. Арина Юрьевна думает, что это как сунуть руку в сырую землю свежего могильного холма и что это последнее ощущение, которое ей доведётся испытать прежде, чем тварь за них примется.

После того, что супруги проделали этим вечером в её отсутствие, у той есть все основания их покарать.

Тварь стоит недвижимо и безмолвно, укутанная в тень. Единственный звук в комнате – тиканье настенных часов, чьи стрелки царапают ткань времени. Арина Юрьевна находит этот звук оглушительным. Её сердце останавливается, сжимается до размеров сухофрукта – и жизни в нём не больше.

– Вы заходили, – произносит наконец тварь. Её пасть полна одинаковых треугольных зубов, как у акулы или рептилии, они поблескивают в отсветах уличных огней. Арина Юрьевна думает, что впервые их видит. Как и глаза чудовища: два жёлтых, навывкате, кругляша, словно у совы. Носа нет, лишь бугорок посреди плоской обезьяньей морды.

– Вы заходили, – говорит эта химера, и её голос доносится точно из древнего склепа, полного костей и высохших во мраке скарабеев. Не спрашивает, а констатирует факт. Обвиняет и выносит приговор.

– Это я, всё это только я, – силится сказать Арина Юрьевна, но с губ срывается лишь трепетный выдох. Она не в состоянии представить, что возможен столь колоссальный ужас. Чувство вины, непрошенное, только подстёгивает его.

Тварь, однако, понимает.

– Ты врёшь, – шипит она, и пасть открывается шире. На мгновение показывается язык – или то, что у твари вместо языка: влажный пучок слипшихся чёрных волос. Им тварь облизывает свой маленький, почти человеческий подбородок.

– Мы не знаем, о чём ты, – раздаётся голос мужа, но даже Арина Юрьевна слышит фальшь в этом делано возмущённом блеянии. Врать Павел Петрович не умеет. Вот почему она не переживает, водит ли он шашни с другими женщинами.

Тварь разворачивает башку в его сторону. У неё вытянутый череп, как у Чужого из той ужаски. Череп отбрасывает на стену тень в форме перископа подводной лодки, каким его изображают в мультиках: карикатурная буква Г. Только эта подводная лодка не шпионит, а готовится к залпу по врагу.

– Я откушу тебе голову, если не умолкнешь, – рыкает чудище. Ненависть и жестокость, звучащие в этом хрипе, вызывают у учительницы тошноту. Желудок Арины Юрьевны пронзает резь, вдоль и поперёк, да так там и остаётся. – Откушу и набью камнями тушу. Она будет ходить. Будет играть на гармошке. А вот врать – уже нет.

Арина Юрьевна не хочет, но вспоминает о своей давешней находке в комнате для гостей. Четыре гладких куска камня, выложенные в ряд на комодe рядом с вывинченными из люстры лампочками, каждый размером примерно с кулак. Гранит, песчаник, мрамор? В темноте, с одной подсветкой от моби́льника, толком не понять.

– Вы нарушили уговор, – припечатывает тварь, опять разворачивая морду к Арине Юрьевне, почти цепляя макушкой потолок. На какую-то постыдную минуту та хочет, чтобы тварь продолжала тарашиться на мужа, забыв про неё. – И забрызгали шкаф святой водой.

Не только шкаф, а и в шкафу, и подоконник, и раму, и пол, и углы. Арина Юрьевна кропила не хуже многоопытного батюшки, пока Павел Петрович стоял у окна на стрёме.

– Какие ещё прекрасные идеи пришли вам на ум? Говори. Ты! – Тварь тычет пальцем в сторону женщины. Другую руку она прижимает к низу живота, точно прикрывая срам – или удовлетворяя себя. Арине Юрьевне кажется, что там и вправду что-то есть, сокрытое в синих тенях, но рассматривать это она не может. Её внимание приковано к морде твари. К обвиняющему пальцу с длинным заточенным когтем. Она невольно думает, остался ли на нём бордовый лак, которым пользуется старуха Штопф. В темноте не разобрать.

– Ничего, клянусь, ничего! – На этот раз Арине Юрьевне удаётся обрести дар речи. – Мы клянёмся! Это ошибка!

Тварь кудахчет. То ли хихикает, то ли испытывает оргазм.

Кожистый мешок под её подбородком, похожий на мошонку борова, на растянутый носок, трепещет. Арина Юрьевна думает, что её сейчас вырвет. Её стошнит, она замарает одеяло и захлебнётся, а может, сойдёт с ума – под болотный клёкот этой твари.

– Не врешь, – отсмеявшись, скрежещет чудовище. – Да, да, ошибка! Святая вода не способна причинить мне вред. А я вам – запросто. Я могу, – когтистый палец перемещается в сторону Павла Петровича, как стрелка барабана из «Поля Чудес», – укусить тебя, и ты станешь, как я. Если она вздумает мне мешать. Или, – палец возвращается к части кровати, на которой, не дыша, замерла Арина Юрьевна, – я могу укусить *тебя*, если *он* вздумает выкинуть новую штуку. Даже просто посмотрит в сторону двери в мою комнату. Я узнаю. И это последнее предупреждение.

Рука опускается, медленно, будто тварь колеблется, не привести ли угрозу в исполнение. Всё её туловище увито толстенными венами, и из-за этого кажется, что по ней ползают жирные пульсирующие змеи.

– Мы клянёмся! – выкрикивает Арина Юрьевна, начиная плакать, и муж повторяет клятву. Он сжимает её руку до боли, до хруста, но она согласна отпилить её по локоть, только бы тварь оставила их в покое. Только бы убралась обратно в шкаф.

Тварь кивает, поворачивается к входу, но вдруг замирает, будто вспомнив нечто важное.

– Вам подарок, – произносит она почти нормальным человеческим голосом. Наклоняется и кладёт на одеяло маленький кудлатый ком. Арина Юрьевна взирает на подарок, не понимая, что же это может быть. Муж догадывается первым – его хватка усиливается, стремясь размолотить её пальцы в фарш. Затем понимает и Арина Юрьевна. Она силиться не закричать. Боль разливается по её желудку, как кипящее масло.

Теперь ей ясно, отчего этой ночью так тихо.

На одеяле лежит голова шпица. Глазки-пуговички, кончик язычка. Свежий накрахмаленный пододеяльник всасывает кровь.

Тварь исчезла.

– На нас смотрят.

– Тебе кажется, Паш. Зачем на нас смотреть?

– Они подумают, что мы тут неспроста.

– Так веди себя естественно... Да тут и нет никого.

– Вон ходят какие-то. Чего им тут, на ночь глядя?

– Люди гуляют. Парк, берег, а как ты хотел?

– Я бы хотел, чтобы мы не сдавали проклятую комнату! И не кропили шкаф святой водой!

– Ты эту идею поддержал!

– Ну, поддержал. Сделано и сделано. Просто... Я всё думаю...

– Не думай, Паш.

– Я утром не видел Бутасова.

– Мало ли...

– Я каждый день встречаю его утром. Я иду на работу – и он идёт на работу. А сегодня их «Ниссан» стоит во дворе.

– Если... Если что и случилось, это не наша вина.

– Я понимаю, я знаю. Но я её чувствую, вину. И не могу отделаться.

– Мы такие же жертвы, оладушек.

– Ха! Пока нет. А после? Закончится неделя, и что? Оно... просто съедет?!

– Паша, вот теперь ты привлекаешь внимание!

– Ладно. Ладно. Мы уйдём из дома в воскресенье и не вернёмся, пока не убедимся, что оно убралось к себе в ад или куда там.

– Теперь ты думаешь, что ад есть?

– ... Думаю, оно боится света, поэтому надо уйти до ночи.

– Согласна.

– Кажется, здесь подходящее место, смотри... Ну, сюда? Достаточно глубоко, как по-твоему?

– Кидай, Паш.

– Может, ещё камней подсыпать?.. Ладно-ладно!

– Это же не человеческие останки, в конце концов. Не всплывут.

– Э-эх!.. Вот. Глубоко. Не видать. Скажи Чапе «прощай».

– Очень смешно. Обхохочешься.

– Никто не заметил?

– Я не вижу никого.

– Хочу выпить и закурить. Всё сразу и сейчас.

– Сегодня можешь сделать исключение. Только давай убе-
рёмся уже. У меня тут душа не на месте. Тихо, аж мурашки
по коже.

– И где оно таскается по ночам?

– Прекрати, я тебя умоляю!

– Идём домой...

– Бедный Чапа!

Позднее чаепитие под абажуром. Никакого домашнего
печенья, никакого чая с травами. «Гринфилд» в пакети-
ках и пастила из «Пятёрочки», пахнувшая керосином. Па-
вел Петрович пятую минуту водит ложкой вдоль внутрен-
ней поверхности чашки, как зациклившийся автомат. Арина
Юрьевна грызёт красную авторучку над тетрадками учени-
ков. Оба смотрят на настенный календарь и думают об одном
и том же: через три дня заканчивается срок сдачи комнаты
(твари из шкафа)
старухе Штопф.

Ложка карябает чашку. Зубы гложут ручку. В батареях
ухает вода – сегодня дали отопление. Других звуков нет, но
что-то заставляет их оторвать взгляды от календаря и разом
– супружеская телепатия – повернуть головы к кухонной две-
ри. Та приоткрыта на ладонь, и щель наполняет мрак при-
хожей – пульсирующий, дышащий. Не нужны другие звуки,

чтобы ощутить чужое присутствие.

Первыми нервы сдают у Павла Петровича.

– Что?! – кричит он. Его визг так не похож на лирический баритон второго тенора. – Мы ничего не делали!

– Правда, – ворчит из-за двери тварь. В её дребезжащем голосе слышна угроза, как в рыке псины, которая всполошилась за забором, почуяв прохожего по другую сторону – псины, готовой не лаять, но терзать и грызть. – К вам раньше приходили дети. Где они?

– Дети? – Губы Павла Петровича выцветают и делаются похожими на слизней. Рука с ложечкой застывает над чашкой.

– Дети, – повторяет прячущаяся тварь. – Прежде, чем соvrать, подумайте дважды. *Я услышу.*

– Мы их отпустили, – отвечает Арина Юрьевна и всё-таки пытается: – Мальчик захотел отдохнуть, а Нели заболела. К-ковид.

За дверью – тяжёлый сиплый вздох, лучше любых слов означающий, что тварь не купилась и ложь порядком её утомила.

– Пусть приходят завтра, – велит она.

– Зачем это? – Павел Петрович приосанивается, и кровь возвращается в его лицо.

– Надо. Нужна их Сила.

Арина Юрьевна просто видит заглавную букву в этом слове – не просто «сила», а «Сила», как в «Звёздных войнах».

Она непроизвольно принимается скатывать край листа чьей-то тетрадки в трубочку, но не замечает этого.

– Завтра. – Тварь, как видно, любит повторять. По тому, как звучит её голос, супруги хором понимают: она не просто за дверью – припала пастью к щели. Арина Юрьевна сидит ближе к выходу и видит, как что-то шевелится в темноте. Знакомый запах склепа и пыли просачивается в кухню, как кровь из головы шпица просачивалась в пододеяльник.

– Этого не будет, – чеканит Павел Петрович, и хотя Арина Юрьевна понимает, что он напуган до обморока – как будто эти дни супруги ощущали себя иначе – его голос твёрд. Муж смотрит на Арину Юрьевну, и она читает в его взгляде: «Она не войдёт сюда. Она боится света».

Арина Юрьевна успевает испытать гордость за мужа, когда дверь приоткрывается ещё на чуть-чуть и в щель просовывается когтистая лапа. Арина Юрьевна вскрикивает. Лапа шлёпает по выключателю и абажур гаснет. Дверь распаивается плавно и неспешно, как под водой, и тварь, пригнувшись, переступает порог.

Арина Юрьевна вжимается в кресло, Павел Петрович вскакивает на обессиленных ногах и тут же падает обратно. Опрокидывает чашку; чай расплывается по скатерти, остывший чайный пакетик, похожий на устрицу, плюхается на блюде. Арина Юрьевна, фиксирующая это боковым зрением, опять вспоминает лужицу крови на пододеяльнике. Накатывает дежа-вю. Живот скручивает от боли.

– Хватит уловок, – рычит тварь. – Лжеца выдаёт сердце. Это сердце зайца. Не забывайте, я ведь в него *заглянула*.

И выразительно смотрит на Павла Петровича. Арина Юрьевна не уверена, что до конца понимает, но слова твари возносят её на новую волну безудержного страха.

– Никаких уловок, – отрезает Павел Петрович, к которому вернулся баритон. – Детей ты не получишь.

И хотя живот Арины Юрьевны крутит, как барабан стиральной машины, наполненный битым стеклом, она добавляет своё: «Нет».

Тварь зло хихикает.

– Получу, – обещает она, подступая вплотную к столу. Она так близко, что Арина Юрьевна может коснуться её вытянутой рукой, если вдруг возникнет такое безумное желание. Естественно, оно не возникает. Запах вскрытого мавзолея, пыли, запах пересохшего стариковского рта оскверняет ноздри, и комната заваливается в глазах учительницы, начинает вращаться, как тоннели в Луна-парке.

Павел Петрович вновь порывается встать и не может. За окном, в другом мире, сырой воздух разрывает проносщаяся с юга на север сирена. Фиолетовые отблески пробегают по кухне, отражаются на столовых приборах, в глазах и на треугольных зубах твари. Тварь моргает: чавкающий сопливый звук.

– Как твоё сердечко, зайчик? – урчит она почти ласково. Павел Петрович молчит. – Меньше болит? Меньше стучит?

Меньше тревожит? Или нет? Твоё никчёмное сердечко. Я могу сделать так, что оно взорвётся, и кровь будет хлестать у тебя из глаз и ушей. Ты будешь *потеть* кровью.

Тварь делает жест, будто медленно сжимает в кулаке нечто упруго сопротивляющееся. Налитые вены, обвивающие её тулово, пульсируют. Арина Юрьевна не только видит это, но и слышит.

Видит она, несмотря на отсутствие света, и как лицо мужа превращается в бледную гипсовую маску, повисшую в темноте. Невольно вспоминает заставку более не существующей телекомпании «ВИД».

– Я уже говорила, что могу откусить тебе голову? – продолжает тварь. Поворачивает морду к Арине Юрьевне. – Или тебе. – Пасть твари огромна. Такая если отхватит голову, то с плечами вместе. Оскал напоминает улыбку.

Павел Петрович хрипит, взмахивает рукой, сметает на пол чашку и блюдце. Осколки разлетаются во все стороны. Тогда Арина Юрьевна выкрикивает: «Нет», но уже с иным значением.

– Продолжай, – велит ей тварь, и – женщина чувствует это – ослабляет хватку. Вены на теле твари замедляют биение.

– Как же мы можем?.. – лепечет Арина Юрьевна. По её щекам скользят слезинки. – Нас посадят в тюрьму.

– Арина. – Голос мужа протискивается сквозь сдавленное горло.

– Мне не нужны их жизни, – отвечает тварь. – Вы приве-

дёте их ко мне завтра вечером, как стемнеет, я что-то возьму, что-то оставлю взамен. А потом они уйдут. Шустренькие, как заводные зайчики, красивенькие, как ёлочные игрушки. И я уйду. И всё кончится.

– Они... – шипит Павле Петрович, его пальцы шарят по груди, будто пересчитывая на ней волосы, – они тебя увидят и...

– Испугаются? – заканчивает тварь с деланой обидой. – Не-ет. Дети меня любят. Стоит нам познакомиться поближе, и дети приходят в восторг. Их маленькие сердечки трепещут и поют, как птички, трепещут и поют. Ведь у меня для них подарочки. Им приходится меня забыть, конечно, такая жалость; но их сердечки помнят. Зайчики и белочки. Мальчики и девочки.

Арина Юрьевна понимает: ещё немного, и её вырвет. Изжога захлестывает горло кислотой. Её собственное сердце грохочет, распираемое страшным давлением, того и гляди разлетится в клочья, как поднятая из океанских глубин чёрная рыба.

– Так мы договорились? – Тварь опускает лапу и разжимает когти. Череп твари пульсирует. Краем глаза Арина Юрьевна замечает, как руки мужа облегчённо падают на стол, но ей самой вовсе не легко.

Тварь наклоняется, и прежде, чем Арина Юрьевна успевает среагировать, облизывает её горячее мокрое лицо от подбородка до лба вывалившимся из пасти пучком волос, заме-

няющим ей язык. Словно по лицу мазнули обоссанным волчьим хвостиком. Очки слетают с носа учительницы, падают и, судя по звуку, разбиваются.

– Вкусняшка, – алчно оценивает тварь.

Арина Юрьевна хватается за щёки, желая стереть скверну, и кричит, но это жалкий крик, никто вне кухни не услышит, он сразу перерождается во всхлипы с подвываниями. Лицо под ладонями смердит. Вонь чего-то, что выползло в ливень из сточной канавы, всё в гниющей листве и крысином дерьме, попало под солнечные лучи и издохло на тротуаре.

Тварь теряет к ней интерес. Протягивает лапу к лежащему на столе мобильнику и когтем подталкивает его к Павлу Петровичу.

Добавлять ничего не нужно.

Павел Петрович берёт телефон. Руки его трясутся, когда он набирает номер и ждёт ответа, руки – но не голос. Баритон его чист и прекрасен, как на выступлении.

– Алло. Валентина Владимировна? Добрый вечер. Извините за поздний звонок. Это Павел Петрович. Ростик ещё не спит?

Следующий вечер. Павел Петрович вглядывается в него, стоя у окна кухни и касаясь стекла кончиком носа. Сумерки наполнены туманом, столь плотным, что, кажется, хлопни в ладоши, и он прольётся дождём. В тумане проплывают глубоководными светящимися рыбинами огни машин. Косма-

тые кляксы фонарей, выстроившихся вереницей вдоль дороги, напоминают эскадру НЛО. Ветер трепет облысевшие деревья, и их тени, увеличенные водной линзой, кажутся великанами, бьющимися в припадке. Павел Петрович старается думать о чём угодно, лишь бы не о том, что происходит в соседней комнате, и ему почти удаётся.

Конфорку залило, надо снять и просушить, а ещё внести в список покупок спички и сахар, завтра в «Пятёрочке» рожки по акции, я прокричал Ростику из ванной чтобы тот проходил в комнату для гостей и мальчика нет уже полчаса, машины, машины, машины едут слишком быстро, в таком-то тумане, и опять эти с мигалками, слишком много их стало, включают мигалки по поводу и без, и Ростик вошёл и сказал: «Свет перегорел» и больше ничего никакого крика, и реклама, реклама, рекламных щитов стало меньше, раньше раздражали, а теперь без них город кажется серым, как декорация, когда свет гаснет, и этот звук за закрытой дверью не звук даже а пульсация точно вскрыли грудную клетку живого ещё динозавра стены ритмично вибрируют прекрати завтра она оно съезжает, раз, два, три, четыре, пять, шесть кто-то приближается...

Приближается Арина Юрьевна, беззвучно, как привидение, и берёт его за руку, останавливая водоворот мыслей. Теперь оба вглядываются в сумерки, каждый догадывается, что в голове другого воцарилось безмыслие, и это прекрасно. Наверное.

Они приходят в себя только после хлопка двери гостевой комнаты – выходит Ростик. Возится в прихожей. Пульсации за стеной как не бывало. Арина Юрьевна удерживает Павла Петровича, не пускает к ученику. Они смотрят друг на друга, ожидая увидеть слёзы, но их глаза сухи. Сделано то, что сделано, и больше слёзы не имеют значения, ничего не поправят. Ростик покидает квартиру, оставив входную дверь нараспашку – супруги понимают это по изменившейся акустике. Минуту-другую спустя он уже шагает через двор к остановке. Не бежит, сломя голову, как следовало бы ожидать, не зовёт на помощь. Словно произошедшее с ним не более серьёзно, чем поход к врачу. А если так, что за процедуру он перенёс?

Арина Юрьевна думает о камнях, найденных ею в гостевой, и внезапно вспоминает прочитанную в детстве сказку о злом великане, который вырывал у людей сердца и заменял на куски мрамора, обещая за то несметные богатства. Слово великан держал: его жертвы богатели – но теряли те качества, которые делали их людьми.

Иногда, думает Арина Юрьевна, для этого камни не требуются. *Их* случай.

За стеной безобразно хохочет, ухает тварь.

Во двор въезжает тёмно-синий «Фольксваген Гольф». Надежда на то, что это другая машина, гаснет, когда та паркуется и выпускает с пассажирского сиденья Нелю. Арина Юрьевна узнаёт её по красному берету. Смешливая пухляш-

ка Неля, которая мечтает лечить детей, любит котят и раннюю Аллу Пугачёву. Неля машет привёзшему её отцу, одергивает юбку, которая забилась меж ягодич, и цокает к подъезду.

– Твоя очередь, – говорит Павел Петрович подземным шёпотом. В эту секунду Арина Юрьевна испытывает к нему доселе незнакомое чувство – ненависть. Супружеская телепатия подсказывает ей, что это взаимно. – Иди встречай.

Она идёт и встречает.

Эльвира Штопф съезжает в воскресенье, и не вечером, а ранним утром. Она в своём прежнем обличье старухи в пёстрой одежде, слишком лёгкой для середины октября, если забыть, кто такая Штопф на самом деле. Арина Юрьевна мечтала бы забыть, но понимает, что воспоминания останутся с ней до конца дней – воспоминания о том, чему стали свидетелями, что видели и что предстоит сделать. Последнее вроде как пустяк, если бы не шлейф прошедших событий.

Тварь, прикидывающаяся старухой, прощаясь, ведёт себя как ни в чём не бывало. Огромные очки скрывают глаза, и это к лучшему. Кто знает, изменились ли они за чёрными стёклами, или это всё те же круглые, как у лемура, гляделки, наполненные мерцанием утонувшей в болоте Луны, при взгляде в которые начинает звенеть в ушах? Супруги и не пытаются узнать. Они просто терпят, когда Штопф закончит и уйдёт, а та всё тянет, всё топчется и благодарит, а те кива-

ют, как провинившиеся

(дети)

дети и твердят: «Да-да, да-да».

В конце концов старуха проваливает. Лифт сломан, она спускается по ступеням, и стук её каблучков доносится с лестницы, пока Павел Петрович не захлопывает дверь. Муж приваливается к стене спиной и дышит глубоко и часто, как жаба. Арина Юрьевна не пытается узнать, болит ли у него сердце. Ей без разницы. Её собственное сердце холодно, тяжело и беззвучно.

Как камень. Лучше бы это был камень.

Она уходит в покинутую гостевую, ведь жизнь продолжается и надо чем-то заниматься, двигаться дальше, неважно, куда. В комнате пахнет пудрой и бирюзовой помадой. Под этими запахами – слабый душок тлена, горькой пыли, высушенных насекомых. Арина Юрьевна испытывает почти физическую потребность распахнуть окно, такую же сильную, как позывы в туалет, когда выпил слишком много воды. Лампочки от люстры лежат на комодке рядком, словно крупнокалиберные патроны. И камни, гладкие осколки с кулак величиной. Теперь их только два. Не добежав до окна, Арина Юрьевна останавливается, шагает к комоду и подбирает один из «подарков» старухи. Камень прохладный и шершавый, как... камень. Его увесистость наполняет ладонь.

Арина Юрьевна прикладывает камень к груди. Арина Юрьевна из зеркала повторяет жест.

Чего у них обеих не получается, так это заплакать.

– Я завтра задерживаюсь. Хор.

– Угу.

– Репетируем к четвёртому ноября.

– Ладно.

– Ложись, меня не жди. Могу припоздниться.

– Хорошо.

– Ля второй октавы у аккордеона проваливается. Опять расходы.

– М-м.

– Ещё и за отопление в этом месяце платить нормально так. Да уж...

– ...

– Представляешь, Ростик-то... сегодня. Как будто впервые инструмент в руки взял. Ничего из выученного сыграть не смог. Мы даже «Во саду ли, в огороде» пробовали – одно мучение.

– ?..

– Правда. А потом сказал, что не хочет играть, что всё это... Матом сказал. Представляешь? Ростик, да при учителе – матом. И ещё он заявил, что хочет пойти в «Юнармию», а там аккордеон без надобности. Я: «Ростик, не бросай музыку, будешь и в оркестре юнармейском играть». А он засмеялся, да так скверно. Встал и ушёл. Или я что неправильное сказал?

– С ума сойти.

– Ты иронизируешь, что ли?

– Браво, догадался.

– Напрасно...

– Мне звонила Неля. Ни «здрасьте», ни «до свиданья».

Она прекращает ходить на занятия и вообще раздумала поступать в медицинский. Нацелилась на госслужбу.

– Таков, значит, их выбор.

– Ты знаешь, о чём я, и это не их выбор!

– Не шуми, сядь, пожалуйста.

– Не затыкай мне рот!

– Мы никак не могли воспрепятствовать...

– А если могли?

– Это выше моих сил. Выше сил человеческих.

– «Выше сил человеческих»... Просто взять и не написать этот проклятый отзыв на сайте!

– Ты ещё не написала?!

– Ещё не написала!

– А чего тянешь? Хочешь, чтобы с нами как с Чапой?..

Или, ещё хуже, как с Бутасовыми?

– А может, мы этого заслуживаем?

– Садись, поешь. Макароны остынут. Я их переварил малость, но с кетчупом они потянут...

– Паш, а, Паш.

– Да, утя?

– Нахуй пошёл ты со своими макаронами!

Отзыв на сайте Airbnb:

Всем привет! Эльвира замечательный гость. Она жила у нас неделю, и никаких проблем с ней мы не испытывали. Очень чистоплотная, аккуратная и тактичная дама. Несколько эксцентричная, но это, скорее, ей в плюс. Знает много историй, умеет рассмешить. С ней точно не соскучишься. Пять баллов! Мы с мужем ручаемся!

Арина, Москва, Россия.

На Airbnb с 2017

2020-2021

Крысиные Зубы

Оно походило на ужасающую в своём безумном исполнении инсталляцию из кусков бетона и растерзанной плоти, грубо и беспорядочно сшитых ржавой перекрученной арматурой. Выше самого высокого баскетболиста, бесформенное – и всё же сохраняющее человеческое подобие. Десятки сквозных ран в пронзённых сталью телах источали кровь, и она стекала в песок, покрывая конструкцию боевой раскраской индейца. Вплетённые в инсталляцию оторванные головы – среди человеческих затесалась пара собачьих – напоминали кошмарные, смердящие сырым мясом плоды.

С металлическим стоном оно подняло и опустило одну из опор, оканчивающуюся, как ступнёй, ноздреватой глыбой бетона. Земля содрогнулась. Возмущённо жуужжа, над монстром взвились вспугнутые мухи. Стальной прут арматуры, проходящий сквозь одну из голов, изогнулся вверх с надрывным скрежетом, и из-под колтуна слипшихся волос, некогда светлых, а ныне цвета печени, на него уставился знакомый васильковый глаз. Второй свисал на щёку жирным головастиком. Челюсть отвисла, ошмётки кожи и хрящей под подбородком задергались и Слияние просипело голосом дочери:

– Здравствуй, папуля.

Не голос – ветер из преисподней.

Топор выскользнул из разомкнувшихся пальцев Володи, а Слияние с натугой выдрало из оков земли вторую лапу для следующего шага.

Женя Сунгурова заложила книгу мизинцем и покосилась на Apple Watch. Гаджет подсказал, что у неё в запасе одиннадцать минут до конца перерыва. И много, и мало.

Много – потому что до финала рассказа, который назывался «Слияние», оставалось три страницы. Читала Женя быстро, особенно если книга попадалась интересная. Сборник хоррор-рассказов «Многokrратное погребение» определённо относился к таковым. Женя прикончит «Слияние» прежде, чем часы запустят вступление из песни Supremacy группы Muse.

Но вот следующий рассказ, четырнадцатый по счёту, вряд ли стоит начинать, когда ты на низком старте. Обед в негосударственном пенсионном фонде «Триумф», где работала Женя, длился сорок восемь минут, но если не вернуться хотя бы минут за десять до конца перерыва, Матвеева это отметит. Ничего не скажет, но непременно отыграется. Например, в конце дня подкинет якобы срочное, «сделать-ещё-вчера», задание, из-за чего провинившаяся рисковала уйти домой на час-другой позже. Иногда – и на все три. Те, кто пытался качать права, в фонде долго не задерживались.

Щурясь от сентябрьского солнца, Женя обвела взглядом сквер, одно из редких для Нежими приятных и ухоженных

местечек. Трёхэтажное фиолетовое здание, первый этаж которого занимал «Триумф», находилось в пяти минутах ходьбы. При желании его можно было разглядеть из-за клёнов, которые пока не спешили расставаться с желтеющей листвой. У Жени такого желания не возникало. Она сидела на скамейке. У ног воробьи гоняли кусок хлеба, оставшийся от Жениного обеда – в этот день он состоял из растворимого супа в бумажной чашке и половинки чабатты. К воробьям чинно, вперевалку направлялся голубь – точь-в-точь налоговый инспектор, заявившийся с проверкой. Женя наскребла в кармане специально припасенных крошек от чабатты и кинула ему. Воробьи взмыли в воздух, но тотчас вернулись. Солнце грело жарко, а воздух был ледяно свеж. После августовской жары – как нырнуть в горную реку с головой. Женя вздохнула и вернулась к чтению.

Она расправилась со «Слиянием» за две с половиной минуты. Никакого хэппи-энда. Как у девяти предыдущих рассказов. Ещё три были с открытой концовкой. Таковы уж законы жанра. Жанра, который прежде её совершенно не интересовал. Со времён средних классов школы она не читала ничего страшнее повестей Гоголя. Правда, в промежутке между Гоголем и её тридцатипятилетием были ещё «Сумерки», но Женя полагала, что нетленку Стефани Майер нельзя относить к «ужастикам». Хотя бы потому, что та ни капельки Женю не напугала.

Про «Многократное погребение» она такого сказать не

могла.

Сборник попал ей в руки случайно. Этим летом в сквере появился застеклённый книжный шкаф с надписью «Прочитай и поставь на место». Хорошая задумка организовать уличную библиотеку по примеру крупных городов, однако выбор книг оставлял желать лучшего. Скучающему посетителю сквера предлагалось довольствоваться книгами двух типов: детскими – потрёпанными, изрисованными – и советскими, про стройки и колхозы, с жёлтыми, будто проникотиненными, страницами. И те, и другие – ненужные. Когда Женя впервые из любопытства заглянула за стекло, она испытала жалость. Ей не захотелось достать книгу с полки, прочитать и поставить на место. Спасибо, как-нибудь в другой раз.

Спустя месяц она вновь подошла к шкафу, снова из любопытства. На этот раз оно было вознаграждено. Книга в чёрной бумажной обложке выделялась среди удручающего вида товаров новизной и, судя по заголовку, содержанием. Название на корешке было набрано золотыми готическими буквами: «Многократное погребение». Женя поддела корешок и вытянула книжку из-за стекла. На обложке ворон восседал на кресте у разрытой могилы. С её дна горели рубины чьих-то злобных глаз. Пальцы – вернее, когти – их обладателя вонзались в земляные края ямы.

Этого было бы достаточно для того, чтобы вернуть книгу на место. Однако Женя замешкалась. Возможно, причиной тому оказалась будничная скука, приправленная недав-

ними придирадками Матвеевой с этой её фирменной улыбочкой, точно говорящей: «Женечка, ну что же ты дуешься на справедливые замечания? Мы же все одна команда». Возможно – отличие книги от своих соседок. А возможно, сочувствие. Книга была новёхонькой, никто не шуршал её листами, не оставлял закладки, не загибал уголки страниц, на которых прервалось чтение.

Возможно, всё скопом.

С книгой в руке и намерением просто полистать от нечего делать Женя присела под тенью клёна.

– И что же ты такое? – спросила она «Множественное погребение», устроившееся на коленях, как задремавший чёрный котик, и поправила очки. Жест, с которым она свыклась, означал готовность погрузиться в чтение.

Но прежде она задержалась на имени автора. Эдуард Янковский – было набрано мелким шрифтом под заглавием. Актёра с такой фамилией Женя знала, даже двух. Писателя – нет.

Объяснялось это просто. Открыв разворот, она увидела лишь имена художника обложки и верстальщика (которые говорили ей ещё меньше, чем имя автора), а также тираж. Десять экземпляров.

Самиздат, значит.

На задней стороне обложки имелось и фото автора, чёрно-белое и крохотное, словно Янковский избегал самого намёка на известность. На вид ему было лет пятьдесят. Круг-

лое лицо на черепашьей шее. Высокий лоб. Глаза из-за очков без оправы взирают сразу изумлённо и с подозрением. Женя прежде не представляла, как можно совместить два этих чувства. Что ж, Янковскому удалось.

Перешла к содержанию. «Погребение» оказалось сборником из семнадцати рассказов. Первый назывался «Чёрная свеча». Женя перелистнула на начало и прочла:

– Ад царствует на земле, и у него лицо женщины, – разглагольствовал Александр, а София с обожанием смотрела, как плоть стекает с его лба, словно патока, оголяя белый экран кости.

– Трэшовенько, – пробормотала Женя. Когда рядом не было людей, она позволяла себе говорить вслух. – Шовинистичненько.

И с головой ушла в чтение. Едва хватилась прежде, чем истекли полчаса, отмеренные начальницей на перерыв. Тогда она сунула книгу в шкаф («Прочитай и поставь на место») и поспешила в офис.

Чтобы после выходных опять вернуться в сквер – и к чтению.

По рассказу на два перерыва.

Сентябрь сменил август. Матвеева собралась на неделю в Крым застать бархатный сезон. Она будет звонить оттуда, чтобы держать руку на пульсе, но Женя надеялась в её отсутствие прибавить к тридцати минутам обеда положенные восемнадцать. Что означало уже по целому рассказу за пе-

рерыв.

– Вот ты наркоша, – проговорила она, убрав очки на лоб и потирая правый глаз. Из-за двойного зрачка она в шутку называла его «ведьминым». Поликория не доставляла сильных неудобств при чтении, но привычка тереть глаз тянулась с детства. – Book-addict.

Следовало торопиться. Женя с сожалением захлопнула книгу, и шум города развеял мир её воображения, наполненный монстрами, колдунами и мертвецами – порождениями пера Янковского. Далёкий гул машин, шуршание ветра, запутавшегося в жухнувшей листве – всё напоминало шелест страниц. Никого вокруг, даже птицы, искилевая булку, упорхнули в поисках другой щедрой души.

– А и был бы кто. Кому какое дело? Всем пофиг на эти книги.

Она нервно оглянулась и, краснея, затолкала сборник рассказов в сумочку, где он еле поместился – четыреста восемнадцать страниц, как-никак.

«Я – книжная воровка», – подумала Женя и хихикнула.

Она встала, одёрнула юбку, тряхнула хвостиком и, заткнув уши наушниками, поспешила с места кражи в большой мир. Никто её не окликнул. Единственным сопровождающим Жени оказался рефрен «We Live in a Beautiful World» группы Coldplay.

Явившись на следующей неделе в сквер вернуть прочи-

танную книгу, она заметила у шкафа долговязого мужчину в чёрной рубашке, чёрных брюках и чёрных туфлях. В руках он держал портфель – разумеется, чёрный. Мужчина стоял к ней спиной и разглядывал полки. Заслышав шаги Жени, он обернулся. Женя узнала автора «Максимального погребения». Эдуард Янковский был точь-в-точь как на фото с обложки сборника.

От внезапности узнавания, к которому примешалось чувство вины за заимствование книги, Женя выпалила:

– Это вы написали?

Мужчина опустил глаза на томик, который Женя заблаговременно достала из сумочки.

– Это я написал, – подтвердил Янковский. Его голос оказался ровным и слегка надтреснутым. Холодный ветер, налетев, задал трёпку его лёгкой рубашке. Женя в своей кожаной курточке зябко поёжилась.

– Кажется, я её спёрла, – призналась она. – Но теперь возвращаю. Мне хотелось прочесть поскорее.

– И как вам? – Янковский слегка склонил голову набок. – Сойдёт?

– Да классно! – воскликнула Женя. – Я обычно не читаю такой жанр, а тут втянулась. Открыла совершенно случайно, ну и... Вот, не удержалась. Извините.

– Не за что извиняться. Мне приятно, – ответил Янковский с некоторой чопорностью, которую Женя нашла забавной. – Если вам понравилось, можете оставить её себе.

– Но как же... Правда?! Космос! Спасибо. Это ведь вы принесли её сюда?

– Верно, – кивнул Янковский. Женя подумала, что он похож на учтивого гробовщика. – Вы не первая, кто берёт мой сборник в пользование. Правда, предыдущие экземпляры так и не вернули. – Он указал пальцем на «Прочитай и поставь на место». – На что я совершенно не в обиде. Значит, кому-то моё детище понравилось. И я пришёл подготовленным.

Он открыл портфель и вытащил близнеца той книги, что теперь принадлежала Жене. «Моё детище»

– Это уже в третий раз, – сказал писатель, помещая сборник между «Капиталом» и русско-немецким словарём. – Скоро придётся заказывать доптираж.

– Простите, – опять извинилась Женя. – Я готова заплатить.

Янковский притворился, что не услышал.

– Один экземпляр я подарил другу. Другой отослал сестре в Вильнюс. Третий отдал в библиотеку, и вот сюда – ещё три. Четыре, если считать этот.

Писатель закрыл шкаф и обернулся.

– Здесь неподалёку неплохое кафе с летней верандой. Я намеревался выпить чашечку капучино. Не желаете за компанию? Интересно услышать ваше мнение о книге подробнее.

– У меня есть минут сорок, – сказала Женя. Матвеева уле-

тела в Крым, и хоть офисные подхалимы не преминут нашу-шукать, что Женя задержалась, ей стало плевать. Без Матвеевой дышалось свободнее. Смелее. – Давайте. А вы подпишите мне книгу?

– Охотно.

Кафе и вправду было неплохим. Женя порой навевдалась в него на бизнес-ланч. Сегодня она позволила себе в придачу к обычному обеду яблочный штрудель и чайничек луна. Как-никак, особый повод.

– Я прежде не видела никого известного вот так близко, – восторгалась она. – Однажды после выступления Плацево в Воронеже я встретила в коридоре концертного зала их барабанщика, но он от нас убежал. И это давно было. А сейчас вот вы... писатель.

– По профессии я инженер, – уточнил Янковский, помешивая капучино аккуратно, чтобы не повредить пенную шапку. – Этот самиздат – моя единственная публикация.

– И вы не обращались в какое-нибудь издательство?

– Я обращался, – сдержанно произнёс Янковский, опуская ложечку на блюдце. – В несколько издательств. Всюду отказ. АСТ мне даже ответило, и если отбросить все экивоки, суть такова: недостаточный уровень мастерства, примитивный язык, и вообще, сборники рассказов неизвестных авторов не продаются.

– Ну не знаю. – Женя состроила гримасу. – Мне понравилось. Тем двоим, что упёрли книги из сквера, очевидно,

тоже.

– Если они не пустили их на растопку костров, – предположил Янковский без тени улыбки.

– Эти отказы... Знаете, несправедливо. Зайдите в любой книжный, и что там на полках? Я недавно зашла. На обложке одной из книг был Сталин топless верхом на динозавре и с многоствольным пулемётом. Да половина этой писанины даже на растопку не годится! Не уверена, можно ли написать хуже, чем выходит у этих ребят, но у вас-то явно получается лучше.

– Мир вообще несправедлив, – заметил Янковский. – Да и кто знает, что есть справедливость?

– А в интернет-издания пробовали посылать?

– Считайте это снобизмом, но издание книги на бумаге – это всё же иной уровень признания. Более высокий. Так я думаю. Пару раз... – добавил он с неохотой, – я участвовал в онлайн-конкурсах.

– И как?

– Мимо. Читателям, которые оценивали работы, не зашло. Слог, уровень... Ещё и обвинили в заимствовании сюжета. А я про такого автора даже не слышал. Лиготти! Вы слышали?

– Нет!

– Если у наших рассказов и есть сходство, то это совпадение чистой воды.

– Значит, ваше воображение не уступает воображению

этого Лиготти, – попыталась ободрить Женя. Ей как раз принесли чай и штрудель.

– В жанре хоррор, – затянул Янковский голосом лектора, – непросто придумать новое. Идеи авторов вращаются вокруг определённых жанром тем. Оборотни, призраки, маньяки. Из этих кусочков пазла можно составлять разнообразные истории сколь угодно долго, но основа всегда одна. Никому в голову не придёт обвинять Энн Райс в том, что она стянула идею у Стокера, который писал «Дракулу», сам вдохновившись вампирским фольклором. Однако стоит отойти от избитых тем – и ты становишься плагиатчиком. Это неправильно. Но вернёмся к более приятным материям. Значит, вы как тот царь, которого увлекли сказки Шахерезады?

– Царица, – хихикнула Женя. – Только я не стала, как тот царь, терпеть от ночи до ночи и разговорила-таки хитрую дочь визиря.

– Надеюсь, меня не казнят, как прочих царских невест, к которым Шахрияр не успел привыкнуть, – подхватил шутку Янковский, оставаясь по-прежнему серьёзным. – Теперь я могу узнать, что вы нашли в моих рассказах, ускользнувшее от внимания критиков?

– Я-то не критик, – пожала плечами Женя. – Я просто читала и меня зацепило. Читать было легко, истории захватывающие... хотя от них и было не по себе.

– Страшно?

– Не по себе, – повторила она. – Я не в том возрасте, чтобы

бояться выдуманных вещей, но я понимаю: будь я моложе, я бы испугалась. Извините, если вас это огорчило, – поспешила добавить Женя, не заметив на лице Янковского радости.

– Нисколько, – ответил тот. – Я не привык к похвале. На самом деле ваши слова очень мне приятны. Какой-то рассказ особенно запомнился, может быть?

– Ой, – смутилась Женя. – Да. Тот, про граффити. Где нарисованное лицо маньяка перемещалась со стены на стену, пока не добиралось до жертвы.

– «Кусака», – кивнул Янковский.

– Ага. Мне понравилось, что очень много недосказанности вместо кровавых подробностей. В эту историю легче поверить, потому что там меньше сверхъестественного – по сравнению с другими. И у него такая атмосфера... Короче, круто!

– Благодарю.

– И остальные... Разве что рассказ про мальчика, которого мать-вегетарианка пичкала овощами, хотя он хотел мяса. – В финале мамаша нарядилась для карнавала в костюм морковки. Свихнувшийся подросток истыкал её кухонным ножом и съел. – Это такой...

– Разухабистый трэш, – подсказал Янковский. – Я от души веселился, когда писал.

– И в рассказе, где у парня из груди выросла ручка, как у радиоприёмника, я не поняла концовку.

– Я сам её не понял, – признался Янковский. – Не мог

решить, переместился ли он в другую реальность или уничтожил существующую. Вот и предложил читателю додумать самому.

Женя подлила чай в незаметно опустевшую чашку.

– Как вам приходит в голову это всё?

Янковский отрешённо потёр висок.

– Стивен Кинг сравнивает сочинительство с археологическими раскопками. Дескать, история уже существует... где-то – в информационном поле, в Сумеречной зоне, не суть, – главное, напав на след, раскопать находку. Любая мелочь способна спровоцировать Большой взрыв воображения. Надо просто проявить наблюдательность, чтобы не пройти мимо артефакта, и усидчивость, чтобы его откопать.

Ответ разочаровал Женю. Писатель это понял и привёл пример:

– Как-то поздним вечером я возвращался домой. Шёл мимо старой пятиэтажки. В цокольном этаже были оконца с мутными стёклами. Я посмотрел на них и вдруг представил, как изнутри по стёклам колотят чьи-то белые ладони. Я буквально их увидел. Сюжет сложился как по щелчку.

– «Люди подвала», – догадалась Женя, кроша ложкой штрудель.

– «Люди подвала». Один из моих любимых.

– Но здесь вы обошлись без Сумеречной зоны.

– «Та сторона». Так я называю пространство воображения... Не соглашусь. Мы слишком полагаемся на разум. При

этом одни люди сызмала наделены воображением, другие его лишены начисто. И те, и другие придумывают истории.

– Воображение присуще всем детям, – заспорила Женя. – Просто не все его развивают. Я вот в детстве представляла, что буду актрисой. Потом подросла и... Внешность у меня не голливудская. А за «ведьмин глаз» меня бы в средние века и вовсе сожгли на костре.

Янковский взглянул на неё с недоумением. Женя приподняла очки.

– Двойной зрачок.

– Лишись вы воображения, не смогли бы читать ничего, кроме бухгалтерской отчётности. Бьюти-блогеров, в лучшем случае, – невозмутимо заметил Янковский.

– Я читаю договоры, – усмехнулась Женя кисло и покосилась на часы. Минут десять – и пора сворачивать беседу.

– Сочувствую, – сказал Янковский и вновь потёр висок.

Повисла пауза. Женя хотела воспользоваться ею, чтобы взять автограф и начать прощаться. От штруделя осталась одна корочка. Женя набрала воздуха для: «К сожалению, мне пора», как вдруг Янковский опомнился:

– Я начал писать в детстве, после того как прочитал «Машину времени» Уэллса. До чёртиков перепугался морлоков. Не мог спать без света, когда думал о них – и всё же перечитывал книгу раз за разом. Увы, в советские времена приходилось попотеть, чтобы достать фантастику, а уж хорроры и вовсе не издавались. Разве что Гоголь. Или, если повезёт,

найдёшь в библиотеке Эдгара По. Про Стивена Кинга, Лавкрафта или Клайва Баркера я узнал аж после Перестройки. И я решил: если не могу читать то, что мне нравится, надо написать это самому. За летние каникулы извёл три общих тетради. Когда стал постарше, сжёг – детский лепет, проба пера, не жаль. Надолго оставил это дело и вернулся к сочинительству лет пять назад, когда понял, что смертельно устал от своей профессии. На меня словно напирала изнутри те пласты слов, которые скопились за годы творческого воздержания. В один прекрасный день я сел за стол, включил ноут и начал писать. Так родился «Город самоубийц». Закончив «Город», я сразу же принялся за следующую историю. Ею оказался «Кусака». В итоге набралось на целый сборник, который я издал на свои и который вы имели честь дочитать. Сейчас я замахнулся на роман.

– Это здорово! – Женя неосознанно коснулась его запястья. У неё часто потели ладони, но Янковский не одёрнул руку и даже не вздрогнул. Волна благодарности обдала её сердце теплом. – Продолжайте писать, не бросайте!

– И в мыслях не было. Когда я пишу, я проявляю себя в этом мире. Это лучшее, что я могу. Если я прекращу – на что вообще я годеи?

– Настанет время и критики захлебнуться своей желчью! По лицу Янковского пробежала тень.

– Моя мама умерла из-за опухоли мозга, – сказал он. Жене показалось, будто над столиком пронёсся порыв морозного

ветра, напрямком из грядущего декабря. Разметал крошки с тарелки, шуганул спящих на веранде воробьёв, сжал горло ледяной хваткой. – Её мучили головные боли, а так называемые врачи не могли найти ничего. Пока опухоль не стала неоперабельной. Лекарства не помогли снять боль. Мама умерла, крича.

– Господи. – Женя прижала ладони к груди. – Мне страшно жаль...

– Года два назад у меня стала сильно болеть голова, – продолжил писатель. Взгляд его остекленевших глаз застыл поверх лба собеседницы. – Точно второй желудок, который бесконечно и мучительно выворачивает. Не так давно я начал видеть синие вспышки. Пока мы беседовали, я насчитал четыре. Поэтому не думаю, что у меня хватит времени дождаться признания критиков.

– Господи, – повторила Женя. – А врачи, что они говорят?

– Я к ним не ходил. И не собираюсь.

– Но почему?!

– Потому что к ним ходила моя мама. – Янковский опустил взгляд на лицо Жени. Отсутствующее выражение ушло из его глаз. – И потому что я не хочу знать. Я хочу успеть закончить роман. Если поднажму, закончу до середины октября. Он называется «Крысиные Зубы». О бессметном монстре, который жаждет прорваться в наш мир и уничтожить его.

– Нет. Нет-нет-нет, вы должны показаться врачу. Не здесь,

так в Москве. Вдруг это обычная мигрень и бояться нечего!

– Я и не боюсь, – ответил писатель. – Я не стану. Будет как будет. Никто не живёт вечно.

– Но если врачи помогут... Подумайте, сколько историй вы могли бы написать!

– Или превратиться в голову на палке после того, как хирурги покопаются у меня в мозгу.

Янковский вскинул руку, подзывая официанта.

– Было приятно пообщаться, Евгения, – сказал он, расплатившись и ссыпая чаевые мелочью в жестяной кувшинчик с чеком. – Ещё раз благодарю за тёплые слова. Давайте я подпишу книгу и будем прощаться. Роман ждёт.

– Я очень надеюсь, что вы ошиблись, – сказала Женя, когда автор вывел на внутренней стороне обложки витиевато-трогательное: «Моей преданной и единственной поклоннице с пожеланием неиссякаемой удачи, Я». – А критики... знаете, да пошли они в одно место.

Губы Яновского впервые тронула лёгкая улыбка. Немного печальная, но – неподдельная и очень милая. Сердце Жени сжалось.

– Не грустите, – ободрил он, возвращая книгу.

– Попытаюсь. – Женя спрятала сборник в сумку. – Всего вам хорошего.

Писатель шутливо отдал честь и, не оборачиваясь, зашагал прочь. Поспешила в офис и Женя. Какое-то время чёрная рубашка Янковского мелькала за кустами слева от неё,

пока не растворилась в жёлто-зелёном море листвы. Женя надела наушники и запустила Spotify. Franz Ferdinand ворвались в эфир с песней о дурном глазе, который видит чужую душу.

Деревья справа раздвинулись, выпуская её на улицу. Женя ступила на зебру, дошла до середины дороги... и замерла.

Перед зеброй притормозил болотного цвета минивэн с надписью «Левша. Установка кондиционеров» на борту. За надписью, ближе к багажнику, борт украшала аэрография: круглая мультяшная рожа с панковским «ирокезом». Антрацитовые зрачки кислотно-голубых глаз панка были узкими и вертикальными, как у змеи. Мультяшный парняга оглядывал пешеходов со свирепым весельем, скалясь во весь алый рот и демонстрируя частокол огромных треугольных зубов, как спятивший клоун из шоу уродов... клоун-вампир. Однако Жене пришло на ум иное сравнение.

«Кусака». Демоническое граффити из одноимённого рассказа Янковского. То, что со стенки на стенку подбиралось к жертвам в стремлении их растерзать. Она представляла себе Кусаку очень похожим на панка, который сейчас щерился ей с борта машины. Янковский весьма живо его описал.

В животе неприятно, сосуще закрутилось. Будто Женя очутилась в кабине прозрачного лифта, а трос оборвался под самой крышей небоскрёба.

Клаксон минивэна нетерпеливо взвыл. Женя вздрогнула, оступилась, но устояла. За стеклом водитель ожесточённо

размахивал руками. Его губы беззвучно выплёвывали напущенности, предельно далёкие от пожеланий удачи и счастья. Пошатываясь, Женя заторопилась дальше, не сводя глаз с панка.

А взор панка неотрывно следовал за ней.

На тротуаре она обернулась, переводя дух. Сердце выплясывало, как юродивый на паперти. Минивэн исчезал вдали, презрительно сверкая кормой.

– Просто граффити, – сказала Женя вслух. Музыка продолжала греметь в ушах, и потому слова невольно превратились в крик. Женя догадалась об этом по выражениям лиц заозиравшихся прохожих. Хмурая бабулька с тележкой на колёсиках покрутила пальцем у виска.

Женя втянула голову в плечи и засемила ко входу в «Триумф». Она не привыкла к подобному вниманию.

– Жуть, девочки, – прокомментировала Олька Аверченкова, едва не протыкая монитор носом. – Зальёт за воротник и лётает по городу, сволочь, имущество портит. Хорошо, никто другой не пострадал, сам угробился – а представьте, если б дети?

– Ты о чём, Оль? – встрепенулась Зоя Владиленовна, макая баранку в кружку с травяным чаем. – Опять страсти какие?

– Да алконавт в фургоне слетел ночью с моста, – бушевала Олька. – Я на работу ехала, гляжу – ограждение проломано,

полиция возится. Гонзают, как ненормальные. Наркоманы!

– На то они и наркоманы, – флегматично обронила Надя Денисюк. Владиленовна тяжело вздохнула.

Женя оторвалась от отчёта и наострила уши. Минивэн – тот, с зубастой рожей на борту, – о котором она успела забыть за выходные, предстал перед её мысленным взором. Авария могла случиться с любым авто, мало ли их – но непрошенный звоночек не утихал. Разрастался тем сильнее, чем больше коллеги мусолили тему. Тревога – и отчего-то вина, словно это Женя была причастна к ДТП.

– Расстреливать таких! – заходила Оля.

– Мораторий у нас, – откликнулась Денисюк.

– Да вот! – Оля окинула кабинет пылающим взором. – Запретили карать, либерасты.

– Да, – закивала Владиленовна сокрушённо, разворачивая карамельку. – Да-да-да, запретили, правду говоришь.

– Красный Сталкер наверняка что-нибудь нарыл на этот счёт! – Оля выпустила «мышку» и цапнула со стола мобилку.

Женя и сама была подписана на телеграм-канал Красно-го Сталкера, личности – или личностей, никто не знал точно, – всего за месяц успевшей стать в Нежими легендарной. Стоило случиться громкому происшествию, и загадочный блогер публиковал подробности, о которых молчали местные СМИ. Поножовщина в ночном клубе? Сталкер называет фамилии зачинщиков, поразительным образом совпадаю-

щие с фамилиями крупных городских чиновников, и отчества, ещё сильнее указывающие на связь хулиганов с оными. Изнасилование? Сталкер без обиняков утверждает, что между немолодым актёром Нежимьского ТЮЗа и практиканткой всё произошло по обоюдному согласию после обильных возлияний, а протрезвев, барышня сперва пыталась вымогать у кавалера деньги. Власти объявляли расследования Сталкера фейками, но это лишь подогревало интерес горожан к его окутанной тайной персоне. Олька даже считала, что Сталкер – ясновидящий.

– Атас, – одёрнула Денисюк, которая сидела ближе других к окну. – Сюзанна приехала.

– С этим, с её новеньким, – подхватила Владиленовна умильно.

– На «Паджерике» который? – оживилась Олька пуще прежнего. Денисюк кивнула.

Летучая тень мазнула ряд окон, прокатился цокот каблучков и ухнула в глубине здания стальная дверь. Женя взглянула на таймер в нижнем углу экрана. Без пяти одиннадцать. Для Матвеевой было недопустимым явиться в офис, не выпавшись и не сделав укладку.

Спустя мгновение в кабинет впорхнула начальница, окутанная облаком лавандовых духов.

– Доброе утро, девочки! – звонко приветствовала Матвеева.

– Доброе утро, Сюзанна Валерьевна! – понеслись вразно-

бой ответы.

– Доброе, доброе утро, – продолжала, когда все уже смолкли, Владиленовна, переставшая быть девочкой лет сорок назад.

– Пробки по городу – кошмар! – Матвеева как бы невзначай поправила каштановый локон. Женя ощутила укол зависти. Она могла биться об заклад, что схожий укол почувствовали и другие, но это было так себе оправдание.

– Работаете? – Начальница продефилировала вдоль столов, покачивая крепкими бёдрами и наплечной сумочкой Louis Vuitton. – Мои вы умнички. Оленька, как договоры для «Антея»?

– Подборка готова, Сюзанна Валерьевна, – зычно отпартовала Олька и следующие несколько минут распиналась, с каким восторгом антеевские работяги внимали её лекции о необходимости подписания договоров с фондом. Удовлетворившись, Матвеева обошла с расспросами остальных подчинённых, приберёгши Женю на десерт. Скверный знак. Женя сжалась. Матвеева явно пребывала в приподнятом настроении, о чём говорили её жемчужная улыбка, ласковые словечки и театральные жесты. Эта весёлость сулила куда больше неприятностей, чем гнев.

Наконец, дошла очередь и до Жени.

– Ну а ты, Женюшка? – Матвеева сложила приятной полноты руки на груди. Упруго колыхнулся в вырезе бронзовый крымский загар. – Как твои дела? Тоскуешь?

– Да нет, – сдержанно ответила Женя. Понять по странно-ватым вопросам, куда ветер дует, было невозможно. – Заканчиваю отчёт. Как проверю, пришлю. К часу, думаю.

– Всё-то ты в работе, не научилась расслабляться, – посоветовала Матвеева.

Вместо ответа Женя наморщила шишковатый лоб, и близко не такой, как у начальницы – ровный и благородный.

– Вот! Ты сама о себе не позаботишься, значит, на это есть мы! Мы же все одна команда, одна, считай, семья.

– Да, – утробно поддержала Владиленовна. – Да, да.

– Один за всех, Сюзанна Валерьевна! – отозвалась Ольга.

– Я что-то пропустила? – Женя насторожилась – аж лицо одеревенело.

– Я решила твою судьбу. – Начальница извлекла из сумочки айфон последней модели. – Твою одинокую судьбу.

– Прямо интрига, – изобразила радость Владиленовна. – Вы нас такими всегда сюрпризами балуете.

Матвеева чиркала пальчиком по экрану телефона.

– Женя. Сегодня ты идёшь на свидание!

– Что? – поперхнулась слюной Женя.

– Не морщись, вредно для кожи, – упрекнула Матвеева. – Я зарегала тебя в «Дейтинге». Это сайт знакомств. Оч крутой. Я там познакомилась с Сашей. Вы видели Сашу, он улёт... Твою фотку взяла с Нового года. Там у тебя пятно на рукаве, оливье, наверное, но я обрезала, не переживай.

– Вообще-то я не разрешала... – Женя разом забыла всё

– и ночную аварию, и жуткое граффити; всё стёрло зноем ужасающего известия. Вселенную заполнила одна Матвеева с её духами, вишнёвыми улыбающимися губами и чёртовым айфоном в холёных коготках.

– Без разрешения ты до ста лет просидишь, как сыч, с кошками. У тебя их уже сколько, три?

– Нисколько, – ответила Женя. Она подкармливала дворовых кошек, но из-за аллергии не могла взять к себе ни одной. – Вы извините, но это личное дело, и довольно бесцеремонно...

– Очень тебе хорошего мальчика нашла! Ты ему сразу понравилась. О! Глянь! – И Матвеева сунула окаянное изобретение Стива Джобса Жене под нос. – Его зовут Валентин!

У Валентина было круглое сдобное личико. Остренький нос придавал ему сходство с мышонком. Чёлка жидких белесых волос не могла скрыть залысину, от которой ко лбу разбегались розовые пятна. Глаза пронизательно глядели прямым в камеру, одновременно грустные и насмешливые. Рука Валентина подпирала подбородок. Пальцы были неестественно выкручены. Валентин сидел в кресле. Жене не требовался снимок в полный рост, чтобы понять: кресло инвалидное.

– Правда, миленький? Я переписывалась с ним весь вечер. От твоего имени, конечно. Он тоже любит кошек!

Женя невольно потянулась к айфону, но Матвеева бойко убрала гаджет за спину, а затем пошла вдоль столов, пока-

зывая фотографию подчинённым. Подчинённые поднимали жопы, вытягивали шеи, заглядывали Матвеевой в ладонь и одобрително кивали.

– Я договорилась с ним на семь. Вы встречаетесь возле «Окея». Ради такого случая я отпущу тебя пораньше, в шесть. Можешь так сразу и идти, тебе очень к лицу этот свитер. Представляешь, он пишет стихи!

– Милаш! – ухнула Владиленовна.

– Сунгурова, какого жениха урвала! – поддакнула Ольга.

– Решено! Буду подружкой у вас на свадьбе! – просияла Матвеева. – Ну кто ещё согласится? Если, конечно, не боишься, что я Валю уведу.

– Может, вы сразу и пойдёте к нему на свидание? – вырвалось у Жени.

– Заревновала! – восхитилась начальница. – Обещаю, мы на твою половинку покушаться не будем. Девочки, правда?

– Правда! А то. Да, да-да.

– Он мне никакая не половинка! – взвилась Женя. Голос предательски задрожал – не голос, а заячий хвост. – Я его не знаю и никакие свидания устраивать не собираюсь. И как-нибудь сама разберусь со своей жизнью!

– Женя, – молвила Матвеева с бесконечным терпением. Её карие глаза, отороченные бархатными ресницами, уверяли: «Я желаю тебе исключительно добра». Её хищная, ширящаяся улыбка, говорила: «Мне нравится, когда тебе больно». – Ты не представляешь, насколько полноценна жизнь,

когда у тебя есть пара, а не какая-то кошка.

«Не реветь, – велела себе Женя. – Не сметь! Не перед нами»

– Сюзанна Валерьевна, – чеканно произнесла она чужим голосом. – Я не пойду ни на какое свидание. И... И всё.

– Это из-за его недуга? – картинно вскинула брови Матвеева. – Женя, главное – внутренний мир! У Вали с этим полный порядок. И Женя... ну прости меня за прямоту, мы здесь все свои, но и у тебя не всё гладко. С глазом-то. Ты тоже не Мерлин Монро. Мы живые люди, у нас у всех недостатки, надо уметь их принимать.

Матвеева вздохнула и придала лицу печать глубокого смирения.

«Сука! – Слова яростно впивались в сознание Жени, как пули в мишень. – Ненавижу тебя! Тварь! Тварь!».

(Я НЕ РАЗРЕВУСЬ)

– Сюзанна Валерьевна, – отозвалась Владиленовна елеиным голосом, прижимая к рыхлому вымени кончики пальцев. – Уж вы-то лучше всякой Мерлин Монро.

– Зоя Владиленовна, вы мне как вторая мама, – Матвеева послала ей улыбку и вернулась к Жене. – Ну жаль. Я от души старалась принести тебе счастье.

В великом разочаровании, с усмешкой в уголках губ, она погрузила мобильник в раззявленную пасть сумочки.

– Разбитое сердце Вали останется на твоей совести, – презрительно вставила Олька.

– А может, тебе нравятся девушки?! – вдруг воспряла садистка. – Слу-ушай! Женечка! Правда? Не смущайся! Это уже вышло из моды в наши дни, но я всегда мечтала о подруге-лесбиянке!

– Тогда обратись к Ольке! – взорвалась Женя – увы, лишь в собственном воображении.

– Я не лесбиянка, – ответила она. Глаз, её треклятый глаз с двойным зрачком, наполнился слезами и видел хуже прежнего.

– Раз свидание отменяется, отменяется и уход с работы пораньше. Всех касается. Через неделю к нам едет Серафим Петрович с проверкой. Работаем, девочки!

И девочки уткнулись носами в мониторы до самого обеда, благо, тот начинался через десять минут. Матвеева пребывала в превосходном настроении и в перерыв не стала никого задерживать. Женя рванула из кабинета вперёд всех. Её обдавало жаром, на щеках выступили кляксы румянца, розовые, как пятна со лба Валентина. Насмешливые взгляды коллег липли к пробегающей мимо столов Жене, как паутинки.

В сквер она почти вбежала. Бросилась на свою скамейку и, стиснув колени ладонями, приготовилась разреветься. Но глаза остались сухими, словно из гипса, а боль – запечатанной в трепещущем сердце. Не дождавшись слёз, Женя сда-лась.

– Вот же мразь! – выдохнула она, обессиленно откидываясь на спинку скамейки. Прикормленные воробьи расселись

рядом на ветках сирени.

– Сегодня у меня ни крошки, друзья, – огорчила их Женя.

Она достала айфон и открыла телеграм-канал Красного Сталкера.

Здравствуйте, мои хорошие, – панибратски приветствовал Сталкер. – Соскучились по острым ощущениям? Я припас вам нечто вкусенькое. Сегодня кое-кому и впрямь было вкусно! Про аварию на мосту Революции уже все в курсе. Час ночи, бедолага водитель, превышена скорость, печален итог! Мало кто переживёт падение в реку с семи метров. Пуф! Мои соболезнования родным и друзьям. А вот о чём вы не в курсе: когда спасатели вытащили тело, оно было обглодано почти до костей. Судя по укусам, зубы огромные. Неужели в нашей Оке завелись акулы? Пресноводные акулы-мутанты. Или беднягой закусил ещё на мосту? Ба, неужели акулы сухопутные?! Не думал, что доживу до такого. Акулы или нет, друзья, ещё предстоит выяснить. И когда я выясню, то обязательно вам расскажу. Берегите себя, не спите за рулём и читайте мой канал. Я Красный Сталкер и я рассказываю то, о чём молчат другие!

К посту был прикреплён снимок с местного портала новостей. Ещё не успев рассмотреть фото, Женя ощутила смутное беспокойство, которое переросло в тревогу, когда она увеличила картинку. Минивэн стоял на берегу реки. Смятый капот делал его похожим на мопса-переростка с блестящей от воды шкурой. Дверь водителя была срезана и лежа-

ла подле. Снимок был тёмный, ночной, но надпись «Левша. Установка кондиционеров», белая на чёрно-зелёном, читалась отчётливо. Надпись – и больше ничего. Зубастая морда панка исчезла.

Изображение поплыло перед глазами Жени. И сквер, когда она подняла взгляд от экрана – тоже.

«Это другая машина». Мало ли у «Левши» минивэнов?

Вот только это был *тот самый* минивэн. Шестым чувством Женя это знала.

Ей сделалось дурно до полуобморока. Недавнее унижение сейчас показалось бы невинной, как щекотка пёрышком, шалостью – если бы Женя вспомнила о нём вообще.

Она закинула телефон в сумочку и с трудом застегнула молнию негнушимися пальцами.

«Так бывает только в «ужастиках» ребят вроде Янковского. Поэтому возьми и просто... выкинь из головы!»

Женя даже слегка шлёпнула себя по щеке и стрельнула глазами: не заметил ли кто? Нет, она была в сквере одна, не считая птиц, двух уплывающих по аллее старушек да шума дороги за деревьями. Она нервно хихикнула: не хватало, чтобы её приняли за чокнутую. Сходить с ума из-за фотки с, разумеется, *другим* минивэном?..

Мысль оборвалась. За Женей наблюдали – скрытно, издали, с растрескавшейся, цвета тухлого желтка, пятиэтажки; подглядывали из-за кустов раскосыми змеиными глазами. Намалёванная на вздувшейся штукатурке рожа с зубами,

подобными треугольникам битого стекла в опрокинутом полумесяце улыбки. Её старый знакомый Кусака.

«Привет, сладкая, как оно? – казалась, говорила улыбка. – Я норм, если тебе интересно. Щёки красные – запарилась? Осенью может быть очень жарко, о-очень. Могу посоветовать спеца по кондиционерам. Его просто рвут с руками. Вот и я оторвал от него там и сям, Красный Сталкер не даст соврять. Хочешь, он и про тебя напишет? Хочешь?..»

Женя кинулась прочь. Ударилась бедром о край скамейки и развернулась в неуклюжем пируэте, опять поймав на себе дурной и ненасытный взгляд Кусяки. Если бы она не устояла на ногах, мультяшная рожа стремительно надвинулась бы на неё, как в кинофильмах, когда приближают пугающий кадр, росла бы и росла, цепная пила ухмылки заслонила мир, зубы разошлись, высвобождая раздвоенный язык и...

Она устояла.

Она неслась без оглядки – через сквер, через дорогу на красный, и клаксоны тормозящих с визгом машин хлестали её по плечам. Неслась в кажущийся спасительным офис.

Всему есть разумное объяснение, увещевала себя Женя, уходя вечером с работы. Как там говорил писатель? Любая мелочь может стать идеей рассказа? Фраза не дословная, но суть та же.

Например, продолжала рассуждать она, эта рожа. Янковский увидел её на стене дома и придумал своего «Кусяку».

Элементарно, Ватсон.

Ты кое-что упустила, возразил внутренний голос, куда более мрачный и безжалостный. Прежде на том доме никаких граффити не было. Сколько раз ты коротала время в сквере – не счесть. Ты бы заметила.

Хорошо, не сдавалась Женя, остановившись у светофора. Не я одна читала «Погребение». Кому-то ещё попал в руки сборник, и этот кто-то под впечатлением нарисовал на доме Кусаку.

А минивэн? – снисходительно напомнил голос. Что о нём скажешь?

А на минивэне рожа была нарисована изначально, парировала Женя. Вот как Янковский нашёл сюжет! Машина просто попалась ему на глаза.

Гладко, отозвался голос. Гладко, да не совсем. Снимок после аварии хорошо помнишь? Куда, по-твоему, делся рисунок?

Бывает, что фотки выкладывают зеркально, нашлась Женя. Я видела не левый борт, а правый! Да!

Она решила, что внутренний скептик унялся. Но когда вспыхнул зелёный и пешеходы дружно ступили на зебру, скептик ехидно предложил: почему бы, в таком случае, тебе не зайти в сквер и не рассмотреть рожу поближе?

Внутренности Жени точно обдало кипятком. Она попыталась словчить: «Запросто! Завтра в обед».

Внутреннему скептику только это и надо было. Ага! – вос-

кликнул он.

Издевательское торжество возгласа сработало: Женя заглотила приманку.

Да пожалуйста, подумала она. Тоже мне, Бэнкси. Просто дурацкая мазня!

На неё встревоженно, с неприязнью, оглянулся пешеход. Женя поняла, что говорит вслух.

«Лучший способ избавиться от страха – сделать то, чего боишься», – подумала она. На этот раз скептик смолчал. Он получил то, что хотел.

Замирая, она ступила на тротуар. Направо – путь домой. Прямо и левее – в сквер. Женя колебалась всего мгновение.

Дом подождёт. Есть один вопрос, с которым надо покончить.

Она направилась в сквер, который уже окутывали синие и зябкие сентябрьские сумерки. Несколько шагов по аллее – и затянутое облаками солнце цвета заживающего кровоподтёка скрылось в кронах деревьев. Женя запахнула куртку и расправила шейный платок.

Вот знакомый шкаф уличной библиотеки. Вечером, в тени клёнов, он напомнил Жене поставленный на попа гроб. Ряд скамеек. Женя втайне надеялась увидеть на них припозднившихся мамаш с детьми или безмятежно дремлющих бабулек. Но скамейки пустовали. Даже птицы попрятались. Самым громким звуком здесь были шлепки подошв её кед. Женя оказалась в сквере одна.

Не считая Кусаку, проснулся внутренний скептик, и она едва не повернула обратно.

Но – словно во сне, Женя отрешённо наблюдала, как продолжает путь. Мимо шкафа «Прочитай и поставь на место», мимо скамьи с сиротливо жмущейся к ней урной. К дому с вспухшей штукатуркой, чьи очертания проступали из-за ветвей. В этот час жёлтый цвет стен отдавал синевой. Оттенок протухшего сыра.

Рисунок

(Кусака!)

всё не показывался. Она должна была уже увидеть его. Наверное, подвела память, и граффити

(Кусака!)

находится левее. За тем кустом. Да! Вот и он. Надо лишь обойти сирень и...

Женя замерла перед домом в недоумении... и ужасе, он подкрался со спины и пробежался по плечам паучьими лапами.

«Это другой дом»

На стене ничего не было – кроме штукатурки поганочного цвета, дождевых потёков, отслаивающихся чешуек краски.

«Не та стена!»

Тот дом, возразил скептик (кажется, даже он испугался до чёртиков). Та стена.

Женя попятилась.

«Его закрасили!», – вихрем закрутилось в голове. Как те

питерские граффити с Юрием Никулиным или Даней Багровым, которые регулярно замазывают коммунальщики.

Вот только никаких следов закрашки она не замечала. Словно старый обрюзгший великан, застигнутый враспloch голым, дом угрюмо взирает на Женю сверху вниз зарешёченными окнами, и ни в одном из окон не теплится свет. По высушенной в ожидании заморозков листве прошуршал ветер.

Продолжая пятиться – только бы не обернуться, кто знает, что окажется за спиной, если она обернётся? – Женя изо всех сил боролась с паникой. Зубы выстукивали морзянку. На задворках мятущегося сознания мелькнуло: зря я не пошла на свидание с Валентином.

Зато теперь у неё есть шанс попасть в новости от Красного Сталкера.

Она наткнулась поясницей на скамейку и развернулась, будто ужаленная. Вместо застрявшего в горле крика связки выдали сиплое: «И-и-и», как пар из носика чайника, оставленного на огне.

Никого. Просто скамейка.

Пьяно покачиваясь, Женя продралась сквозь кусты на улицу, где под россыпью огней всю бурлила вечерняя жизнь. Здесь, в знакомом мире автомобилей, кафешек и электрических самокатов, мире ковида и налогов на добавленную стоимость Женю отпустило. Она заторопилась по тротуару, выщипывая из волос крошево сухих листьев и чувствуя на себе взгляды случайных прохожих. Поймала себя

на мысли, что к последнему начинает привыкать. Ничего страшного, если тебя считают дурочкой, когда есть вещи хуже.

Гораздо хуже.

Утром вчерашние события казались давним сном. Женя выскользнула из-под одеяла за пять минут до звонка будильника. За окном в небесной лазури, ещё не осквернённой выхлопами авто, занимался день. Деревья перешёптывались, наряженные в зелёное и багряное – словно не могли решить, дать ли осени отпор или сдаться на её милость до весны. Женя не могла припомнить столь волшебного сентября. Пританцовывая, она прошлёпала на кухню, где под Kaiser Chiefs сочинила завтрак: красный, как расплавленная в чашечке медь, чай и булочка. Строго одна булочка – как многие худенькие дамы, Женя полагала, что вторая неизбежно приведёт к ожирению.

В хорошую погоду Женя добиралась на работу пешком: полезно для фигуры (не забываем про ожирение) и экономно. Сегодня, правда, она слишком задержалась в душе и решила поехать на трамвае. Даже мысль о возможном опоздании не могла омрачить настроение. В трамвае Жене досталось свободное место. Две остановки – и она на месте. О произошедшем вчера вечером Женя напрочь забыла.

Потому скверное предчувствие, кольнувшее в живот, едва Женя переступила порог офиса, ошеломило её. Предчув-

ствию неоткуда было взяться.

Но оно появилось.

Дело в Сюзанне, заключила Женя. Нарисуеться, как всегда, к одиннадцати и учинит новую подлость.

Нарисуеться. Слово отозвалось смутным напоминанием о чём-то тревожащем и засело в голове, как сорняк.

Женя сдержанно поздоровалась с Денисюк, которая была уже тут как тут, повесила курточку в шкаф и села на рабочее место. Непрошенная тревога сильнее сдавила грудь. Лучшее средство от такого – забыться в работе. Женя запустила компьютер, внимательно осмотрев перед тем клавиатуру: однажды она едва не вляпалась пальцем в козявку, оставленную кем-то на клавише Enter.

Без пяти явилась Владиленовна. Охая, она втиснулась в кресло, обтёрла салфеткой лоб и жалобно попросила Денисюк включить чайник:

– Выскочила из дому, даже не позавтракала.

– Ясно-понятно, – отозвалась Денисюк, щёлкая по кнопке чайника. – Нет кофе – нет работы.

Владиленовна согласно заухала. Вытащила из сумки пакетик с конфетами:

– Угощайтесь, девочки.

Конфеты выглядели по-советски дёшево. Владиленовна не мыла рук после туалета. Кроме того, Женя подозревала, что именно Владиленовна прилепила на Enter козявку. От угощения Женя отказалась. Как и Денисюк – у той, воз-

можно, были свои причины пренебречь неслыханной щедростью.

Владиленовна не настаивала. Она захрумкала конфетой и красноречиво взглянула на настенные часы. Часы показывали без трёх минут восемь.

– Оли нет, – покачала головой Владиленовна. – Может, что стряслось? – Вскипевший чайник щёлкнул, отключившись. – Надя, подай, пожалуйста, водичку. Ноги, ноги так и гудят, о-ой...

Громыкнула за стеной входная дверь, по коридору пронёсся топоток и в кабинет ворвалась растрёпанная Олька.

– Девочки, кошмар! – с порога выпалила она. – Кошмар! В курсе уже, да? Я только щаз узнала!

– Господи! – простонала Владиленовна, бледнея и хватаясь на всякий случай за сердце. – Неужто сокращение?

– Серафим звонил! – отмахнулась запыхавшаяся вестница. Её глаза метались туда-сюда, будто Олька увлечённо наблюдала за теннисным матчем. – Мне! Только я из дома вышла.

– Сокращение. – Владиленовна крепче вцепилась в обвисшее вымя.

– Сюзанна наша в больнице. В реанимации!

Владиленовна отпустила сиську и суетливо перекрестилась. На её щёки шустро возвращался румянец.

– Что случилось с Сюзанночкой нашей Валерьевичковой?

Кусака, опустошённо ответила про себя Женя. Виски сдавило, в ушах гремело громче и громче. Случился Кусака.

– Её этот гаврик избил! – донёсся Олькин возглас – изда-
далека и глухо, как трансляция по старому радио. – Новенький
её, на «Паджерике».

– Саша? – искренне изумилась Владиленовна. – Быть не
может.

– Может! Вечером пришёл и отдубасил, и никого теперь
не пускают к ней.

– А такой казался хороший, – Владиленовна всплеснула
руками. – И пел, и шутил. О-ой... С ума свихнулся. Сюзанна,
дочка, за что?

– Да мразь! – рывкнула Олька. – Сволочь, как все, кто с
яйцами! Избить *девушку*!

– Правильно, правильно, вот это самое слово. Мразь. Да-
да, да.

Женя обмякла. Сашка-сволочь с яйцами, который пел и
шутил, и подвозил Матвееву на «Паджеро». Не Кусака. Она
едва не рассмеялась от облегчения и – чего греха таить? –
злорадства. Денисюк внимательно уставилась на неё, и Жене
пришлось прикрыть рот ладонью: какой, мол, ужас!

– Из Москвы нам пришлют человека, – объявила Олька, –
а пока Серафим назначил меня ИО.

– Зачем человека? – залопотала Владиленовна. – Мы и
сами... А там Сюзанна поправиться.

– Она, похоже, надолго, – мрачно сказала Олька. – Как

дела станут лучше, мы её навестим.

– Обязательно, Ольга Потаповна, – подобралась Владиле-
новна. Потянулась было за конфеткой, но отдёргнула руку.

«Серпентарий», – подумала Женя. Старый добрый клубок
змей, настолько привычный, что даже успокаивает.

В таком размеренном ритме она дотянула до перерыва. В
сквер Женя идти передумала – ради разнообразия, как уве-
рила она себя. Пока в чашке настаивался томатный суп из
пакетика, Женя открыла «телегу» Красного Сталкера и по-
грузилась в чтение.

*Ну и город у нас, друзья, – фиглярствовал таинствен-
ный аноним. – Просто не узнать! Вам наверняка извест-
но о жестоком нападении мужчины на свою сожигательни-
цу, произошедшем этой ночью. Если нет, читайте новости
на городском портале и возвращайтесь сюда за подробно-
стями. Они шокируют. Вернулись? Продолжаем. Мужчина,
некто Александр Басырёв, предприниматель тридцати де-
вяти лет, избил главу местного филиала негосударствен-
ного пенсионного фонда и свою пассию Сюзанну Матвееву.
Милые бранятся – только тешатся, и едва ли я стал осве-
щать очередной, увы, случай бытового насилия, не будь он
столь вопиющим. Распоясавшийся кавалер не просто бес-
причинно избил даму. Он буквально выгрыз ей лицо. Изорвал
в лоскуты до кости. Меня бросает в дрожь, но я обязан ска-
зать: изувер откусил и съел половину её носа. Хирурги две-
надцать часов пришивали оставшиеся куски кожи обратно.*

Случившееся тройне чудовищно ещё и потому, что женщина, как говорят, была нереально красива. Её состояние тяжёлое, впереди новые пластические операции, но жизнь Сюзанны вне опасности, и мы все этому рады. Пожелаем ей скорейшего выздоровления. И хочу напомнить: что бы ни случилось с красотой внешней, красота внутренняя всегда остаётся с нами...

Женя выронила мобильник и снова зажала рот, но на этот раз причиной тому было отнюдь не желание скрыть злорадство. Утренняя тревога вернулась, проросла в сердце, распустилась в мозгу багряным жарким цветком. Всё было слишком, слишком похоже на...

«Совсем как в книжке!»

В рассказе Янковского «Ночное рандеву» главный герой, укушенный неизвестным насекомым, мутировал, сошёл с ума и напал на свою подружку. Не просто напал, он

(выгрыз ей лицо)

выгрыз ей лицо подобием клюва, в который срослись его изменившиеся зубы. Вот как это было.

– Совпадение, – произнесла Женя вслух и вздрогнула: голос звучал словно скрип несмазанных петель. Женя хотела спросить себя, не сходит ли она с ума, да так и застыла с открытым ртом – лишь бы не слышать карканье ведьмы в пустом кабинете. Мобильник мертвенно сиял со стола, зазывая дочитать пост Сталкера. Женя не намеревалась этого делать – хватит на сегодня. Она осторожно – будто спящего скорпи-

она – и сама не зная, зачем, переложила содовый на блюдец, которое закрывало чашку с супом. В глаза назойливо бросились отдельные слова из сообщения блогера: *превратил-ся... гормональный сбой... отёкшее создание... в правительственную лабораторию...* Женя застонала. Пульс гулко колотил в виски, превращая череп в там-там. Комнату заполняло знойное марево, словно трепетал раскалённый воздух пустыни, и монитор колыхался, подобно пучку водорослей. Мышцы растеклись талым маслом, но когда дверь внезапно распахнулась, впуская Денисюк, Женю подбросило, словно под её креслом рванула петарда. Рукой она сшибла чашку, блюдец, телефон; всё это в брызгах супа полетело кубарем – вязкий томатный язык обжигаяще лизнул запястье – и шмякнулось на ламинат. Бордовая клякса раскинула щупальца меж столов, превратив пол в холст авангардиста.

Женя беззвучно разрыдалась.

– ПМС, – понимающе заметила Денисюк. – Ничего. Дело житейское. Тряпка ты знаешь, где.

Новая догадка пришла на ум внезапно, когда Женя умывала в туалете зарёванное лицо, и оказалась столь восхитительно очевидной, что гора свалилась с плеч. В иной ситуации она нашла бы ответ пугающим, не маячь перед ней перспектива снова сорваться... если не хуже. Слететь с катушек, например.

Писатель! Это его воспалённый ум сотворил жестокий

розыгрыш, в который оказался вовлечён весь город и она сама. Как по нотам! Зубастая харя Кусаки была нарисована на стене дома легкосмываемой краской – Женя наверняка заметила бы следы потёков, прояви она вчера большую внимательность. То, что Сюзанну отправил на больничную койку ухажёр – допустим, совпадение, а подробности из телеграм-канала Красного Сталкера – выдумка чистой воды. Поскольку...

– Янковский и есть Сталкер! – выпалила Женя.

Конечно! Проклятый сбрендивший сукин сын. Как она не додумалась раньше? Вот балда!

Спасительная мысль помогла ей дотянуть до конца рабочего дня, но когда пришла пора возвращаться домой, трансформировалась в нечто угрожающее.

Если происходящее – розыгрыш, означает ли это, что Янковский следит за ней?

Выходит, да.

Возможно, даже сейчас.

За порогом офиса Женя затравленно окинула взглядом улицу, выискивая долговязую, не лишённую аристократичной утончённости, фигуру, скользящую среди прохожих. Не увидела. Неприметные горожане торопились по своим вечерним делам. Остывающее небо наливалось свинцово-серым цветом синяка, проседало под собственной дородностью, расплющивая солнце в истекающий на горизонте кровью блин. Деревья слепо ощупывали друг друга ветвями,

вкрадчиво передавая на языке немых весть о неизбежности зимы.

Женя прибавила шаг.

Годы сделали путь с работы-на работу знакомым до одури. Десять минут по оживлённой улице, ещё пять – знакомыми с детства дворами... не столь оживлёнными. Рубиконом, разделяющим одну часть пути от другой, служил подземный переход под дорогой. Переход был освещён, Женя никогда не ходила по нему поздно, поэтому всегда спускалась в тоннель без колебаний. Всегда – но не сегодня. Сегодня слишком гулками казались ей собственные шаги, и это ощущение усиливалось с каждой ступенькой. Обманчивым казался свет ламп – землисто-зелёный, потусторонний. Над головой проносились машины, уличный гул достигал ушей... но всё глуше и глуше. словно подземелье выталкивало обратно любые проявления внешнего мира.

И она была здесь совсем одна.

– А ты бы предпочла компанию? – Женя попыталась взбодрить сама себя, но вместо усмешки поёжилась. Голос звучал чуждо и неуместно, как анекдот на похоронах.

Она заторопилась, пытаясь не думать о том, почему в этом подземном безлюдье не ощущает себя одной. Взгляд суетливо скользил по настенной мозаике советских ещё времён. Вот лодочки, вот колокола – как на гербе Нежими. Приземистое, с колоннами, здание краеведческого музея. Работяга, раскинувший руки над станком, от которого разлетаются

оранжевые зубцы – огни приборов. А дальше...

Её глаза ещё не поняли, что видят, а ноги уже налились свинцом. Страшное, страшное незримо надвигалось по тоннелю, как люмьерский поезд, повергающий первых зрителей в паническое бегство. Она же застыла на месте. Впереди, на стене слева, скалил острые, как осиновые колья, зубы Кусака. Не нарисованный – составленный из кусочков мозаики.

Советских ещё времён.

«Привет, давно не виделись, – говорила ухмылка, точно сложенная из двух изогнутых пил. – Ты, кажется, спешила домой? Где чай с мятой, плед и последний сезон «Полового воспитания»? А я по тебе жуть как соскучился. Аж на месте не усидел. У тебя ведь найдётся время для старого друга? *Единственного* друга. Одиночество убивает не хуже клыков, ты же знаешь. Так подойди, не стой столбом! Я не могу тебя обнять, рук-то нет, но мои губы всегда готовы к поцелуям»

Пол накренился под ногами, в голове помутилось... и, видимо, из-за этого Жене померещилось, что чудовищный лик *приближается*. Плывёт по стене, медленно, как минутная стрелка, но если долго на неё смотреть, движение делается заметным. Глаза Кусаки вцепились в неё и следили неотрывно, как у тех жутких портретов в домах с привидениями. Кусака просто пожирал её глазами.

Пока что – *только* глазами.

Женя попятилась, оступилась, взмахнула рукой, чтобы не

упасть. Низ живота обдало жаром.

«Конечно! – проревел Кусака. – Я ведь затянувшийся розыгрыш. Всего-навсего! Или плод твоего воображения. Или... безумие? Стой, где стоишь, и мы скоро закроем этот вопрос!»

Шаги, раздавшиеся сзади, она услышала не сразу, пока те не приблизились. Женя резко обернулась, в полуобмороке от того, что приходится отрывать взор от ожившей мозаики. Какой-то парень шлёпал кроссовками по плитам – худы, скошенные плечи, наушники в ушах. Он прошмыгнул мимо Жени, не удостоив вниманием. Он стремился вперёд. К Кусаке.

– Стой! – вырвалось у Жени. – Не ходи, там...

Парень и ухом не повёл. Поравнялся с Кусакой, и Женя не зажмурилась только по одной причине: тогда она останется с чудовищем в темноте.

Парень прошёл мимо скалящейся твари без всякого для себя вреда.

Разве что обогнул её по дуге, почти вжавшись в противоположную стену. Миновав, опять вернулся в центр перехода.

Оскал Кусаки сделался шире. Язык, прежде спрятанный за зубищами, вывалился на подбородок, извивающийся и ошпарено-розовый. Кусочки керамики, из которых он был выложен, напоминали чешую, поблескивающую в сером с прозеленью, цвета поганок, свете.

Женя развернулась и кинулась обратно, преследуемая

шлёпками собственных кедров по хрусткой плитке.

Она взмыла по лестнице и, не разбирая, выскочила на дорогу. Сбоку разгневанно сверкнули фары, взвизгнули шины. Мат из окна авто. Всё словно во сне. Женя вспорхнула на тротуар по другую сторону дороги и, пробежав по инерции ещё немного, перешла на торопливый шаг. Её щёки, как и лёгкие, пылали. Под ногами, под шершавым асфальтом пролегал тоннель, в котором затаилась бесовская мозаика.

Чуть переведя дух, Женя попыталась вспомнить, как герои рассказа Янковского одолели Кусаку – и сдавленно застонала, поняв, что никак. Изображение можно было закрасить, стереть, выломать вместе со стеной, но оно всегда возвращалось, делаясь ближе – и неотвратимее. Оставалось разве что перебраться в пустыню, где нет никаких вертикальных поверхностей. Женя всхлипнула.

«Я схожу с ума. Нет другого объяснения. Схожу с ума или... что-то растёт у меня в голове. Как у писателя». В её роду, насколько Женя знала, не было ни безумцев, ни онкобольных... но всё когда-то случается впервые, да?

Она представила, как глубоко под асфальтом раззявливает в беззвучном хохоте пасть вырвавшийся из преисподней чешуйчато-керамический Пакман, и снова побежала, пока не закашлялась, наглотавшись студёного воздуха.

Но монстр остался позади, и это главное.

Надолго ли?

Вместо ответа откуда-то из кроны дерева одиноко карк-

нул ворон – как удар молота по ржавому железу, – и Женя невольно вспомнила обложку «Множкратного погребения», где был изображён ворон, оседлавший кладбищенский крест.

Она не считала себя суеверной, но подумала, что крик птицы предназначен ей.

Вид знакомых с детства дворов привёл её в чувство, пусть и не успокоил полностью. Женя перебежала от одной пятиэтажки к другой, окидывая пугливым взором стены: не притаился ли где опередивший её Кусака? Грузные бока зданий являли ей извивы влажных трещин, угрюмые облезлые двери с коллажами выцветших объявлений, изредка – каляки тинейджеров, смысл которых сокрыт для других. Но и только. Женя мысленно сосчитала оставшиеся до дома постройки, как вешки: ещё четыре хрущовки, водокачка, три приземистых гаража, притулившихся друг к другу, ограда детского садика слева, вырытая коммунальщиками траншея, обнесённая забором, – и её девятиэтажка. Вон и огни окон вразнобой подмигивают за деревьями, как оранжевые кусочки рассыпавшегося паззла. Если обойдётся без приключений, Женя даже спустится покормить кошек. В холодильнике не зря припасена пара сарделек.

Стоило подумать о кошках, как Женя заметила одну из своих подопечных: трёхцветная, с белым фартучком и рыжей попкой мурлыка притаилась возле очередной пятиэтаж-

ки. Всех дворовых кошек Женя окрестила в честь голливудских актрис. Трёхцветную прозвала Лизой, как Элизабет Олсон. Лиза пряталась на газоне среди пожухлых гиацинтов. Передние лапы, раскинутые и прямые, с выпущенными когтями, упирались в землю. Женя сделала шаг – угол обзора сместился – и увидела, что задних лап у кошки нет, как и рыжей попки, и пушистого, словно из ваты скрученного хвоста. Вместо них на примятой, почерневшей от крови траве – мясные ошмётки, и спутанные, остывающие кишочки, и сломанная веточка позвоночника. Лиза открывала и закрывала пасть. Пятясь и зажимая ладонями рот, Женя невольно вспомнила сказку про коня Мюнхгаузена, которого разорвало пополам, отчего конь никак не мог напиться. Взгляд остывающих бусинок глаз изувеченного зверька слепо бурвил подползающую ночь. Агония покидала их, уступая муте забвения. Рядом лунатически лыбился керамический пенёк с длиннющим носом-сучком. По его харе ползали фиолетовые тени. Я всё видел, но ничего не расскажу, говорила его заговорщицкая ухмылка. Женя осознала, что вокруг – ни души. Лиза не в счёт.

Узкое подвальное окошко, брякнув, отворилось – обыденно, деловито. Показалась бесцветная рука, гибкая, как червь, с тонкими и ломкими отростками-пальцами вместо головы. Она зашуршала по осенней траве. Точно змея, обогнула пенёк. Пальцы оплели тельце бедняжки Лизы. С добычей рука поползла обратно. Исчезла в оконце. Опустившаяся ставня

снова брякнула. На примятой траве остался сырой чёрный след. Лиза вспомнила.

«Люди подвала». Безглазые создания, копошащиеся во мраке и плесени под домами, чьи руки бесконечно тянутся по тоннелям и вентиляционным шахтам в поисках жертв: крыс, домашних питомцев... младенцев, если повезёт. Вечно голодные. Так их описывал Янковский, будь он трижды неладен.

Слабое дребезжание справа. Женя уронила взгляд. Во втором оконце, расположенном ближе, плясали, точно кобры под дудкой факира, бледные руки. Узкие ладони лизали стекло. Женя отняла ладони ото рта и закричала – безмолвно, как растерзанная кошка, испускающая дух среди увядших цветов. Ставня приподнялась с призрачным скрипом, и руки выплеснулись на газон. Одна, две... пять, поползли – кобры, наконец прикончившие надоевшего факира; слишком длинные, неестественно гибкие. К ней. К Жене.

Она сорвалась с места и понеслась к дому со всех ног сквозь чёрное безлюдье. В голове, ставшей чужой, отсчитывались вешки: дом, дом, водокачка, детский сад с чередой прутьев забора. За забором – горки-слоники, теремки, днём весёлые, ночью зловещие, как входы в бункер на случай ядерной войны. Над ними с крыши на крышу сигала круглая, темнее неба, тень – паукоподобная, многотонконогая, испускающая смрад ветхой тряпки, закутанная в обноски; шнопок грачиным клювом торчит из-под платка. Бабка Ча-

па, ещё одна тварь из бестиария Янковского – монстр, под хламидой которого скрывается огромная, через всё тело, до самой морды, скисшая вагина, в которую он

(она)

запикивает незадачливых мужчин, чтобы в утробе обратить вспять их взросление, превратить в головастика-эмбриона, расщепить на яйцеклетку и отвергнутый сперматозоид. Коготки бабки Чапы барабанили по крышам теремов, по горке, по турничкам и лесенкам, как промозглый дождь.

Женя неслась.

Гаражи, перекопанный пяточок двора. Что-то огромное и нескладное ворочалось на дне ямы, силясь распрямиться – очередное порождение большой фантазии писателя. Сливание? Человек-палочник? Ржавый дедушка? Чудища и уроды изблёвывались в реальность со страниц окаянной книги, дарованной Жене смертельно больным автором. Будто сам его недуг питал их существование... а может, так Янковский обретал новую жизнь – в иной, порождённой его воображением форме.

Женя взлетела к подъездной двери и беспомощно забила в неё, будто дом мог обещать спасение от кошмаров. Стрекотала лампочка над головой, выплёвывая бледный горчичный свет. За спиной сопела, ворочалась, цокала, подползала тьма. Женя опомнилась, запустила руку в сумочку, колотящуюся о бедро. Будь Женя героиней одного из рассказов Янковского, она бы выронила ключи – так тряслись её паль-

цы. Обошлось – чудом. Она прижала ключ к панели домофона. Вместо привычного пиликанья тот откликнулся молчанием.

Хрум, шурх, крак, уфф – сзади.

Она опять прижала ключ к панели, и на этот раз успешно. Домофон взблекотнул, сжалившись. Женя ввалилась в подъезд, налегла на дверь, отсекая сгрудившиеся у порога звуки. Помчалась через ступеньку, не дожидаясь лифта.

В одном из рассказов Янковского лифт привёз героиню в «Мир наоборот». Говоря попросту, в ад.

– Вы, – констатировал Янковский, нимало не удивившись.

– Здравствуйте, – зарделась Женя. – Простите, что так вот заявила... Ваш адрес был в нашей базе данных, и я... – Она сделала неопределённый жест и заметила, что пальцы дрожат. – Мы можем поговорить? Это касается ваших историй. Пожалуйста.

– Входите, раз пришли, – невозмутимо пригласил писатель, открывая дверь квартиры шире и впуская гостью. Верный стилю, он был облачён в чёрную, с иголки, рубашку и отутюженные чёрные брюки. Будто и впрямь ждал гостей. Однако, опустив глаза, Женя увидела, что Янковский бос. Длинные пальцы ног казались по-обезьяньи цепкими.

Ни слова не говоря, Янковский скрылся в глубине прихожей. Женя поспешно скинула кеды и нагнала его уже в комнате, где пахло кофе (сильно) и сигаретами (слабо).

Жилище писателя повергло её в лёгкое восхищение, на миг заставив забыть причину визита. Женя точно очутилась в крохотном музее. Одну стену заслонял вздымающийся к потолку книжный шкаф тёмно-вишнёвого дерева. На противоположной стене, над софой, красовалась старинная – или стилизованная под старину – карта мира. Морские змеи обвивали континенты, чьи очертания имели лишь отдалённое сходство с реальными, Австралия отсутствовала вовсе. Третья стена была увешана экспонатами: насекомыми в рамках, губастыми и лобастыми масками, папирусами, полочками с окаменелостями, минералами и колбами, в которых скрючились заспиртованные гады, и прочими чудами. Один угол кабинета занимала стереосистема, похожая на макет небоскрёба. Рядом примостилась подставка для пластинок; коллекцию винила венчал пинкфлойдовский *The Division Bell*. Угол у окна облюбовал мини-бар в виде глобуса. А посреди этого великолепия высился алтарь, святая святых: письменный столик с работающим ноутбуком. Букашки букв облепили верхнюю половину экрана. Слева от ноута лежал исписанный блокнот, по правую сторону уютилась чашка. Рядом с ней – серебристая упаковка таблеток, почти целиком использованная.

– Могу уделить вам десять минут, – сказал Янковский. – Прошу.

Женя попыталась сосредоточиться среди головокружительного обилия музейных вещей. Взгляд блуждал от камин-

ных часов из слоновой кости к катане в ножнах, от катаны – к пластинке Pink Floyd. Заготовленные слова растерялись. Янковский, сложив руки на животе, флегматично ждал, и сам напоминая экспонат.

– Не знаю, как начать! – призналась Женя со вздохом. – Ваша книга... С тех пор, как я её прочла... То, что в ней описано, происходит на самом деле!

Янковский вопросительно выгнул бровь.

– Не заимствования из окружающей действительности, – Женя понимала, как неуклюже даются объяснения, – а буквально. Та рожа, нарисованная, помните?

– Кусака.

– Он. – Женя нервно оглянулась, будто граффити могло возникнуть на одной из стен. – Он мне постоянно попадает. Нет... преследует. Как в рассказе! Подбирается, понимаете? Сперва я увидела его в сквере... нет, на машине, которая потом упала с моста. В сквере потом. Дальше – в подземном переходе. А утром он появился на заборе в моём дворе. Я могу видеть его прямо из окна! Вот! – Она достала мобильник, отыскала свежий снимок и протянула гаджет Янковскому.

– Похож, – отметил Янковский, изучив фото. – Весьма. Я так его себе и представлял.

Он наморщил лоб.

– Это легко объяснить, – продолжил писатель знакомым лекторским тоном. – Кто-то прочёл мою книгу и заигрался

настолько, что стал малевать Кусаку повсюду. То, что граффити появилось у вас во дворе, неудивительно. Город маленький. Это совпадение.

– Но старые рисунки исчезли. Про тот, который в переходе, не знаю, но который из сквера – его больше нет! А в переходе не просто граффити – изображение выложено из мозаики. Из мозаики! Кусака настоящий!

Янковский вернул ей мобильник. Женя отметила, что писатель – намеренно или нет – избегает касаться экранчика, с которого скалил зубы нарисованный страшила.

– У вас осталось... – Янковский сощурил глаза на часы из слоновой кости, – шесть минут. Впрочем, если добавить больше нечего...

– Я видела не только Кусаку! – Женя всплеснула руками. – Люди подвала! Эта старуха-паучиха с дурацким именем, Чапа. И Слияние! Они существуют и они гнались за мной! Моей начальнице обглодал лицо хахаль, совсем как в «Ночном randevу». Ваши монстры реальны, и вы должны прекратить это, и, и...

Начиная всхлипывать, Женя вытащила из сумочки сложенный вчетверо листок.

– Они висят с утра, – выдохнула гостья, протягивая листок Янковскому. – Гляньте.

Янковский принял подношение. Развернул: объявление. Женя продолжала видеть его на экране памяти: «Оля Кропотова... Двенадцать лет... Не вернулась... Была одета в си-

нюю кофту и чёрные джинсы... Всех, кто видел... Просим сообщить...».

Если в очках писателя и отразилось подобие замешательства – или тревоги – оно было слишком мимолётным, чтобы Женя могла разгадать выражение.

– М-м, Евгения, – протянул Янковский, и внезапная вспышка ярости к этому упёртому, рациональному, как учебник физики, болвану, ошеломила её. – Вы же понимаете, что моё, м, творчество не имеет ни малейшего касательства к исчезновению этой девочки. Если вы, конечно, не обвиняете меня в её, м, похищении...

– Вы что, меня не слышали?

– Нет, теперь послушайте вы! – Писатель возвысил голос и предостерегающе выставил ладонь. – Послушайте себя. Монстров не существует. Я их выдумал. Они невозможны. Если они где-то обитают, то здесь. – Он постучал себя пальцем по межбровью. – Или...

Янковский красноречиво умолк, предоставляя Жене возможность додумать, в чьей ещё голове могут водиться чудища.

– Вы очень впечатлительная натура, – закончил он мягче. – Уверен, девчушка отыщется. Целая и невредимая.

Янковский вернул Жене объявление.

– Вы говорили... – потерянно залепетала она, – что ваши сюжеты приходят извне. Вы их как... раскапываете.

– Ну это же образ. Он справедлив для любого автора, –

снисходительно заметил Янковский. – Но герои их книг не бегают по улицам. В противном случае на что бы стал похож наш мир?

«Не бегают, – согласилась Женя про себя. – Если только речь не о твоих рассказах»

Её взгляд упал на блистер с таблетками, лежащий на столе.

– Ваши головные боли, – произнесла она, огорошенная новой догадкой. – Вдруг связь кроется в них?

– Хотите сказать, мои рассказы помогают монстрам с «Той стороны» прорываться в наш мир, потому что у меня, м-м, некие сверхспособности? А головные боли – их побочный эффект?

– Да. Да! И если вы покажитесь врачу...

– Я был у врача. – В голосе Янковского прорезалась горечь. – Это опухоль. Неоперабельная.

Женя ахнула. Янковский задумчиво подобрал со стола таблетки.

– Аскофен. Глушит боль. Не так эффективно, как бы я хотел. И дозировку превышать нельзя. Это вредно. Ха, ха.

– Боже, вы... Мне так жаль... Так жаль.

– Год, полтора или несколько недель. – Янковский положил таблетки обратно. – Никто не знает. Знаю лишь, что дорога каждая минута. Кстати. У вас осталась одна.

Женя потерянно шевелила губами, точно пробуя слова на вкус и отвергая их. Янковский наблюдал.

– Остановите это, – сказала она на исходе последней отведённой ей минуты.

– Даже будь это правдой – что, разумеется, не так, – я не знаю, чем тут можно помочь.

– Вы должны прекратить писать! – воскликнула Женя.

Янковский запрокинул голову и – о чудо – расхохотался.

– Никогда, – отрезал он, отдышавшись. Кивнул на каминные часы. – Попрошу вас уйти. Был рад знакомству.

– Это всё опухоль, ваша опухоль, – горячечно бормотала Женя, комкая в ладонях объявление, липкое от клея. – Она как антенна...

– Или ваш «ведьмин глаз», – жёстко парировал Янковский. Его тонкогубый рот провалился во падину меж двух одеревенелых складок. – Или дух Элвиса Пресли. Идите!

Её взгляд обратился к алтарю писателя – столу с ноутбуком, раскрытым, словно ларь, полный проклятых сокровищ и бед, дождавшихся своей Пандоры. Писатель перехватил взгляд и понял. Его лицо вытянулось. Женя рванулась к столу.

Янковский оказался проворней. Он сграбастал её сзади, крепко, до хруста в рёбрах. Его руки словно состояли из десятка стальных сочленений, её же руки беспомощно зачерпнули воздух в полуметре от монитора. Жалкий крик вырвался из стиснутой груди Жени. Янковский отбросил гостью прочь легко, как ветошь. Женя впечаталась в шкаф плечом. Оно враз онемело.

Писатель ринулся к ноутбуку, пытаясь то ли заслонить собой, то ли убежать с ним в безопасное место. Женя так и не узнала, зачем. Она схватила первое подвернувшееся под руку – каминные часы – замахнулась – в шею вбуравила боль – и обрушила на затылок хозяина квартиры.

Треснуло, будто на мраморную столешницу шваркнули изрядный шмат мороженого масла. Писатель споткнулся. На подломившихся ногах прынул вбок. Попытался обернуться, и Женя успела взмолиться, чтобы этого не произошло. Часы выскользнули из её пальцев и, грянувшись об пол, разлетелись вдребезги. Писатель патетично воздел руку, сиюсь дотянуться до алого кратера, разверзшегося на месте макушки. Ошмётки кожи и слипшихся волос повисли вокруг зияющей раны, а в ней самой клокотал серый, с желтизной, студень. В охваченной жаром голове Жени пронеслась дикая мысль, что рана не смертельна и всё ещё можно исправить.

Тут писатель рухнул, словно поваленное ветром огородное пугало, ударился плечом о софу, перекатился на пол и замер на боку с выражением крайнего изумления на лице. Очки сорвались с носа, линзы разлетелись. Чёрная жижа лениво поползла по паркету из-под головы Янковского, и трусливая надежда Жени испарилась.

– Господи! – пискнула она, бухаясь на колени. Поползла к Янковскому. Сама не осознавая, что творит, простёрла руки к телу, к голове. Пальцы, коснувшись затылка, встретили неестественные изломы, погрузились в сочное, упруго-по-

датливое. Женя шарахнулась назад и, по-прежнему не отдавая себе отчёта, прижала ладони к губам в неодолимом ужасе и горе. Отдёрнула, ужасаясь ещё пуще, но на язык успел просочиться солёно-терпкий вкус медяков.

«Я убийца». Обжигающее откровение расцвело в её бездонно-пустеющем сознании.

– Простите, – проскулила она.

«Глупейшая реплика, – говорили отстранённые глаза писателя. – Я никогда не вставил бы такую в рассказ». Без очков Янковский казался голым и беззащитным. По его подбородку вязко потянулась капелька слюны. Пахло сладковатым, тёплым, масляным, и где-то под потолком деловито жужжала муха.

И ещё какой-то звук. Даже не звук – ритмичная вибрация, словно не мозг обнажил Женин удар, а сердце. Превозмогая страх, она подалась вперёд и заглянула в рану.

Под облепленным волосами и похожим на раздавленные ломти рыбьей печени веществом мозга пульсировало нечто. Будто паук, стремящийся вынырнуть из вязкой слизи и клокочущей крови. Писатель умер, но эта штука в его черепе продолжала жить. И, как любое живое существо, имела свои потребности.

Глаз Жени – тот самый, *ведьмин* – откликнулся на пульсацию вспышкой боли. Словно невидимые опалённые пальцы проникли в глазницу, сжали комок содрогающегося желе и выкрутили. Она неловко поднялась, и окостеневшие ноги

отозвались мучительным зудом. Надо бы вызвать медиков или полицию, понимала Женя. И она обязательно это сделает. Только закончит куда более важное дело.

Экран ноутбука горел ровным матовым светом. *Заманчивым*. Она переступила через труп и приблизилась к алтарю писателя. Прищурилась. Букашки-буковки, мельтешившие в млечной глубине, выстроились в стройные ряды текста:

лишь отдалённо напоминала человеческую. Даже тьма, её окутывающая, не могла обмануть. От груди и выше она – оно – было обожжено, как дерево после пожара. Чёрная растрескавшаяся кожа хлопьями осыпалась к ступням кривых лап. Расставленные в локтях руки оканчивались головешками, из которых торчали заострённые, будто заточенные, серые кости. Голова – обугленный бурдюк с выжженными глазницами, промеж которых багровела мизерная, не большие монетки, дыра. Из неё безостановочно и тягуче стекала алая струйка крови. Но эти подробности меркли перед той, что дала этой бредовой, кошмарной твари имя.

«Крысиные Зубы», – обдало, как кипятком, Иру.

Крысиные Зубы. Пара резцов, здоровенных, как разделочные ножи, и жёлтых, как клавиши рояля, разрывали вечно голодную пасть, отчего голова

Женя уселась в кресло. Оно оказалось привычно-уютным,

точно лишь её и ждало. Опустила пальцы на клавиатуру. Оставляя на ней кровавые разводы, продолжила:

*демона запрокидывалась за костлявые пики плеч. Но ни положение головы, ни слепота, знала Ира, не мешали исчл-
дию её видеть.*

*Подтверждая догадку, Крысиные Зубы выпрыгнул из
мрака тоннеля и вскачь, то на задних лапах, то сразу на
четырёх, устремился к ней.*

И замерло время, как замерли разбитые каминные часы. Пальцы, поначалу неуверенно пробующие клавиши, набрали темп и вскоре порхали, как кровоточащие мотыльки. Подвластные зову, просыпáлись на экран буквы. Мир вне крошечного пространства вокруг алтаря прекратил существовать. Растворились окна, стены и всё, что за ними: озадаченные возгласы, переходящие в крики, истеричный вой сирены, прокатившийся с севера на юг, кашляющие хлопки выстрелов. Не имела значения боль, закручивающаяся вокруг «ведьминого глаза», просачивающаяся в мозг, как не имели значения и синие, резкие, точно сварка, вспышки, заплывавшие в голове, едва Женя осилила свою первую десятку страниц. Ломота, стянувшая запястья колючей проволокой, пузыри мозолей, вскипающие и лопающиеся на кончиках пальцев, её собственная кровь, которую впитывала клавиатура – всё мелочь, всё пыль и ничто. Роман – вот единственное, что

имело значение, что наполняло смыслом возглас Янковского: «Никогда!». Остановиться? Кошунство!

– Никогда, – шептали пересохшие губы Жени. На другом конце города очнувшаяся от наркоза Сюзанна Матвеева визжала, терзая ногтями кокон из бинтов, в который превратилась её голова.

– Никогда. – Бронированная машина увозила в секретную правительственную лабораторию гору растёкшегося по кузову клыкастого студня – бойфренда Сюзанны.

– Никогда. – Сидящая на унитазе Олька Аверченкова с растущей тревогой вслушивалась в шорохи, идущие, казалось, из самих стен, будто змеи протискивались между перекрытиями – нескончаемые, извивающиеся, бледные. С пальцами вместо голов.

– Никогда.

Минули часы, недели, годы, когда Женя оттарабанила капслоком КОНЕЦ и оторвала от монитора ороговевшие волдыри, в которые превратились глаза. За окном занимался серый рассвет. Тридцать девять страниц – и она выжата; хуже – использована и выброшена. Вместо рта – пустыня Гоби. Женя потянулась к чашке писателя, где ещё оставалась вода, но та шарахнулась от распухшей клешни, покрытой подсыхающими и свежими выделениями из лопнувших мозолей, свалилась со стола и разлетелась вдребезги. Вопящий от боли глаз – «ведьмин», – казалось, разросся, как у циклопа,

и заполнил всю черепную коробку. Синие вспышки долбили беспрерывно, ядовитой светомузыкой озаряя растрескавшиеся костяные своды, где прежде возлежал мозг. Зато бие-ние, которое исторгалось из разбитого затылка Янковского, смолкло. Будто остановилось оголённое сердце.

«Опухоль – антенна», – предполагала она.

«Твой «ведьмин глаз», – возражал Янковский.

«Их сочетание, – восхищённо осознала она. – Как ключ и замбк. Мы повернули ключ и распахнули врата в... нечто. В Ту Сторону»

Она выползла из-за стола, неуклюжая, как вернувшийся на Землю космонавт. К горлу подкатил комок, и минуту она стояла, вцепившись в спинку стула: глаза закрыты, под веками – грозовые каскады вспышек. Когда тошнота отступила, Женя разлепила веки и заковыляла к выходу, раскинув искалеченные руки. Будто заново училась ходить.

На тело писателя она не взглянула.

Город затянуло седым туманом, и Женя плыла в нём, безучастная, как шлюпка без гребца, затерявшаяся в водах неизведанного океана – того, что был изображён на карте в кабинете Янковского. Туман накатывал волнами, как бесцветный студень... как пульсация в ране на голове писателя, и эта пульсация погружала в дрёму. Женя сомнамбулически продолжала плыть. Иногда на пути попадались предметы, неуместные там, где она их заставляла. «Вольво», перегородивший тротуар поперёк, дверца водителя открыта,

а салон набит сырым чернозёмом, из которого топорщатся гроздья поганок. Или детская коляска на газоне – под надвинутым козырьком что-то ворочается и сочно чавкает. Женя равнодушно плыла мимо. Одно время что-то тёмное и громадное бесшумно двигалось в тумане на границе видимости, одесную её, но возле дома отстало.

Лифт не работал. Женя отупело поволокла себя по лестнице. Кровавые пунктиры, которые оставляли на перилах ладони, отмечали её восхождение.

Кусака поджидал на стене у мусоропровода. Пунцовый, будто обваренный кипятком язык, янтарные кругляши радужек в безумной голубизне глаз, вертикальные щёлки зрачков. На месте рта – пилорама.

– Времени не терял, – просипела Женя заржавевшим горлом древней колдуньи.

Кусака хранил молчание. Его ухмылка была красноречивей слов.

– И что ты можешь? – каркнула Женя. – Заплюёшь меня краской, нарисованный кусок говна?

Глаза Кусаки тягуче, натужно поползли по стене. Нашли Женю и замерли, изучая. Женя показала живоглоту фак – лоскуты лопнувшей кожи свисали с подушечки пальца – и поплелась к себе на этаж.

Вот и квартира. Трижды уронив ключ, Женя, наконец, смогла затолкать его в замочную скважину. Ввалилась в прихожую и окунулась в новые, чужие запахи. Сырая штукатур-

ка, плесень... и пепел.

Пускай.

«Ключ и замок», – твердила она про себя, пробираясь на кухню. «Ведьмин глаз» и опухоль», – на репите, когда глотала из чайника воду со вкусом песка. Напившись, подставила изувеченные кисти под кран. Сток с чавканьем всасывал нежно-розовую жижу.

Желудок скрутило. Женю вырвало в раковину тёплой водой с желчью. Сток алчно сглотнул.

Не закрыв кран, Женя в пространии – мокрый рот, отсутствующий взгляд – опустила на табурет. Бесконечно долго наблюдала за звуками, доносящимися из комнаты, что служила ей одновременно гостиной и спальней. Там кто-то двигался. По стенам, по потолку.

Пускай.

Накопив толику сил, погрузила руку в сумочку и нащупала смартфон. Извлекла на свет. Скользящим указательным пальцем с треснувшим ногтем выстукала пароль и ткнула в значок «Телеграма». На канале Красного Сталкера появилось новое послание, состоящее из нескольких постов. Чтобы вникнуть в смысл, Женя прочла его дважды.

Сталкер витийствовал в своей вычурной манере.

Итак, котятки, вот и наступает конец моему уютному бложеку, а заодно и всем вам. Потому совет: отложите девайсы и проведите оставшееся время с близкими, доделайте недоделанное, скажите невысказанное, а кто верую-

щий – покаяйтесь. Тот, Кто Ворвался В Наш Мир, как я его называю за неимением подходящего имени, неуничтожим, неостановим и ненасытен. Ещё он, похоже, вездесущ, как Дед Мороз, который за ночь обойдёт все дома в стране и побывает на кремлёвской ёлке. Только подарков у него не припасено. Зато имеются огромные зубы, большие морды, которой, по сути, нет. Вы не спутаете, если увидите. КОГДА увидите. Берите билет на поезд, летите самолётом, прячьтесь в бункере, у кого он есть. Может, выиграете день-другой. Может, нет. Тот, Кто Вырвался, придёт.

Ты всё ещё со мной, драгоценный читатель? За такую преданность я тебя вознагражу. Я открою тебе свой секрет. Тебя ведь интересовало, как я узнаю подноготную тёмных страниц жизни нашего городка? Тогда внимли!

С месяца назад у меня из груди выросла ручка, точь-в-точь как у бабушкиного радиоприёмника. Я проснулся, и вот она, заместо соска. Ладно бы волосы на ладонях, я бы понял, но почему ручка? Поначалу я даже расстроился, но скоро открыл массу преимуществ такой ретро-киборгизации. Стоило покрутить ручку, как я начал улавливать переговоры из закрытых каналов связи местных спецслужб. ФСБ, полиция, медики – всё, что обсуждали они, знал и я. И делился с тобой, мой дорогой читатель-почитатель. Ибо я за максимальную открытость.

Коль всему конец, я решил на деанон. Разреши представиться! Валентин Ролдугин, wapnabe-журналист, бло-

гер-инвалид и Ванга поневоле. Жаль, не узнаю, кто ты, но буду считать, что хороший человек. Засим прощаюсь! Долгие проводы – лишние слёзы, а я бы ещё хотел успеть выкурить сигарету. Лав энд пис. Все там будем.

К последней части послания было прикреплено селфи. Детское личико, нежные, как пух, белесые волосёнки. Россыпь карминовых пятен на бледном, как из теста, лбу. Глаза по-прежнему грустные, хоть несостоявшийся Женин кавалер и силился улыбнуться. Инвалидное кресло не попало в кадр, но перекрученная рука была видна хорошо. Из растёгнутой рубашки сдобно белела грудь, а из груди торчала серая ребристая ручка с насечками. Кажется, пластмассовая. И правда, заместо соска.

Женю затрясло в конвульсиях беззвучного хохота, похожего на икоту. Вот-вот разорвёт от смеха – рёбра раскроются, как тропический цветок, парные внутренности вывалятся на колени. Эта мысль вызвала у неё новый приступ развешёлой агонии. Слюна побежала с идиотически отвисшей губы.

Женя вонзила смартфон в сахарницу и похромала в гостиную-спальню – на скрежет шагов по осколкам и трепетание сквозняка. Ещё не дойдя до комнаты, знала, что утренний гость идёт навстречу. Лиолеум вскипает, тает стекло под вывороченными когтистыми ступнями, хлопья сажи оседают на колючие плечи, как перхоть прбклятого. «Ведьмин глаз» бьётся, словно яйцо с безобразным птенцом. Разряды

кобальтовых молний пронзают голову.

В дверях Женя и гость встречаются. Красный Сталкер называл его Тем, Кто Ворвался В Наш Мир, но Жене – единственной на Земле – известно настоящее имя.

«А зубы и впрямь больше морды», – успеваешь подумать она.

И взрывается безудержным гогогом прямо в пышущую жарким зловонием, наполненную пеплом, что твоя печка, надвигающуюся пасть чудовища, из которой костяным навесом вздымаются крысиные резцы.

2021

Новогоднее (не)настроение

– Андрей Захарович.

Мальцев поднял отяжелевшую от воспоминаний голову. Последние полчаса он пытался спрятаться от мира со всеми его приметами неумолимо надвигающегося праздника, притворяясь, что читает изменения к учебному плану. Он осторожно глянул из-под очков на Веру Ликсутину, хлопчущую в учительской. Воспоминания душили, не торопились отпустить.

– Ну разве не сказка? – Вера водрузила на верхушку искусственной ёлочки серебряный шпиль и слезла со стула. В растянутом свитере и вельветовых брюках она напоминала белку, сытенку и деловитую. Подле суетилась дочка Веры, Лада. Маленькая помощница.

Мальцев вежливо покивал.

– Конечно, не чета городской ёлке, – добавила Вера извиняющимся голосом. – Но нам хватит. Да, Ладочка?

– Здорово у нас получилось, мам! – звонко воскликнула девчушка, обнимая Веру за ногу. Мальцев невольно улыбнулся. Лада заметила и спросила: – А вы пойдёте на ёлку, дядь Андрей?

«Кроха, кроха, жизнь не всегда будет сказкой». Он снова улыбнулся, на этот раз вымученно.

– У меня уж возраст не тот. Покушаю, телевизор посмотрю.

рю и на боковую.

– В Новый год можно не спать. Да, мам? – Лада запрокинула головёнку.

– Это уже как дядя Андрей... как Андрей Захарович решит.

– Но ведь грустно же.

«Ей столько лет, сколько было Карине», – подумал Мальцев. Воспоминания снова всплывали на поверхность, как кракен в облаке чернил, и он отпрянул от разверзшейся пучины, отбежал по берегу, но недалеко – и ненадолго. В конце концов он вечно возвращался к линии прибора.

– Что прицепилась? – одёрнула девочку Вера. – Достань лучше «дождик». Господи, праздник через неделю, а у нас не украшено!

– В туалет хочу! – заявила Лада. Вера со смущённой миной взглянула на Мальцева: мол, ребёнок, что взять?

– Беги, быстро. Налево в конце коридора. Помнишь, где лево?

– Рабочая рука, рабочая рука! – выпалила девочка. Она была левшой. «Смышлёная», – подумал Мальцев. Через год ей предстояло пойти в первый класс, где он станет учить её предмету «Окружающий мир». Если школу не расформируют, конечно. Тут Мальцев, которому оставалось два года до пенсии, насупился. Из Раутаои до города сорок минут автобусом. Двадцать, если старенькая «Нива» не подведёт. Да и бензин нынче на вес золота. Мальцев помрачнел пуще преж-

него.

Лада выскочила за дверь.

– Руки помой! – крикнула вслед мать. – Шило.

– Ёлочка славная, – похвалил Мальцев Веру за труды. – Я просто далёк от этого всего, вы же знаете.

Вера запустила руки в пакет с мишурой и вывалила на стол спутанный искрящийся ком.

– Моя бабушка, царствие ей небесное, говорила: если новогоднего настроения нет, надо его себе создать.

«И мы так говорили, – Мальцев мысленно вернулся к предновогоднему вечеру тридцатилетней давности. – Это не работает. Больше нет»

Вера истолковала его понурость по-своему:

– Вы не из-за Артёмчика ли?

Мальцев и думать забыл про Артёмчика, хотя с тех пор, как вернулся в Раутаю, постоянно видел его по пути в школу. Улыбаясь во весь рот, полный тёмных неровных зубов, юродивый подходил на шаг-другой, потряхивал банкой для подаяний и мяукал: «Привет». Мальцев ходил одной дорогой сотни, тысячи раз, его волосы седели, спина сутулилась, глаза теряли блеск, а Артёмчик оставался юным: рассеянный ребёнок, заблудившийся в теле взрослого.

Перед рассветом его замёрзшее тело нашли на обочине. Мальцев видел отъезжающую «скорую», когда шёл на работу. Сейчас его воображение дорисовало картину: лицо несчастного утонуло в сугробе, а черногубый рот набит сне-

гом. Подле – опрокинутое ведёрко с заиндевелой, нетруной мелочью.

– Бедненький. – Вера покачала головой. – Когда я проходила мимо, он всегда говорил: «Ты красивая». Теперь уж не скажет. Господи, господи...

«Что говорил он мне в последний раз? – подумал Мальцев. – «Ты красивый»? Вряд ли. Что-то...»

Что-то про ту ель, которую водрузили на площади у парка. Учитель прикрыл глаза, вспоминая.

– Привет, – ухает попрошайка, подпрыгивая, как воробушек. Идущий мимо Мальцев борется со скупостью. Это вечная битва с непредсказуемым исходом. До получки ещё четыре дня, в кармане – вошь на аркане, потому сегодня побеждает скупость.

– Извини, Артёмчик, в другой раз, – оправдывается он, сильнее вжимая голову в плечи и ускоряясь. Тогда чудик бросает ему вслед предостережение.

– Не ходи на ёлку. – Мелочь в банке брякает, точно льдинки... но Мальцев по неизвестной причине представляет пригоршню выбитых зубов. – На ёлку не ходи.

– И в мыслях не держал, – бурчит Мальцев и тотчас забывает о предупреждении. Кого заботят слова юродивого? Суеверных старушек, а Мальцев в сказки не верит. Давно.

Учительница тем временем погрузилась в меланхолию.

– Артёмчик любил праздники. Как Новый год, он вокруг ёлки пляшет, смеётся... Забрал Боженка под праздники и

прямо в рай.

– Говорят, морозы усилятся, – невпопад заметил Мальцев и поправился: – Вы прям приуныли. вспомните вашу бабушку: сами создавайте себе новогоднее настроение.

– Вот и вы дома не сидите. Приходите к парку, ёлка у нас в этом году – красавица. Воронов расстарался. Мне рассказывали... – Она понизила голос. – Не из лесхоза он её подтянул.

– А откуда? – спросил Мальцев приличия ради.

– Пожары были с лета до осени, помните?

– А то. Аж финнов прокоптили.

– Вот эту ёлочку как горелую и списали.

– Ловкач этот Воронов, – покачал головой Мальцев. – Куда мы катимся?

– Ну раз уж так случилось... Приходите, в общем!

– Поживём-увидим, – уклонился Мальцев. Разумеется, никуда он не пойдёт. В новогоднюю ночь его ждала шахматная партия с самим собой, поминальные сто грамм и воспоминания. Фотография Карины в изрезанных морщинами ладонях и безмолвные слёзы, которые можно не скрывать.

И которые никого не касались.

– Ну как вы вешаете? – проворчал он запутавшейся в «дождике» Вере. – Смотреть больно. Дайте я уж.

По коридору прокатился топоток быстрых ножек и в учительскую влетела Лада.

– Андрей Захарович пойдёт на ёлку! – порадовала её мать. Мальцев скрипнул зубами: только с пистолетом у затылка.

– Ура! – подпрыгнула Лада. Покопалась в кармане и выудила мандарин. – Угощайтесь, дядь Андрей.

Мальцев принял подарок. Мандарин был солнечным, нагретым. Как в далёком детстве, Мальцев поднёс жаркий плод к лицу и вдохнул сладко-горький аромат.

Запах праздника, столь же горько им ненавидимого.

– Спасибо, милая, – сказал Мальцев, надеясь, что никто не заметил, как дрогнул голос.

Они закончили украшать кабинет в девятом часу. Мальцев не стал дожидаться, когда Вера с Ладой оденутся, распрощался и спустился в утонувший в густых тенях безлюдный холл. За порогом школы опять вспомнил про Артёмчика. Выйти наружу – как космонавту очутиться в космосе, чёрном и мёртвом. Стужа не замедлила вцепиться в лицо шершавой пятернёй, сграбастала за грудки, устремилась под шарф. Воздух пах сталью. Отсюда, со школьного крыльца, Мальцев мог видеть поворот, где нашли несчастного побирuşку. Прошлой ночью ударил мороз в двадцать градусов, и, если верить синоптикам, сегодня Раутаю ждало повторение.

У Мальцева не было причин им не верить. Клубы пара, которые он выдыхал, казались твёрдыми. Они плыли в ночи искрящимся инеем.

«Не ходи на ёлку», – увещевал Артёмчик.

Неожиданно для себя Мальцев почувствовал упрямое,

сердитое, даже капризное желание поступить наперекор. Где-то на границе рабочего посёлка торжественно высилось праздничное дерево, нарядное, сверкающее огнями, как ракета на старте; вздымалось в угольное небо, предвкушая ликующих гостей. Пережившее Карину на тридцать лет и торжествующее победу.

Его давний, лютый враг. Мальцев представил, как подступает к нему с топором в руках, отчаянно, решительно, чтобы проверить, чья возьмёт на этот раз.

Он сунул кулаки поглубже в карманы дублёнки и зашагал в противную от дома сторону – к парку. Снег скрипел под ботинками, как толчёное стекло. Одноглазые фонари роняли на сугробы световые пятна цвета заживающего синяка.

До парка – минут десять пёхом. Вторую половину пути Мальцев, потеряв терпение, преодолел едва не бегом. Студёный воздух врывался в горло, вспарывал гортань. Мальцев перестал замечать это, когда домишки расступились и показалась ёлка. Иллюминация превращала её в затонувший НЛО. Мальцев сбавил шаг, но не остановился.

Перед взором разворачивались новые подробности. Вот столбы с репродукторами, похожие на воткнутые в наст гигантские сгоревшие спички – выстроились в почётном карауле вдоль аллеи и набирались сил, чтобы утром грянуть: «Расскажи, Снегурочка», «Три белых коня» и прочий новогодний вздор. Под столбами жались друг к дружке озябшие киоски. Надписи на дощечках сулили желающим глинтвейн,

какао и блины, но ставни оконце были закрыты. Большущая горка, в темноте напоминающая слона, ныряла стальным хоботом в снег. За всем этим – антрацитовый частокोल парковых деревьев, окаймляющий площадь по дуге и погружающий её в ещё больший мрак. Только ель светилась болотными огнями гирлянд, и от этой цветомузыки у Мальцева поплыло в голове. Именно тогда внутренний голос впервые шепнул ему поворачивать назад.

Мальцев, конечно, послушался.

Враги сходились, и ель вырастала, заполняя всё видимое пространство – влево и вправо, вверх и вниз; вздорная барыня, нарядная и пышная. Ненавистная. Да, глупо ненавидеть символ Нового года, но пересилить себя Мальцев не мог. Не хотел. К ненависти примешивалась жгучая обида, и губы сами, как давным-давно, вышёптывали: почему? почему?

Резиновый Дед Мороз, попирающий пирамиду бутафорских подарочных коробок, пустых, как несбывшиеся надежды, беспомощно улыбался его немым вопросам. Отблески гирлянд ползали по щекам куклы, будто призраки слепцов ощупывали нарисованный румянец, пытаясь вспомнить, что есть цвет. Днём Дед Мороз наверняка выглядел добродушно. Сейчас же у него было лицо лунатика, очнувшегося среди глухой чащобы: потерянное и испуганное. Ель обнимала резинового волшебника угольно-чёрными лапами – то ли утешая, то ли пытаясь задушить.

– Ты не волшебник, – выплюнул Мальцев облако пара. –

Лживый кусок дерьма, вот ты кто.

Тридцать лет назад перед другой ёлкой и другим Дедом Морозом, в больничном холле, под бой курантов Мальцев загадал желание. Шампанское в больнице запрещалось, поэтому он разломил припасенный мандарин и съел, дольку за долькой. Нелепый поступок отчаявшегося взрослого, но когда твоя дочь лежит с пневмонией, опутанная капельницей, словно щупальцами, кто дерзнёт пенять?

Не помогло. Наутро Карины не стало. А Дед Мороз со своей проклятой ёлкой – вот они, здесь, пожалуйста. Даже выросли за тридцать лет, заматерели. Будто питались несбывшимися – неисполненными – желаниями.

Мальцев сделал ещё шаг. Теперь он мог бы, протянув руку, коснуться еловой лапы – да не было такого порыва. Горько, весомо пахло хвоей. Хвоей и... чем-то ещё. Мальцев вдохнул глубже. Его зрачки расширились.

Воздух, наполнивший грудь, нестерпимо и остро пах гарью.

Перед Мальцевым предстала картина: стена огня безудержно пожирает стену леса, превращая вековые деревья в чёрные скелеты. Бестолково мечутся, сталкиваясь в затянутом смогом небе, птицы с выжженными глазами. Обезумевшее зверье, раздирая шкуру о сучья, прёт сквозь чащу в безнадежном порыве спастись от ненасытного ада, что катится по пятам. Лес, погибая в грохоте пламени, сыплет проклятиями равнодушным карельским богам – а может, кро-

хотным белым двуногим, разлившим бензин и чиркнувшим спичкой.

Мальцев тряхнул головой, отгоняя видение. Гирлянда перемигивалась, точно посылая ему сигналы азбукой Морзе. Мальцев невольно подумал о стылых гниlostных трясиных, сокрытых в непролазных дебрях. Подумал о снующих в бездне мирового океана безобразных рыбаках, которые огоньками подманивают рыбёшек помельче к оскаленным пастям. Отпрянул. Подвернул ступню и взмахнул руками, удерживая равновесие. Пальцы в перчатке чиркнули по протянутой еловой лапе – будто рукопожатием обменялись. По запястью пробежала дрожь омерзения, которую Мальцев уже не мог списать на расшалившиеся нервы.

Что-то не то было с елью. Что-то неправильное.

Потревоженная древесная лапа продолжала раскачиваться, точно пыталась дотянуться. Колыхались ёлочные шары, в которых Мальцев видел себя – распятого и осквернённого. Шары потрескивали на морозе, словно в них царапались, пытаясь проклюнуться, уродливые башкастые птенцы. Покачивание игрушек вгоняло в сон. Мальцев запрокинул голову и увидел, как волны пробегают по болотно-зелёной шкуре. Казалось, дерево дышало. Плотная чернота струилась меж ветвей, принимая зыбкие формы, слишком мимолётные, чтобы их узнать, но от того не менее жуткие.

«Мы можем поладить, – казалось, нашёптывала ель. В воображении Мальцева – хотя сейчас он не был уверен, что

дело в одном воображении – голос ряженого чудища звучал шершаво и вкрадчиво. – Достаточно лишь немного праздничного настроения»

И Мальцев едва не поддался. Как здорово, точно в безоблачном детстве, стоять на морозце под ёлочкой, задрав лицо к небу, ловить ртом снежинки и ожидать чуда. Стоять бесконечно долго. Ждать, когда явится, опираясь на посох из сосульки, Мороз Иваныч и одарит детишек гостинцами. Маленький Андрюша весь год вёл себя хорошо и заслужил награду. Игрушечную железную дорогу!

В беспамятстве Мальцев шагнул к дереву. Втиснул руки в карманы. В правом пальцы нащупали упругий мячик, неведь как там очутившийся.

Нет, не мячик – мандарин. Подарок Лады. Враз вспомнилась другая ёлка. Больничный холл, пузатый телевизор на тумбочке, размалёванный пластмассовый карлик вместо настоящего зимнего волшебника.

Сжимая мандарин в перчатке, пожилой учитель попятился.

– Вот дрянь. – Слова срывались с губ и замёрзшими птицами падали на истоптанный снег. – Лучше бы ты и вправду сгорела. Сукина до...

Еловые лапищи расступились. Тени потекли по стволу, заполняя трещины в коре, и из бесформия выступило лицо. Дуги бровей, некогда наивно-удивлённые, были изломаны agonией, глаза – выпучены, рот с редкими зубами – раззяв-

лен. Из удушающих объятий ветвей на Мальцева тарасился Артёмчик. Никакого «привет» – юродивый беззвучно вопил. Его глотка была забита чёрным снегом.

Мальцев попятился. Ель надвигалась. Сжался в ужасе резиновый Дед Мороз. Мальцев развернулся и бросился наутёк, оступаясь и суча руками. Ледяной воздух хрустальными когтями терзал лёгкие. Под ногами хрустел снег, но Мальцеву казалось, что его настигает громадный, обдающий жаром исполин. С небес колюче смеялись стеклянные звёзды.

Есть ли зрелище комичней, чем старик, убегающий от собственной тени?

Утром тянуло сердце. Мальцев выбрался из-под одеяла, поёжился, сунул ноги в тапки и, кутаясь в халат, прошлёпал на кухню. Тьма ночи нехотя отползала и медленно выцветали синие тени, наполнявшие дом. Взгромоздившись на табурет, Мальцев смерил давление. Повышенное – как он и ожидал. Запил амлодипин водой с корвалолом. Подождал, пока отпустит, неосознанно массируя грудь – живое воплощение поговорки «Старость не радость». Когда тени окончательно поблекли и проступило солнце, Мальцев, продолжая поёживаться, включил радио и взялся стряпать.

Рабочий посёлок Раутаоя был настолько продвинутым, что имел свою радиостанцию. После сбивчивого зачитывания новостей (мир с идиотической целеустремлённостью продолжает скатываться в дерьмо) и прогноза погоды (моро-

зы не собираются ослабевать) ведущий ликующе объявил:

– А для тех, кто в танке, напоминаем, что в Раутаое к празднику установили здоровенную живую ель, и теперь тридцать первого числа все желающие могут встретить Новый год в компании зелёной красавицы! Обещается красочное шоу...

Скривившись, Мальцев шлёпнул по кнопке приёмника. Радио заткнулось. Учитель невольно вернулся к событиям прошлой ночи.

Не мог он видеть то, что, как Мальцев думал, он видел. Зрение давно стало подводить. Хуже, его стала подводить *голова*. Он соображал туго, начал забывать всякие мелочи. *Пока* мелочи. После вчерашнего врать себе не имело смысла: старость бесповоротна и беспощадна. Понимая это, Мальцев не ощутил ни тоски, ни отчаяния. Одно выбеленное, как заснеженное поле, равнодушие.

– У меня есть этот день, – молвил он в тиши кухоньки, нарушаемой лишь тиканьем часов. – Проживи его, а дальше... дальше будет ещё один.

Позавтракав пшённой кашей на воде, учитель напялил телогрейку, валенки, ушанку и вышел во двор. Мальцев жил в собственном домике. Домик был приземистым, кирпичным, со стенами, выкрашенными некогда жёлтой, а теперь выцветшей до молочного цвета краской и трёхскатной крышей, начинающей местами ржаветь. Неказистый, зато свой, дед с отцом ещё строили. Под бочок к домику жался гараж, тоже из

кирпича. Его уже строил отец Мальцева с сыном вместе. В гараже, среди инструментов и солений, отдыхала выдавшая виды «Нива».

За ночь насыпало снежку. Мальцев протопал по нетронуто-белому в гараж за лопатой и, побряхтывая, занялся расчисткой дорожки. Выпало мало – управился быстро. Даже в поясице ни разу не кольнуло. Вернув лопату на место, вышел за ворота. Покрутился – ни души... Ан нет, вон вниз по улице бордовое пятно: дедушка Фадей на своём извечном посту. Отсюда не видать, но, поди, опять покуривает трубочку. Где-то тарахтела снегоочистительная машина. Мальцев прикрыл калитку и отправился поприветствовать соседа. Lumi¹⁴ под валенками похрумкивал.

– Здравия, – отозвался старик на пожелание доброго утра. Одетый в тулуп, с неизменным клетчатым пледом на плечах, Фадей Мичуев и правда курил трубку. Горький дым, касаясь ноздрей Мальцева, бодрил крепче кофе. Таким Мальцев помнил дедушку Фадея всегда: и когда сорок лет назад уезжал в город, и когда пятьдесят лет назад играл с ватагой друзей в казаки-разбойники. Седая, непокрытая ни зимой, ни летом голова, та же трубочка, да и плед, вроде, тот же самый. Вечный и неизменный, как Агасфер, старик неспешно нёс у порога сквозь время вахту, смысл которой был доступен ему одному.

– Замёрзнешь, деда Фадей, – предупредил, щурясь, Маль-

¹⁴ Снег – (карельск.)

цев. Не было нужды говорить громко: сто лет ему было или тысяча, но на слух Мичуев не жаловался.

– В детстве, – завёл Агасфер, затянувшись, – меня удивляло, почему пожилые летом сидят в шубах. Я спросил у Лёши, отчего так, и он сказал: их кровь не греет. Я запомнил навсегда... А у меня по-другому, представляешь? Холод я чувствую. Но мне не зябко. Значит, не подошёл мой час, а?

Мальцев попытался и не смог представить Мичуева ребёнком. Рядом с ним учитель сам чувствовал себя ребёнком, и это казалось чертовски странным.

– Дай бог, – улыбнулся он.

Старик протянул ему трубочку. Продолжая улыбаться, Мальцев отказался.

– Табак выходит, – посетовал дедушка Фадей. – В город не собираешься?

Городом дедушка Фадей называл Суоярви. Мальцев покачал головой.

– До января вряд ли. Делать там... Больше город – больше шумиха, особенно с этими праздниками.

– Пожалуй, – согласился Мичуев и, сам того не ведая, повторил давешние мальцевские слова: – Новый год – он для детей... А теперь все как дети. Тридцать первого декабря Укко ломает год о колено. Как сухую палку. Разлом – всегда холод и мрак. Дети забыли об этом. Бедные, глупые дети...

– Я привезу табаку, деда Фадей, – произнёс Мальцев. – В город как поеду, привезу.

– В стародавние времена, – продолжил распевно Мичуев, – когда по всей земле от края до края шумел лес и первые люди жались тесней к костру, Хийси властвовал безраздельно. Он бродил в чаще, оставляя, как мех, тьму на стволах сосен, и птицы падали с небес от его ледяного дыхания. Дети забыли, как деда их дедов тряслись в холоде и ужасе перед властителем этих мест и прятались друг за дружку. Детям кажется, что те времена минули. А на самом деле человеческая история – миг в бесконечности. Краткий, как треск палки, сломанной о колено. И мигу этому суждено кануть в разлом.

– Вот только станет потеплее, – не в тему ответил Мальцев. – «Ласточка» на морозе можетглохнуть. Встанем на полпути, и до весны, и не видать тебе, дедушка, табаку.

– Сегодня приходила Тамара, – буднично, словно речь шла о погоде, сказал старик. Тамара – жена Мичуева. Она умерла, пока Мальцев строил новую жизнь в Ленинграде, ещё не переименованном в Петербург – думал, что строит. – Близко стояла, вот как ты. Ей там холодно без меня.

– Ну, – растерялся учитель. – Тебе сон приснился, дедушка.

Он начал мёрзнуть. Не только щёки и нос – стужа бритвенными пальцами погладила шею, забралась за телогрейку и опустила обманчиво хрупкие руки на плечи. Обняла за талию и коготками провела по груди.

– Мне тоже иногда снится... – Начал и не договорил. Ира ушла из его жизни, как и из снов, Мальцев даже не знал, что

сейчас с ней, зато Карина... Она снилась часто, и он просыпался от её резвого топотка, глядя в потолок, со слезами, подсыхающими в уголках глаз, пока бегодня дочки не превращалась в тиканье настенных часов.

– Снится всякое, – закончил он неуклюже.

– Она меня звала, – сказал старик. На его лицо легла тень задумчивости.

Мальцев счёл за лучшее откланяться:

– Я попозже зайду. Ты, деда Фадей, не унывай.

– Не ходи на ёлку, – произнёс старик. Надтреснутый
(палку ломают о колено)

голос звучал чётко. И всё же переход был столь ошеломляющим, что Мальцев решил, будто ослышался.

Мичуев разбил его сомнения.

– Она звала меня туда, Тамара, – прокаркал он, выплёвывая дым, превращаясь в дракона или подземного духа. Когти стужи нащупали сердце Мальцева и вонзились глубоко. Мальцев резко, прерывисто вдохнул, но вдоха не хватило. – На ёлку! Лехтонен набрёл в лесу на каменные *знаки*. Знаки Хийси!

– Да что на тебя нашло, дедушка Фадей? – Мальцев отступал, держась за грудь, глотая воздух.

– Не ходи, – наказал старик твёрдо и вернулся к созерцанию дороги, которая оставалась безлюдной.

Только возле своего дома Мальцев замедлил шаг. Пронзённое стужей сердце отзывалось ноющей болью. Он присло-

нился к ограде, чтобы отдышаться. Лёгкие гоняли туда-сюда воздух, прозрачный, как алмаз. Губы сковывала стынувшая слюна.

– Да что я, и вправду? – простонал Мальцев и поморщился – таким жалким показался голос. – Задурил башку, чертяка старый, а ты уши развесил. Не хватало мне инфаркта для полного счастья. У-уф.

Взгляд упал на синий почтовый ящик у калитки. Привычный, заурядный предмет будто вернул ускользящий мир в твёрдые границы рационального. Припечатал.

– Заячья душа, – пробормотал учитель, успокаиваясь. Достал связку ключей и отпер ящик. Запустил руку в квадратный зев и извлёк на свет божий почту. Стал перебирать.

Письмо – судя по мелко набранному на машинке адресу, казённое: из собеса или вроде того. Бесплатный газетный листок «Сам себе знахарь». И открытка. С Красной площадью, звёздами и салютом в исчерченном здоровенными снежинками небе. Мальцев страсть как давно не видел открыток в подобном стиле – с советских времён. Он перевернул открытку, и бьющий его озноб превратился в жар.

На обратной стороне огромными, кривыми буквами, которые заваливались в разные стороны, как колышки скверного забора, было накалякано:

ЗДРАВСТВУЙ ПАПАЧКА КАК ДИЛА СКОРА ПРЕХАДИ НА ЕЛКУ ПАПАЧКА БУДИТ ВЕСЕЛО И ПАДАРКИ ПАПАЧКА ПРЕХАДИ ЖДУ ПАПАЧКА С НАСТУПА-

ЕЩЕМ

Красным фломастером.

Мальцев выронил открытку из вмиг ослабевших пальцев.

Открытка упала надписью вверх.

Мальцев сохранил все Каринины тетрадки, в которых дочка выводила первые буквы и слова, ему не требовалось бежать за ними, чтобы сличить почерк. Мальцев и без того его узнал. Это ведь он учил Карину писать.

Как в чужом сне, он нагнулся за открыткой. Время стало плотным, как вода, и вязким, как масло. Казалось, он нагибался бесконечно.

Наконец, дрожащие пальцы коснулись бумаги.

Мальцев хотел выпрямиться, но вдруг застыл. К почтовому ящику от обочины тянулась цепочка маленьких следов. Детские ботиночки. Шли в одну сторону. Отпечатки рифлёных подошв были столь же реальны, сколь и открытка.

Кашляя, он побежал по следам. На свежем снегу они читались чётко, никто не успел их затоптать, но – вот горе! – метров через двадцать следы уходили с обочины в накатанную колею и там терялись. Мальцев бухнулся на колени и ползал вдоль колеи, словно потерял что-то ценное.

Впрочем, так оно и было.

Он тщетно обшаривал спрессованную шинами серую корку. Шарф выбился из-за воротника и мёл дорогу. Проснувшиеся соседи подивились бы зрелищу, но Мальцеву было плевать.

Наконец он сдался и побрёл, разбитый, к дому – с шарфом, болтающимся под горлом, как грязный собачий язык, со съехавшей на ухо шапкой, из-под которой валил пар. В глубине души он ожидал, что открытка исчезла так же таинственно, как и появилась. Она дожидалась его на снегу. Мальцев видел издали белый прямоугольник с алыми, будто кровоточащими буквами.

Стараясь не затоптать следы ботиночек, Мальцев подобрал открытку.

ПАПАЧКА БУДИТ ВЕСЕЛО И ПАДАРКИ

Он отчего-то вспомнил, что у северных народов есть до пятидесяти слов для обозначения снега. Свежевыпавший снег, талый, даже прошлогодний снег. Интересно, отрешённо подумал Мальцев, как называется снег, на котором оставила следы мёртвая дочь, явившаяся ночью опустить в почтовый ящик советскую поздравительную открытку.

Они ездили на ёлку в Москву, когда Карине было пять.
«Это розыгрыш! Жестокий розыгрыш!».

ПАПАЧКА ПРЕХАДИ ЖДУ

Её почерк.

Он поднял глаза. Они оставались сухими. Ни слезинки – даже от мороза.

Бордовое пятно ниже по улице исчезло. Дедушка Фадей докурил и ушёл в дом.

Мальцев последовал его примеру. Вернулся в тепло, в вытянутой руке неся открытку, словно нечто опасное... и од-

новременно желанное.

С НАСТУПАЕЩЕМ

К вечеру следы ботиночек занесло налетевшим ветром.

Как ни старался Мальцев отгородиться, приметы наступающего праздника проникали в его мир. Как нахальные крикливые макаки, которые требуют не лакомства, но внимания, они подстерегали и наскакивали на учителя повсюду. Предвестия торжества вторгались даже в дом. Сосед Коля Хорошилов обклеил забор снежинками из фольги, а под скатом крыши протянул гирлянду. По ночам она наполняя мальцевскую спальню перламутровыми фантомами, превращая её в танцпол захудалого клуба. Мальцев ворочался под одеялом и бранился шёпотом, а наутро просыпался разбитый.

Направляясь в центр Раутаои по делам, он подмечал по пути игрушечных Дедов Морозов любых размеров и обличий, Снегурочек, зайчиков с шариками и символы Нового года – тигрят. На главной улице его приветствовала свисающая с фонарём иллюминация. Даже радио Мальцев прекратил слушать из-за нескончаемой праздничной белиберды. Лехтонен невесть где раздобыл керамического Санта-Клауса и водрузил того у трубы своего дома. Это стало причиной короткой перебранки между ним и Хорошиловым, чему Мальцев стал невольным свидетелем. Хорошилов не мог стерпеть, что «Санта, сука, Клаус не нашенький, а гейропейский». Но кроме этого, ничто не омрачало поселянам – которые пред-

почитали называть себя горожанами – новогоднее настроение. Дух праздника витал повсюду.

И тем тревожнее делалось пожилому учителю. Он старательно гнал прочь источник гнетущего чувства – воспоминания о ночной прогулке к парку и об открытке, запрятанной в тумбочке под стопкой платёжек за коммуналку. Тревога могла уняться, затаиться на дне... но до конца не исчезала. И прорывалась по любому поводу.

– Как отмечать думаешь? – беспечно чирикала парикмахерша Алина с парикмахершей Соней. Обе были заняты делом: Алина состригала Мальцеву двухмесячные космы, Соня пялилась в экран телевизора, где с бодуна метался по чужой квартире Женя Лукашин.

– Хотели к мужниным друзьям в Кондопогу, – с жаром подхватила тему Соня, – да передумали. На ёлку к полуночи пойдём.

Ножницы чикали у виска Мальцева. Кляц-кляц-кляц. Он некстати вспомнил, как родители привели его, кроху, в эту самую парикмахерскую на первую в жизни стрижку, и как он закатил истерику, решив, что тётка с ножницами хочет оттяпать ему ухо. Сейчас тётка была другая – а ножницы? Возможно, перешли Алине по наследству. Сохранилась ли в них жажда отведать крови Мальцева, которую он тогда уловил? Как знать.

– Правильно! – поддержала Алина. – Вместе, значит, пойдём!

– Там и встретимся!

Клац-клац-клац. Серый пух волос опадал с плеч и ложился под ноги прошлогодним снегом.

«Не ходите!» – едва не выкрикнул Мальцев, вновь почувствовав себя малышом. Тут его взгляд упал на опасную бритву, что лежала у зеркала. Уже не ножницы – он представил обжигающе холодный укус лезвия, пробегающего от одного его уха до другого. Никогда прежде в голове Мальцева не возникали подобные картины.

– Ёлка на этот раз ну просто небывалая! – пропела Алина. – А, Андрей Захарыч?

Он учил их дочерей. Обе ходили в третий класс.

Пёстрым лишайником, цветастыми метастазами новогодний дух оплёл Раутаю. Как от эпидемии, от него нельзя было скрыться. Возле «Пятёрочки», куда Мальцев после стрижки завернул за зубной пастой и мылом, водрузили пластмассового снеговика. Рядом топтался Дед Мороз с нептуньей бородой. Он раздавал прохожим рекламные буклеты в солярий. Внутри магазина было не протолкнуться. Горожане сметали с полок всё подряд. Из-под потолка несло бравурное: «И улыбка! Без сомненья! Вдруг коснётся ваших глаз!». Слоги песни обрушивались на покупателей ритмично и задорно, но Мальцева музыка обжигала, как кислотой.

На кассе он встретил Веру Ликсугину с Ладой. Девочка тискала плюшевую игрушку – рыжего то ли кота, то ли бегемота. Мальцев потеплел.

– Так что, не передумали? – спросила Вера, перекрикивая динамики. Мальцев изобразил на лице недоумение.

– На ёлку идти, – уточнила коллега.

– Вера Павловна, да я и не намеревался...

– Вы обещали! – пискнула из-под игрушки (Мальцев решил, что это всё-таки кот) Лада.

– Наверное, недоразумение, – замямлил учитель. Лада бойко замотала головой. Выбившиеся косички яростно хлестали девочку по щёчкам.

– И правда, Андрей Захарович. Не дело это, в праздник одному.

– К деду Фадею загляну, – соврал он. – Хочу в шахматиках взять реванш.

– Но будут же *подарки!* – возопила Лада, и голос из динамиков вдруг ворвался в их беседу, точно подслушав:

– ПОДАРКИ!

Мальцев вздрогнул.

– Подарки, забавы, лотерея! – ревел диктор. – Дед Мороз со Снегурочкой ждут вас в новогоднюю ночь на городской площади! И, конечно же, чудесная, невероятная, феерическая ЁЛКА из самого сказочного БОРА!

Мальцев посмотрел на Веру. Вера застыла, глядя в потолок, где висел ближайший динамик. Её пальцы, вцепившиеся в ручку тележки, побелели до синевы. Мальцев опустил взгляд. Лада обратила личико к динамику: рот приоткрыт, глазёнки блестят, но живости в них теперь было столько же,

сколько в стеклянных шариках – отражённый свет и ничего более.

Слова диктора врываются в толпу покупателей мощно, как на рок-концерте.

– Такой красотки нет ни в Москве, ни в Нью-Йорке! А ещё наша ёлочка *живая!* Ёлочка *волшебная!* И она исполнит желание *каждого!*

Мальцев обвёл взором очередь. Все головы были повернуты в одну сторону, все руки замерли в том положении, в каком их застал призыв диктора. Кассирша Тамара – её сын когда-то учился у Мальцева – тарасилась, раззявив рот столь сильно, что медицинская маска съехала на подбородок, а на губу выкатился шарик жвачки. Кассирша протягивала сдачу, но покупатель не торопился её забрать.

– Новогоднее настроение! – взывал диктор. – Берите его с собой и приходите! Тридцать первого января! Площадь! Полночь! Будет чудо! Будет смерть!

Грянула музыка. «Новый год к нам мчится». Эту песню Мальцев особенно не выносил, находя вульгарной, но сейчас ему было не до неё.

«Снег! – колотилось в голове. – Он сказал: «снег». Он не мог сказать: «смерть», это бред, все бы услышали...»

Стая загипнотизированных сурикатов снова обратилась в людей. Покупатель взял сдачу. Тамара невозмутимо натянула маску на рот и пожелала покупателю доброго дня.

– Вы сейчас... – Мальцев растерянно покрутил в воздухе

пальцем, не решаясь указать на динамик. – Он... Вы слышали?

– Да, – рассмеялась Вера. – Даже радио приглашает вас на ёлочку.

К изумлению Мальцева, гнев – пусть и на короткое время – вытеснил испуг, и он едва не вывалил, как затрахали его разговоры про сказочную ёлку.

– Не ходите туда, – сказал учитель тихо, но твёрдо. Подумал об Артёмчике с его брякающей кружкой. О дедушке Фадее, рассказывающем о Хийси.

Весёлость на лице Веры сменилась неприязнью.

– С чего бы это? – Мальцев, который никогда прежде не видел на её лице такого выражения, ощутил боль – не физическую, а в душе. Вера смотрела на него, как на спятившего.

«Я не знаю. Просто чувствую беду»

– Не надо, – повторил он. – Будет холодно. Хоть Ладу оставь с бабушкой. Лада, – Он присел перед девочкой. – Пообещай не ходить.

– Дядь Андрей? – В глазах девочки читалось замешательство. Крохотный огонёк надежды расцвёл в груди Мальцева.

– Лада, наша очередь. – Вера потянула дочь за руку, резче, чем требовалось. Мальцев выпрямился.

– Вера, послушай...

– Ничего слушать не хочу, – закрылась ладонью Вера. – Вы прям как Гринч. Сами не празднуете и другим настроение портите.

«Гринч, – подумал Мальцев горько. – Эбенизер Скрудж. А то!»

Расплатившись, Вера ушла, не попрощавшись, и увела с собой Ладу. Поспевая за матерью, девочка то и дело оборачивалась на отставшего Мальцева. Он вдруг почувствовал себя невероятно древним, старше дедушки Фадея. Сомнение на лице малышки переросло в испуг. Вот чего он добился.

Мальцев рассчитался за покупки и направился к выходу, мысленно возвращаясь к словам диктора.

«Он сказал: смерть»

«Снег, – упрямылся Мальцев. – Ну не могла быть «смерть»! Снег, снег, снег»

Он вышел из магазина. Снег лежал повсюду, куда ни кинь взгляд.

Тук, тук, тук-тук-тук-тук.

Дробный звук пронёсся по чердаку. Проскакал по лестнице. Задребезжал на кухне. Топотня детских ботиночек. Мальцев думал застать шалунью, но стена позади исчезла, плечи обдало сквозняком и по ковру поползли языки позёмки. Стена напротив превратилась в забор, а телевизор – в почтовый ящик, с которого свесилась ледяная борода. Дверца ящика с бряканьем распахнулась, и пред Мальцевым разверзся чёрный и глубокий, как тоннель метро, зёв. Изнутри ящик был вымазан комковатой коричневой гнилью, напоми-

нающей стухшее повидло. Взгляд Мальцева пронизал тьму, и он увидел лежащую в глубине посылку: грязный ком слипшихся еловых иголок, перевязанный гирляндой. Гирлянда тихо, по-змеиному, шипела разбитыми лампочками. А звук шагов близился, разрастался; больше не детские ботиночки – копры, от грохота которых трещал и осыпался потолок.

Мальцев очнулся – с дикой ломотой в висках, со вздувшимися на лбу венами, с барабанными перепонками, готовыми лопнуть. Остатки сна, где в бестелесном мраке распахнулись чьи-то пристальные, полные замёрзшей крови глаза, не спешили покидать. Когда видение наконец развеялось, учитель обнаружил себя на диване перед телевизором. По экрану серой шуршащей метелью сыпали помехи. Часы у входа показывали без двадцати десять вечера, настенный календарь – 31 декабря. До Нового года всего ничего.

Мальцев не помнил, что включал телек. Он нашарил пульт, вдавил кнопку, и экран погас, погружая комнату во тьму. Учитель прислушался. Дом откликнулся тиканьем часов, потрескиванием антресолей, гулом отопления. Но снаружи царила гнетущая тишина: ни тебе возгласов гуляющих, ни преждевременных хлопков петард. Затем вдали протяжно завывла собака, и этот звериный плач лишь сильнее очертил одинокое безмолвие.

Мальцев взял старенькую кнопочную «Нокию». Сбросил, не читая, единственную поздравительную эсэмэску – от банка – и набрал номер Веры Ликсутиной. Услышал долгие гуд-

ки.

«Она там. С остальными»

Мальцев прошаркал к окну. Отдёрнул занавеску, прижался щекой к стеклу и вздрогнул от холодного прикосновения к горячей коже. Не жар ли у него? Лучше умереть температуру, выпить чаю с чабрецом и – под одеяло до обеда, если фейерверки дадут заснуть.

Псина завывала снова и уже не утихала. К ней присоединилась вторая. Вой ввинчивался в уши штопором.

Надо спешить.

Мальцев выскочил за порог, одеваясь на бегу. Мороз налетел на него, как многорукий боксёр с пудовыми кулачищами: хук справа, слева, апперкот; по почкам, меж лопаток, в челюсть! Спасаясь, Мальцев бросился к гаражу, и пока он боролся с воротами, мороз продолжал охаживать. Наконец тяжёлые створки поддались. Мальцев юркнул внутрь, но ледяной боец подждал и здесь, скаля белоснежные зубы. Мальцев уселся за руль, захлопнул дверь – всё напрасно, мороз караулил на соседнем кресле, ни спрятаться, ни выпросить пощады. Мальцев взмолился своей «ласточке», поворачивая ключ зажигания: только запустишь.

Двигатель покряхтел и завёлся. Кажется, сам мороз отпрянул, озадаченный. Мальцев вывернул обогрев на полную, пусть в этом пока и не было толку, и побежал открывать выезд. Мороз погнался по пятам, но воодушевившийся учитель перестал обращать внимание. Он поднял примерзшие засо-

вы и выглянул за ограду. Улица пустовала.

Перепополняемый адреналином, точно юнец перед первым свиданием, Мальцев вскачь вернулся в гараж. «Живей, живей!» – торопил он прогревающийся двигатель. Барабанил в нетерпении пальцами по рулю. Наконец, снял с ручника и дал газу. Дёргаясь, «Нива» выкатила во двор. Мальцев вырулил на улицу и погнал, как заправский лихач, к центру. Ворота не запер – некогда, да и не заботили его незваные гости. Если Мальцев прав, все они – званые или нет – собрались на площади. На ёлке.

Он знал, что прав.

Когда улица раздалась и вой собак остался позади, стал слышен иной звук. Монотонный гул, словно хор низкими голосами тянул неразборчивый гимн. Стенание разносилось по окрестностям, крепло, и вскоре Мальцев узнал песню. «Ёлочка, ёлка, лесной аромат». Пространство искажало музыку до неузнаваемости, превращая в похоронный марш.

Он миновал поворот, где когда-то собирал милостыню Артёмчик. Проскочил школу, здание администрации и ряд угрюмых пятиэтажек, напоминающих гигантские костяшки домино, вколоченные в мёрзлую пустыню. Они слепо проводжали «ласточку» впалыми погасшими глазами. Фонари, напротив, заливали дорогу скудным белым светом, превращая в тоннель, который выдолбили во мраке. Фонари – да далёкие звёзды в бездне над миром. Их сегодня высыпало видимо-невидимо.

Но вот ночь дрогнула, отступила, и Мальцев выкатил на площадь. Зрелище, открывшееся ему, было столь огорошающим, что он едва успел затормозить. «Ласточка» замерла перед «Тойотой Фортунер» Воронова на расстоянии вытянутой руки. Глава Раутаои бросил внедорожник поперёк въезда, перекрыв путь. Впрочем, Мальцев всё равно не проехал бы дальше. Площадь была запружена людьми. В посёлке проживали две с лишним тысячи человек. Мальцев не мог поручиться, что все они собрались здесь... но явное их большинство.

Он заглушил мотор и вылез из машины, хлопнув дверью. Никто и ухом не повёл. Внимание горожан было всецело приковано к ёлке. Та высилась над толпой грузным косматым чудищем в переливающимся облаке света. Отблески гирлянд марали лица пришедших вязкими, шевелящимися кляксами, из-за чего восторженные улыбки превращались в безумные гримасы. Динамики, дребезжа, затянули очередную песню. «В лесу родилась ёлочка». Знакомая с детства мелодия звучала фальшиво, как сломанная шарманка, то и дело проваливаясь в минор. С губ Мальцева сорвалось трепетное: «ох!».

Собравшиеся на праздник горожане были в домашней одежде.

Мужчины в футболках, рубашках и майках-алкоголичках, в трико, шортах или подштанниках. Женщины в халатах, платьях, ночнушках. Никакой верхней одежды рядом.

Люди пришли на площадь уже раздетыми. Мальцев не мог поверить, как такое возможно.

Он заметил Хорошилова в одних семейных трусах. Сосед неподвижно стоял босиком на утоптанном грязном снегу и блаженно щерился. Никогда прежде Мальцев не видел его улыбающимся, и сейчас предпочёл бы, чтобы так оставалось и впредь. Галлюциногенное свечение превращало одутловатую физиономию Хорошилова в личину маньяка.

– Николай? – позвал Мальцев. Голос вышел тише дыхания.

Ноль реакции.

Он схватил Хорошилова за плечо, чтобы встряхнуть. С тем же успехом он мог бы попытаться сдвинуть с места мраморную статую. Плечо было окоченевшим и твёрдым, как осколок айсберга.

– Эй! – крикнул Мальцев в толпу. – Очнитесь!

Толпа безмолвно упивалась зимним счастьем, как дурманом.

Он выхватил из сумочки мобильник, чтобы опять набрать номер Веры – не дозвониться, так услышать рингтон её телефона в толпе. Экран мобильника не откликнулся на нажатие кнопок. Старенькая «Нokia», которая и в тепле держала заряд жалкий пяток часов, на холоде просто сдохла.

– Ве-ра!

Головная боль, подзабытая, обрушилась столь мощно, что он зашатался. Перед глазами помутилось. В панике Мальцев

выпростал руку и упёрся в чью-то голую ключицу – словно дотронулся до замороженной курицы. С воплем отдёрнул. От рёва динамиков раскалывался череп. А люди, заполнившие площадь, стояли недвижимо, как терракотовое войско. Ни тени страдания. Счастливые.

Отчего бы и нет? Это ведь ночь чудес, не так ли?

«Нужно лишь открыться новогоднему настроению»

Над очарованной толпой прокатился тяжёлый, пахнувшей смолой и хвоей вздох. Казалось, сама ель довольно кивнула снизошедшему на Мальцева озарению. Мальцев поднял на ель глаза, полные стынувших слёз, и ощутил, как в пульсации огней гаснет воля.

Дерево говорило. Не словами – в прояснившейся голове один за другим раскрывались образы, точный смысл которых не сумела бы передать самая искусная человеческая речь. Оно явилось издалека, не по собственной воле, оно тосковало и страдало, и то, что оставило на нём отметины, через глашатая взывало из непроходимых чащоб и бездонных топей, потревоженное и яростное, неумолимое и требовательное, способное отнимать... и дарить. *Жаждающее* дарить. Разве не подарков желали эти праздные создания, чьё присутствие во Вселенной – случайность, а существование скоротечно, как взмах крыла подёнки пред ликом вечности?

Ноги сами понесли Мальцева через неподатливую толпу, будто сквозь непролазный лес. Но холод, казалось, унимался, более того – становилось теплее, и Мальцеву даже захотелось

стянуть шарф, и шапку, и перчатки. Да что там – скинуть телогрейку и припустить по снегу босиком. Впервые бог знает за сколько лет его истосковавшееся сердце наполнилось радостью, незамутнённой, как в детстве, когда он верил в волшебство и был счастлив.

Может, Новый год не так уж и плох? Может, прийти на ёлку – это отличная идея? Сбросить одежду, согреться в переливах гирлянд... и, наконец, перестать чувствовать себя одиноким. Никаких страданий. Никакой старости. Никаких мыслей о Карине.

Карина.

Шаг сделался медленней, неуверенней. Огни уже не казались ни ласковыми, ни властными. Мальцев обнаружил себя в толпе полуголых истуканов, каждого из которых некогда знал – безжизненных, ослабившихся, с пятнами света, ползающими по омертвелым лицам, как медузы, выброшенные прибоем. Обнаружил, что потерял перчатки и расстёгивает задубелыми пальцами пуговицу у подбородка. Остановился.

«Порой воспоминания – это всё, что у нас есть, – ответил он образам, роящимся в сознании. – Самое ценное. Даже если заставляют страдать. Так мы остаёмся людьми»

Мальцев сунул руку в наплечную сумочку. Зубцы «молнии» продрали кожу, которая начала трескаться на морозе, но он обрадовался этой боли.

Я могу вернуть тебе дочь – сокрушительно ворвался в голову новый образ. Дерево – или то, что стояло за ним –

знало, что принёс Мальцев.

Только пожелай.

– Нет уж, – сказал Мальцев, доставая из сумочки открытку. ПАПАЧКА С НАСТУПАЕЩЕМ. – Я читал историю про обезьянью лапу.

Он разорвал открытку надвое, содрогаясь от отвращения, будто терзал живое, гнусное существо. Скомкал и швырнул через головы в сторону дерева.

Беззвучный вопль пригвоздил его к земле. Мальцев в муках обхватил голову, которая превратилась в готовый лопнуть котёл. Давешняя мигрень теперь казалась не серьёзней щекотки. Но даже сквозь агонию его кровоточащий мозг распознал в вопле нечто помимо бешенства.

Дереву было больно.

Он огляделся и сквозь застилающее глаза красное марево увидел, как осмысленность робко возвращается на лица горожан, как размягчаются черты и за идиотическим счастьем проступают подлинные чувства: растерянность, паника, страдание. Он поверил, что сможет их разбудить. Правда, поверил.

А потом вопль оборвался и образы померкли. Перед Мальцевым снова простирались ряды одинаковых, как шары для боулинга, оцепенелых лиц.

Отшибая бока о локти статуй из замёрзшей плоти, он ринулся к машине, не дерзая оглянуться на озверевшего зелёного исполина, ощущая, как косматые лапы накрывают его

могучей тенью. Из носа летели брызги, замерзали на губе. Сумка зацепилась ремешком за чью-то руку и сорвалась с плеча. Мальцев рванулся за ней и оторопел – рядом стояла Вера Ликсутина в гамашах и белой водолазке. Ткань обтягивала пышную грудь. Бюстгальтера под водолазкой не было. От Веры пахло горько-сладким: корицей и ванилином. А подле неё...

Лада была одета в футболку с Губкой Бобом и трико. На ногах носочки, в волосах резиночки.

Мальцев осел на колени.

– Лада, Ладочка!

Лада смотрела поверх его плеча и мечтательно улыбалась. Что ей виделось? Барби? Игровая приставка? Живой пони?

Мальцев схватил её за плечи. Девочка стояла крепко, как врытый в землю столбик. В отчаянии Мальцев налёг изо всех сил. Мышцу в шее скрутило от боли, но ему было плевать. Он скинул телогрейку, сорвав пуговицы, и обернул ею Ладу. Мороз только того и ждал. Он налетел уже не как боксёр – на Мальцева градом обрушились удары ледяной кувалды. С натужным стоном он поднял девочку и пошёл сквозь ряды. Морозные клинки вонзались под челюсть, целя в трепетные лимфатические узлы, которые тщетно пытались схорониться от стужи. Коленные чашечки крошились, как мел. В пояснице хрупнуло, и новая боль, ослепительная, точно сверхновая, затмила даже нестихающую головную.

Мальцев вырвался из толпы и на ходульных подкашиваю-

щихя ногах поскакал к машине. Девочка была тяжела, словно мешок кирпичей.

У «Нивы» Мальцев хватился сумочки. Он так её и не подобрал. У него не достало сил, чтобы обругать себя старым дурнем. Потом Мальцев вспомнил, что оставил ключ в замке зажигания – но не нашёл сил и на похвалу. Он знал: если опустит ношу, ему не удастся поднять её вновь. Поэтому он взвалил Ладу на плечо и чудом исхитрился открыть заднюю дверь «ласточки». Как можно бережней попытался положить девочку на сиденье – и чуть не уронил. Удержал. Ещё одно чудо.

Такие нынче чудеса.

Мальцев нагнулся запахнуть телогрейку на малышке плотнее и едва не отрубился от ударившей в голову крови. Сердце заходилось, как у загнанного жеребца, завершающего свой последний забег. Но даже секунда отдыха была бы непозволительной роскошью.

Мальцев закрыл машину и под сардоническое «За шершавой стеной тьма колючая» пополз по борту к водительской двери. Несмотря на стужу, ладони вспотели и примерзали к металлу там, где отходила краска. Он отдирал их с кровью. Смехотворно короткий путь вокруг «Нивы» обернулся марафоном пыток.

Наконец он ввалился на сиденье водителя, захлопнул дверь и, кляца зубами, потянулся к замку зажигания, отказываясь верить, что ключ на месте. Напрасно. Пальцы нащу-

пали ключ. Рванули. Под капотом закашляло и смолкло.

– Давай! – прокаркал Мальцев. Вкус крови наполнил горло.

Вторая попытка вышла удачной. Двигатель взревел. Задребезжала успевшая остыть «печка». «Нива» развернулась, царапнув бампером «Тойоту» Воронова. Мальцев сипло расхохотался. Его била крупная дрожь, но руки держали руль крепко.

– Держись, милая, – увещевал он шёпотом. – Держись, дочка.

Через две минуты он затормозил у калитки медпункта. Оставив машину на ручнике со включённым двигателем, выкатился наружу и скособочено, будто пришибленный паук, засеменял через двор к зданию. В окнах было темно, но Мальцев не терял отчаянной надежды. Просто дежурные смотрят «Голубой огонёк» или что там крутят в новогоднюю ночь.

Он поскользнулся на ступенях и рухнул на колени. На мгновение ему показалось, что его парализовало – такой запредельной была боль. Он заорал. Уцепившись за ручку, кое-как поднялся и навалился на дверь. Заперта.

Он рвал её снова и снова, бился плечом, долбил кулаком. Бестолку.

– Эй! – завопил он, сорвавшись на визг. – С-суки!

Проклятья не помогут. Домой, в тепло. Срочно!

Мальцев обернулся.

Лада стояла у машины на сброшенной телогрейке. На секунду Мальцеву померещилось, что он видит бензиновые пятна праздничной иллюминации, переливающиеся на лице девочки.

Она больше не улыбалась.

Мальцев простёр к ней руку.

– Лада?

И тут её лицо исказилось, провалившись в рваный оскал, в котором не осталось и следа новогоднего настроения.

– Лада, – повторил Мальцев.

Она ринулась на него.

В два прыжка покрыла расстояние от дороги до порога, а на третьем влетела на ступени и, набычившись, врезалась головой Мальцеву в живот. Задыхаясь, Мальцев шлёпнулся на зад. Перед ним очутилось лицо Лады, и он уловил запах шоколадных конфет, рвущийся с губ ребёнка, прежде чем увидел её зубы: белые льдистые иглы.

Она рванулась снова. Пасть распахнулась, готовая пожрать весь мир и его нос. Мальцев выставил руки. Ладони погрузились в холодное, жёстко-слюнявое. Челюсти под ладонями ходили вверх-вниз, зубы скользили по коже, подбираясь к пальцам, и ручонки, внезапно сильные, вцепились в его волосы. Мальцев заорал. Существо завывало – дребезжащий электрический клёкот. Собрав оставшиеся силы, Мальцев подался вперёд, изловчился встать и отшвырнул врага прочь. В запястье треснуло. Создание, которое прежде было

девочкой Ладой, подарившей ему мандарин и пригласившей на ёлку, свалилось в сугроб, сжимая в когтях пучок седых волос.

Мальцев побежал к машине быстро, как только мог.

На полпути обернулся – как раз вовремя, чтобы увидеть несущуюся к нему на четвереньках юркую тварь. Неестественно вывернутые суставы ног делали её похожей на огромного прыткого сверчка. Руки разведены в стороны по крокодильи, голова болтается от плеча к плечу.

У Мальцева не было и шанса оторваться.

Тварь кинулась ему в ноги, увесистая, как гоночный болид.

Колени подломились. Мальцев завалился на бок. Успел перекатиться на спину прежде, чем тварь атаковала снова. Она подбиралась к его лицу, и Мальцев опять попытался закрыться. Игольчатые зубы вонзились в вывихнутое запястье, белое окрасилось красным, по рукаву свитера поползло багровое пятно. Мальцев вскрикнул, выплюнув облако пара. Тварь зашипела. Она выпустила запястье и кинулась Мальцеву на горло. Из её пасти вновь потянуло шоколадом. Он сжал врага за шею, чтобы стряхнуть. Тщетно – на это не осталось сил. Тварь кашляла, но её зубы продолжали клацать в сантиметре от носа Мальцева. Брызги его собственной крови, вырывающиеся из пасти твари, орошали лицо.

– Карина, – хрипел он, спутав имена. – Нет. Карина.

И сжимал, сжимал, сжимал хватку.

Когти вспороли кожу возле его глаза, но Мальцев ощутил: тварь слабеет. С лицом создания творилось странное. Оно колыхалось, точно желе. Начало оплывать. Зубы клацнули в последний раз. Челюсти разошлись. Глаза, в которые Мальцев избегал смотреть, затянуло корочкой льда. Тяжесть, вжимающая его в снег, исчезала. На его лицо оседало мелкое, крупяное, жгучее, и он увидел, что это зубы сражённого противника осыпаются инистым крошевом.

«Не противника. Не монстра. Ты убил Ладу. Ты убийца»

Он выполз из-под лёгкого тельца и понял, что уже не сможет подняться. Он останется здесь и очень скоро превратится в одну из тех ледяных статуй, что сгрудились на площади. Неважно. Теперь – неважно. Он нашарил руку девочки, сжал в своей – той, которой её задушил, – и разрыдался: безудержно, звучно, не стесняясь. Да и кто услышит? Весь город на ёлке.

Ёлка. Незаконченное дело.

– Я не могу встать, – проскулил Мальцев. Высоко над ним ночь парила на усыпанных звёздами крыльях. – Я умираю.

«Ты можешь, дядя Андрей, – прозвучал голос Лады в его голове. – Ты можешь всё, пока ты жив»

Она оказалась права. Он смог.

Сперва пришлось заскочить домой и забрать то, без чего не сработал бы план. Обратного Мальцев гнал во весь опор, не щадя подвески. Всё, что могло болеть в его теле – боле-

ло. От крупной дрожи не спасала ни «печка», ни подобранная у медпункта телогрейка. Это, как и всё прочее в суетном подлунном мире, перестало его волновать. Успеть до полуночи – вот, что имело значение. Время сделалось тягучим, но Мальцев знал, как обманчиво оно бывает.

Наконец, площадь. «Нива» резко затормозила перед внедорожником Воронова. Мальцева швырнуло на руль. На заднем сиденье гулко булькнуло. Учитель потянулся к дверной ручке, взглянул на толпу и замер.

Его ждали. Собравшиеся развернулись к въезду. Улыбки на затвердевших лицах превратились в оскалы – широченные, хищные. Выраставшая за спинами ель напоминала грозного полководца, повелевающего пехотой.

«Пять минут, пять минут», – звенел арктический воздух. От первого ряда горожан Мальцева отделял десяток шагов. Этого хватало, чтобы понять: песня несётся не только из репродукторов. «Бой часов раздастся вскоре», – запись извергалась из двух тысяч глоток.

А ещё Мальцев понял: план провалился.

Он врубил заднюю. Одновременно с этим ближний ряд собравшихся откололся от толпы и стеной пошёл на «Ниву» – точно болельщики ломились занять лучшие места на трибуне. «Нива» вильнула, задние колёса вылетели из колеи. Мальцев бешено закрутил «баранку». «Нива» развернулась. В окнах заплясали бледные кривляющиеся тени. Кто-то бросился на перерез, мелькнул за лобовым стеклом. Раз-

дался грохот – преследователь скатился с капота, всплеснув белыми руками, и в лобовое врезалось лицо... отколовшееся от головы. Прежде, чем оно сгнуло в ночи, Мальцев успел узнать: Лехтонен. По стеклу побежали трещины. Правая фара погасла.

«Нива» опять выскочила из колеи, потеряла скорость. Мальцев обернулся. От резкого движения в затылке вздулся раскалённый шар боли, отозвалась агонией шея. В окне он заметил ещё троих подбегающих. Чертовски близко. Впереди всех, высоко вскидывая колени, мчалась парикмахерша Соня. На ней не было ничего, кроме хэбэшных трусиков. А за спинами наступающих, на площади, над елью...

Он увидел лишь мельком, но будь у него целая жизнь созерцания, он не сумел бы это описать.

Оно было колоссально. Точно длань невидимого божества простёрлась к небу и скомкала его в кулаке вместе с погибающими созвездиями, как размалёванный целлофан. Чудовищная форма, словно сотканная из искрящегося инея, переливалась подобно северному сиянию. С разорванного неба на Мальцева уставились два алых глаза. Два глаза, полных ненависти, голода... и замёрзшей крови.

Хийси. Северный демон. Хозяин безбрежных чащоб.

Мальцев закричал. Рот наполнился вкусом медных монет.

Затем в дверь врезалась Соня, заслонив безумное зрелище. Ударила в стекло ладонями. Её некогда смазливое личико было перекошено. Груды расплющились о прозрачное, и

вокруг сосков паутинками побежали морозные узоры.

Мальцев вывернул руль и вдавил педаль газа.

Соня соскользнула, скрылась из виду, когтями оставив на стекле длинные извивистые царапины. Справа по заднему крылу бухнуло. Очередной преследователь.

Мальцев успел поверить, что спасётся.

Тут «Ниву» повело и вышвырнуло из колеи в сугроб. Мальцев треснулся о руль. Новая вспышка боли – сегодня просто ночь боли, он никогда к ней не привыкнет. Нос враз перестал дышать. Нижняя губа лопнула и по подбородку побежала кровь – тёплая. Мальцев вспомнил о паре рубиновых глаз, распахнувшихся в израненном космосе, ищущих его... и нашедших.

Двигатель дёрнулся и заглох.

Учитель успел шлёпнуть ладонью по фиксатору прежде, чем дверь распахнули снаружи. На стекло обрушился град ударов. Не оглядываясь, Мальцев потянулся к заднему сиденью. Салон наполнялся пляской призрачных теней. Новых и новых.

Мальцев подался всем телом и ухватил канистру. Та была наполовину пуста – или полна, если вы оптимист. Сейчас Мальцев хотел быть оптимистом. Он открыл крышку и учуял бензин даже несмотря на сломанный нос. Его затошнило. В спину вошёл кол и вышел из грудины – сердце, самое время ему напомнить о себе. Стиснув зубы, Мальцев встряхнул канистру. Терпкий маслянистый язык облизал кресла, попал

на руки, на живот. Учитель вытащил из кармана спичечный коробок... и улыбнулся.

Отныне он не будет мёрзнуть.

Стекло за его затылком лопнуло, шершавое крошево обдало шею и посыпалось за воротник. Ледяные руки вцепились в волосы, когти вспороли скальп. Правая дверца со стоном распахнулась, и через сугроб в кабину ввалился Воронов собственной персоной. Полы его халата хлопали, как крылья летучей мыши, обнажая скукожившиеся от мороза гениталии. Пасть Воронова распахнулась, обнажая частокол зубов. «Новый год настаёт! С Новым годом, с новым счастьем!», – врывалось в салон отовсюду, как канонада.

«Вот уж где боль», – подумал учитель и рассмеялся прущему в лицо акульему оскалу.

– Карина, – сказал Мальцев вслух. Чиркнул спичкой.

Рванула петарда – первая за эту ночь. Далеко и, судя по звуку – зверски мощная. Фадей Мичуев разлепил веки. Оконные стекла дребезжали, но не взрыв вырвал его из бесвязного и тревожного сна. Его разбудил холод.

Старик не врал, когда говорил соседу Мальцеву, что к холоду нечувствителен. Однако сейчас у Мичуева зуб на зуб не попадал. Он потянулся за верным клетчатый пледом, натянул его поверх одеяла и укутался, намереваясь опять заснуть. Не вышло. Он промаялся ещё какое-то время и, наконец, уселся на кровати, отчаявшись. Поёжился.

Неужели отключили отопление? Вот беда!

Кряхтя, Мичуев поднялся со стылого ложа и заковылял к окну пощупать батареи. У окна он услышал, как выше по улице воют – нет, плачут – собаки. Мичуев встал как вкопанный. Тревога, гостя из сна, не отпускала, но разрасталась, и она никак не была связана с отоплением. Внезапно он раздумал щупать батареи. Он захотел достать из-под шкафа завёрнутую в ткань отцову двустволку, с которой по молодости ходил бить птицу, забраться на чердак и ждать... кого?

Что-то мелькнуло за стеклом, и по полу пробежала неведомая тень.

Старик нацепил очки и, щурясь, подкрался к окну.

Они стояли снаружи – гибкие, лёгкие силуэты. Полуобнажённые люди босиком на снегу. Мичуев знал их всех... и одновременно не узнавал. Сполохи – пульсирующие, цветастые – заливали дворик и сгрудившихся у дома призраков.

Казалось, продолжается сон.

Они что-то держали, будто дети, которые нашли под ёлкой подарки и теперь желали, нетерпеливые, похвастаться старику.

Вероятно, так оно и было.

«Бедные, глупые дети...»

Старик сощурился пуще.

Что ж, судя по «подаркам», они явились явно не поздравить дедушку Фадея с праздником.

Кастеты и биты. Монтировки и арматурины. Кувалды и

цепные пилы. Алина из парикмахерской сжимала в руке опасную бритву.

Пришельцы двинулись к дому молчаливой шеренгой, а через забор перелезало подкрепление.

Мичуев понял, что двустволка его не спасёт.

Он попятился, путаясь в плече.

Разлетелось стекло, и в доме стало стократ холодней.

С отщепенцами расправились живо. Карельская ночь долгая, а отступников, не желающих разделить повальное веселье, – всего ничего. Новый год любит стар и млад, а отступники... что ж, им же хуже.

Покончив с вольнодумцами, жители Раутаои вернулись на площадь – туда, где сбывается обещанное и вершатся чудеса, где детский, чистый восторг заставляет скованные льдом сердца трепетать в унисон. Музыка, салют, забавы и, конечно, подарки! Без преувеличений, это был лучший Новый год на памяти города.

И, обратив друг другу лучезарные улыбки, не в силах более сдерживать рвущееся из груди счастье, горожане пустили дарованное в ход. Взметнулись над толпой и обрушились на головы биты, топоры и дубинки. Раскалывались головы, трещали плечи, ломались колени. Поверженные падали, залиристо смеясь, и исчезали под ногами устоявших. Всех переполняла любовь. И – новогоднее настроение.

На редущую толпу с похвалой взирала царица праздника

– нарядная ель, и огни её, казалось, разгорались ярче, точно разноцветное дыхание, а тьма меж зелёными лапищами возбуждённо бурлила, отливаясь в диковинные формы, напоминающие лики. Вот одно лицо, с глупо раззявленным редкозубым ртом, которым только милостыню клянчить. Вот другое – немолодое, осунувшееся, заросшее щетиной; обладатель такого лица вовек не знал веселья. А вот третье – совсем старое, не физиономия, а печёное яблоко, в которое шулки ради воткнули трубку.

Но огни разгорались пуще и делалось ясно: нет среди ветвей никаких лиц, а то, что может примерещиться, – игра света и тени. Только и всего.

2021-2022

Сырое мясо

Про домовых баба Шура знала больше всех на свете, хоть и отнекивалась каждый раз, когда Игорёк восхищался её житейской мудростью: «Да что я, буде. Вот моя бабушка Таня, твоя, выходит, прапрабабушка, та и вправду всё про хозяйшек ведала. И не токмо. Как травами лечить, как боль заговаривать, как лучше садить, чтоб урожай вырос славный. Мне сказывала, да я забыла много. Голова-то старая... В Сибирь сослали бабу Таю, как революция учинилась, а нас, деток, в город, в приют, значит...»

Маленькому Игорьку про прапрабабушку и приют слушать было неинтересно, и он приставал опять:

– А расскажи, ба, как я видел домового!

– Да ведь слышал сто раз, – ворчала бабушка притворно, а сама украдкой улыбалась. – Сколько можно?

– Ну ба! – канючил Игорёк, прижимаясь щекой к тёплому бабушкиному боку.

Баба Шура оставляла домашние дела – её руки никогда не знали покоя, – ерошила внуку волосы (пачкая вихры мукой, если лепила пельмени или пирожки) и уже не прятала улыбку.

– Ты ещё крошка был. Три годика, поди. Сидишь ты в комнате, а мы в другой, телевизер смотрим. Вдруг – хохочешь. Пошли с мамой смотреть. А ты пляшешь, притоптываешь и

как играешь с кем-то. Увидал нас и показываешь вперёд себя: там, мол, мишка с рюкзачком. А в комнате, кроме тебя, никого, одни машинки разбросаны да солдатики. Ну ты и говоришь: «Убежал мишка». Спрятался. Так вот, ёжик.

Всё про домовых знала баба Шура: и как к ним обращаться, и как ладить, и как знаки их угадывать. И как угощать правильно тоже знала.

– Наш домовичок молочко любит да хлебушек. А на первое февраля его день. Ты тогда дай ему кашки и пригласи отведать: «Дедушка-соседушка, кушай кашу да избу храни нашу». Ну, или квартиру, раз теперь мы в квартире живём. Что не доест – птичкам отдай. И за помощь поблагодари обязательно.

Домовой и впрямь жаловал молоко с хлебцем. Оставишь перед тумбочкой, что у балкона, лакомство, утром глядь – хлебец надкушен, молока нет. Было дело, бабушка по случаю оставила защитничку рюмку водки. Поутру рюмка оказалась пустой, но потом весь день баба Шура недобро косилась на Генку, отца Игоря, а вечером-таки с ним поцапалась.

Игорёк страсть как желал подстеречь домового, когда тот явится за гостинцами, да так и не сумел – домовые только малютам показываются, соглядатаев повзрослее не терпят, могут осерчать.

Бабушка, мама... отец. Где теперь то время? Что от него осталось?

– Я, – произнёс Игорь Светлаков вслух. За спиной, ур-

ча, отчалило такси, всполошив промозглую апрельскую морось. – И домовой, – добавил он, печально усмехнувшись. Ох уж эти бабушкины сказки. И почему только он их вспомнил?

«Потому что я скучаю», – пришёл ответ. Игорь двинул по скользкому облезлому половику прошлогодней травы к жёлтой осунувшейся пятиэтажке. Сырые сумерки легли на двор фиолетовым покрывалом, но в доме светились лишь четыре окна, плотно зашторенные. Игорь затолкал руки поглубже в карманы и, нахохлившись, продолжал путь, мысленно понукая себя не сбавлять шаг. И чего он попёрся сюда на ночь глядя? Остался бы в отеле, погулял по вечернему Воронежу или поболтал с Катей – как она там, в Питере, справляется? Жаль, её нет рядом, но увы, путешествия поездом не так комфортны, когда ты на последнем триместре.

Чавканье травы под ногами сменилось хрустом гравия. Отчего-то Игорь пожелал, чтобы хруст этот звучал тише.

Зажатый панельными новостройками, дом щерился провалами подъездов, моргал мутными глазами-окнами, как невыспавшийся забулдыга. Дорожку, по которой семенил Игорь, обрамляли изломанные скелеты чахлой сирени. Гроздь увесистых, терпко пахнущих капель облепили ветки. Косо вбитый в землю деревянный Чебурашка выплыл слева из темноты, как покойник, который беззвучно поднялся со дна чёрного озера. Справа – дуги наполовину вкопанных в песок шин. Игорь не знал, остались ли дети в этом дворе. Если нет, кто играет с кряжистым истуканом, скачет по шинам? Ста-

рики? Призраки?

Он мог бы справиться об этом у жильца, чью фигуру приметил на скамейке у нужного подъезда. Сидящий не выглядел опасным, однако Игорь неосознанно расправил плечи и подал грудь вперёд. Между лопаток щёлкнуло. Игорь вошёл в пятно света под козырьком, нашаривая в кармане ключ – чуть торопливей, чем требовала ситуация. Пока искал, боковым зрением ощупывал сидящего.

Мужчина кутался в синюю куртку самого скверного покроя. Даже в чухлом свете фонаря Игорь разглядел, как сильно поистёрт синтепон. Мятый капюшон облеплял череп мужчины, словно отсыревший лист лопуха. Сгорбившись почти в дугу, незнакомец изучал потускневшую надпись, сделанную белой краской на асфальте перед подъездом: ПИДОР ЗДЕСЬ НЕТ ПОМОЙКИ! Его руки лежали на коленях, а пальцы быстро, дёргано сжимались и разжимались. Кулак – кисть, кулак – кисть. Игорь невольно ускорил поиски ключа, будто исходящая от мужчины нервозность была заразной.

Ключ не понадобился. Вместо домофона в двери зияла дыра с рваными краями. Игорь толкнул дверь и юркнул в подъезд. Сработал датчик, вспыхнула лампочка, явив взору наморщенные трещинами стены, некогда голубые, теперь вылинявшие до поганочно-зелёного. Лестница взбиралась в полумрак, напитанный вонью сгнившей картошки и старушечьего дыхания. Потолок, как язвами, был усеян пятнами

от сгоревших спичек.

Игорь потянул ручку двери, чтобы скорее отгородиться от оставшегося на скамейке любителя вечернего воздуха. Доводчик всхлипнул, дверь нехотя поддалась. Игорь начал восхождение.

На втором этаже очередная лампочка высветила угрюмые прямоугольники дверей (они напомнили Игорю поставленные на попа крышки гробов), примитивный рисунок раскочерившейся голой женщины во всю стену и россыпь матерных посланий вокруг неё.

На третьем этаже лампочка не зажглась.

Впрочем, Игорю того не требовалось. Дверь квартиры номер девять, знакомую с детства, он не пропустит. Вот она, первая по левую руку.

Игорь вставил ключ в новенький замок – он сам врезал его полгода назад взамен прежнего, спиленного слесарем – и дважды повернул. Лязг. Игорь взялся за ручку. Та казалась скользкой и тёплой, как потная ладонь незнакомца. Дверь открылась с тягучим муторным скрипом. Игорь ступил за порог.

– Вот и я, – произнёс он, желая себя ободрить. – Встречайте наследника. Кто не спрятался, я не виноват.

Вопреки ожиданиям, собственный голос заставил его поёжиться. Здесь, в пустых стенах, слова казались неуместными, жуткими. Будто к Игорю обращался подкравшийся сзади чужак.

Что, если и правда кто-то не успел спрятаться?

Он принялся шарить по стене в поисках выключателя, стараясь не думать, что светильник перегорел... или о чужой руке, которая найдёт *его* руку во мраке. По-паучьи зашуршали обои под пальцами. Нашли выключатель. Щёлк!

Вспыхнула лишь одна лампочка из трёх. Что ж, и на том спасибо.

Игорь осторожно прикрыл дверь.

Ему едва исполнился год, когда молодая семья Светлаковых переехала из Грозного, где ещё не успело завертеться, но стремительно шло к тому, в Воронеж, в бабушкину «двушку». Отец устроился на Юго-Восточную железную дорогу и с первых дней начал откладывать на собственное жильё. Если ты приёмосдатчик, то быстро не накопишь, и потому по выходным отец разгружал фуры. С бабушкой, маминой мамой, Светлаков-старший ладил как кошка с собакой. Или как собака с кошкой. Когда до заветной свободы от соседства с тёщей оставалась получка-другая, грянул дефолт. Сбережения Генка Светлаков хранил исключительно в деревянных. «Доллар, – втолковывал он жене, – это ничем не обеспеченная резаная бумага, фантики. Скоро весь мир перейдёт на расчёты в рублях, а америкосов ждёт крах». Крах наступил, но отнюдь не у америкосов, и нажитое непосильным трудом превратилось в ту самую резаную бумагу, которой глава семьи страшал домочадцев.

Скандалы вышли на новый уровень. Отец рычал на супругу и тещу, лупил кулаком в стены и сваливал ночевать невесть куда. Мать обзванивала знакомых и морги, а бабушка называла зятя анчуткой и вспоминала, как тот вложился в МММ да всё и профукал. Наутро Светлаков-старший возвращался с букетиком – чисто джентльмен, кабы не запах перегара, – клянчил прощения и получал оное. А потом – всё по новой. Так и пил до самой своей смерти прошлым ноябрём.

Сейчас Игорь топтался в прихожей, словно втиснутый меж двух сблизившихся стен, не решаясь сойти с половичка. Квартира была полна воспоминаний, точно вагон поезда, который привёз его в Воронеж, едрёным запахом скисших носков. И плохие воспоминания, как водится, вытесняли хорошие. Игорь опять подумал: заявиться сюда вечером – дерьмовая идея. Захотелось вернуться в отель.

«Соберись, тряпка», – одёрнул Игорь себя.

Он пересёк крохотную прихожую и очутился перед выбором: слева – кухня, прямо – комнаты. Почти не колеблясь, выбрал кухню. Каждый уголок хранил свою историю, в каждом случилось своё скверное, и по хронологии дурных событий кухня шла первой. Там умерла бабушка. Мама – в спальне, ну а в зале – отец.

Когда Игорь включил свет в комнатке, он почти увидел бабушку у стола, на котором она месила тесто для пельменей, или закатывала соленья в банки, или сочиняла ватруш-

ки. В глазах защипало. Горечь тоски, внезапно-пронзительная, легла на чувство страха и слилась с ним в чистейшее благородное страдание.

Лампа под абажуром уютно теплилась, силясь вернуть в детство. Но магнетики, которые чешуёй облепили потемневшую дверцу холодильника, поблекли. В углах под потолком пыльная паутина отсвечивала сединой. Клеёнчатая скатерть бугрилась ожогами от «бычков»: оставшись один, Светлаков-старший вконец опустился. Не отдавая себе отчёта, Игорь стянул скатерть со стола. Она оказалась на ощупь такой же, как и на вид – замызганной и сальной. Кажется, станешь мыть руки после – не отмоешь. Игорь свернул скатерть и закинул на холодильник. Призрак отца покинул кухню, и осталась только бабушка. Бабушка.

В тот день она вынула из морозилки грудинку для борща и поставила на подоконник оттаивать. Отец пришёл со смены, уснул перед телевизором и потому не услышал, как бабушка упала и ударилась затылком о выложенный плиткой пол. Так, по крайней мере, отец скажет позже, и некому будет опровергнуть его слова. Мама работала, пятиклассник Игорёк в школе корпел над изложением «Руслана и Людмилы»; февральский день, полный снежного хруста, был восхитительно ясен – мороз и солнце.

И этот день оказался скомкан, изломан, наполнен удушливым сумбурным мытарством. Бабушку повезли в больницу, родители поехали следом, а Игоря оставили дома с соседкой

тётей Варей, хотя и он хотел со всеми, хотел к бабушке, чтобы первым увидеть, как она откроет глаза и станет понятно: бабушка поправится, пусть и не сразу, но обязательно, и всё станет хорошо, всё станет... как надо. Тётя Варя бестолково хлопотала вокруг школьника, главной проблемой которого пару часов назад были запятые в сложных предложениях. Тётя Варя нравилась Игорьку, она угощала конфетами и порой щекотала, однако в тот раз он выносить её не мог, еле сдерживался, чтобы не заорать. Сдерживался так сильно, что и плакать не получалось. Просто сидел на табуретке у кухонного стола, поджав ноги, с горем, запертым внутри.

Тётя Варя стёрла алое, похожее на закорючку, пятнышко, оставшееся на полу у плиты. Словно след злодеяния, порочную улику. Игорёк – Игорян, как звали его одноклассники, хотя для бабушки он оставался Игорьком – с мучкой наблюдал, как блекнет вода в тазу, где соседка полоскала тряпку. Подтаявшее мясо выказывало из миски розовый лоснящийся бок.

– Ой! – опомнилась тётя Варя. – У меня духовка включена осталась. Счас я, миленький. Подождёшь?

Как будто ему, одиннадцатилетнему, требовалась нянька. Игорян понуро кивнул.

– Не переживай, миленький, поправится баба Шура, – выдохнула соседка и убежала, подобрвав юбки. Он ей почти поверил. А потом взгляд упал на мясо. И вспомнилось алое пятно.

Вчера баба Шура задабривала домового блюдцем с кашей к его особому празднику, первому февраля. Просила достатка и лада на целый год: «Кушай кашу, квартиру храни нашу». Игорян, уже считавший бабушкины заговоры причудами, пусть и милыми, улыбался снисходительно, но и неловко – сам когда-то домовичка подкармливал. Было дело. Ребёнок – что взять?

Пятнышко крови – алая закорючка на кафеле – печатью легло на нехитрые старушечьи причуды, зримо и весомо свидетельствуя: не видать семейству ни достатка, ни лада.

– Угощение не понравилось?! – всхлипнул Игорян, не отрывая взор от куска мяса. Слезы размыли его, превратили в нечто бесформенное и распадающееся; мальчик словно заглянул сквозь мясо как сквозь безобразную линзу, в иную – мёртвую – реальность.

Внезапно оцепенение сгнуло. Игорян сорвался с табуретки, выхватил из выдвижного ящика нож и подступил к окну. Застрявшая в волокнах мяса изогнутая складка нахально улыбалась.

В неё-то он и вонзил лезвие, другой рукой прижал грудинку и принялся остервенело пилить. Под верхним размякшим слоем захрустел, но поддался ледок. Пальцы скользили по склизкому розовому валуну, как неумёхи, впервые вставшие на коньки. Лезвие вспарывало сочную мякоть возле самых пальцев, но мальчишке было всё равно. Говядина плавилась и отслаивалась под сталью. Наконец на ладонь плюхнулся

свекольно-розовый, напоминающий здорового слизняка, ломоть. Игорян сжал его в кулаке. Меж пальцев выступил липкий терпкий сок.

Швырнув нож в раковину, он решительно протопал в бабушкину комнатёнку. Упал на колени подле балкона, отбив их, но не почувствовав – чтобы позже отстранённо удивиться синякам, – и задвинул истекающий красной жижицей шматок за тумбочку. Там, считала бабушка – как и он сам когда-то, – обитал «хозяин».

– Дедушка-соседушка, – завёл Игорян чужим, сиплым голосом молитву собственного сочинения, – кушай мясо с кровью, верни бабушку живою. Кушай мясо с кровью, верни бабушку живою. Кушай мясо с кровью!..

В прихожей затрещал телефон. Игорян неуклюже поднялся и заковылял, чтобы ответить.

Звонила мама из больницы. Она плакала. Она сказала, инсульт. Она сказала, ничего нельзя было поделать. Остальное он слышал плохо, потому что плакал сам. Взрослые пацаны не плачут – он и не плакал с тех пор, как Карась устроил ему взбучку, – но сейчас Игорян опять стал маленьким Игорьком, желающим услышать бабушкину быличку. Ещё не осознавшим до конца: никогда больше.

Он опоздал со своей молитвой. И возможно, это стоило бабушке жизни.

Двадцать с лишком лет спустя Игорь Светлаков, айтишник, муж и будущий отец, стоял посреди кухни бабушки-

ной, затем родительской, а теперь и его квартиры, сдерживая подступивший к горлу ком, бессильный перед воспоминаниями. Глаза горели. Игорь шагнул к раковине и повернул вентиль, забыв, что перекрыл воду после похорон отца. Кран ответил утомлённым, как последний выдох умирающего, свистом. По пересохшему дну раковины сновали жёлтые муравьи. Игорь скривился.

Ладно, заключил он. Кухня выглядит сносно. Смахнуть пыль и паутину, помыть, проветрить, подклеить обои – и нормалёк. Невзыскательный наниматель останется доволен. Пора двигаться дальше. В комнату бабушки.

Он старательно избегал смотреть в сторону окна, но в дверях не удержался – окинул взглядом непроницаемо-чёрное стекло над пустым подоконником и вновь мысленно вернулся в те свинцовые дни. Закончил воспоминание.

Наутро, среди предпохоронной суматохи, Игоря проверил пространство за тумбочкой. Кусочек мяса исчез. Мама ли выкинула, уволокла ли пробравшаяся в квартиру мышь... или и впрямь сырая говядина пришлась домовику по вкусу. Хозяин никогда не съедал оставленные бабушкой печенки или щедро посоленные горбушки целиком – надкусывал только. Поэтому мальчик решил, что подношение стало жертвой суетливой маминой уборки. Он не спросил перед похоронами, а после них это и вовсе стало несущественным. И в итоге позабылось. До сей минуты.

Теперь Игорь не был так уверен.

– Ты то, что ты ешь, – повторил он шёпотом любимую отцову присказку. Светлаков-старший твердил её, как мантру, когда сын возвращался из секции дзюдо и садился ужинать. Присказка вечно раздражала Игоря. Если верить в её правдивость, Игорю светило превратиться в птицу, потому что отец вечно пичкал его варёной курятиной – она была не столь болезненна для семейного бюджета.

Из кухни он свернул налево и открыл дверь в прямоугольный чёрный колодец – бабушкину комнату. Щёлкнул выключателем, снова успев подумать: что тянется к его руке сквозь тьму, что увидят глаза, когда вспыхнет лампа? Мурашки зябкими коготками отплясали по спине.

Лампа вспыхнула, замерцала. Глаза увидели скудное убранство, не изменившееся с прошлого визита – как, впрочем, и позапрошлого, когда одиннадцать лет назад Игорь приезжал хоронить маму. Почти келья: кровать, стол, утлый стул, шкаф и тумбочка, за которой, если верить бабушке, жил домовый. Комнатёнку оживляли разве что куколки, которых шила мама: расселись, где только можно, словно зрители на спектакле. У отца не поднялась рука от них избавиться.

Игорь вошёл, прикрыв дверь, заметил среди тряпичного народца мальчика в кимоно, и новая лавина воспоминаний накрыла его с головой.

– Ты то, что ты ешь, – назидательно сказал отец Игоряну,

когда тот вернулся с первой тренировки по дзюдо. Варёные грудки напоминали разбухшие бледные языки, вырванные и брошенные на тарелку. От них поднимался жаркий пар. Игорян проголодался, но первый же кусок отбил аппетит – грудки у отца вышли сухими и несолёными.

Пока сын жевал, давился и запивал водой, Светлаков-старший читал ему лекцию. Бабушка кормит его нездоровой пищей, заявил отец. От плюшек и пышек Игорь сам станет, как пельмень, заявил отец. Если мужик хочет стать сильным, нужно есть мясо, заявил отец. Только так сын сможет одолеть Карася.

Мишка Карасёв поселился в соседнем подъезде года три назад. По счастливому стечению обстоятельств Игорян и Мишка, стремительно снискавший в округе дурную славу, почти не встречались ни во дворе, ни в школе. Игорян учился в первую смену, Карась – во вторую. За обеденную перемену, когда ребята пересекались в коридорах, условия для стычки не успевали созреть. Но с четвёртого класса Игорян стал учиться во вторую смену. Здесь-то везение и кончилось.

Справедливости ради, спровоцировал Карася сам Игорян. Неизвестно, стал бы Карась его донимать, не услышь он дразнилки. Скорее всего, да – Карасю не требовался повод, чтобы пустить в ход кулаки. Это был долговязый жилистый детина с узким, бледным, как у вампира, лицом и тонкими, кажущимися хлипкими – обманчивое впечатление! – руками, заканчивающимися увесистыми, точно гиры, кулачинами.

Телосложение делало его похожим на солдата из армии Урфина Джюса, разве что не выструганного из дерева, а свитого из каучуковых жгутов. Нижнюю губу Карася украшала мохнатая родинка: будто паук выполз изо рта и притаился перед скачком. Карась беспрестанно высовывал язык и облизывал её. Гадость!

В тот день у Игоряна прорезался поэтический дар, коим он решил поделиться с одноклассниками на перемене. Проклятое тщеславие творца! «Наш Карась уродина, – заливался Игорян в голос, упиваясь собственным остроумием. – А на губе у него родинка!». Одноклассники приветствовали поэтический гений Игоряна одобрительным хохотом. А потом как-то резко умолкли. Кружок поклонников моментально поредел. Должно быть, устали смеяться.

Прежде, чем Игорян понял причину стремительного увядания мирской славы, он словил поджопник, подзатыльник, а когда развернулся в недоумении – и прилёт в лоб одного из знаменитых кулаков Карася. Дальше на развенчанного пиита обрушился град ударов. Карась превратился в мельницу. Дрянь, а не техника, но при его силе и росте мастерство и не требовалось. Карась погнал пытающегося закрыться школьника по коридору и обратил в бегство.

– Карась – с-сука! – взвизгнул Игорян с лестницы.

– У-у! – заревел выдохшийся было Карась, срываясь в погоню.

Игоряна спасли быстрые ноги. На этот раз.

Так его бенефис послужил началом извечной вражды между творчеством и грубой силой. Отныне любая их встреча заканчивалась для Игоряна печально: смачным пендалем, саечкой за испуг или тремя ударами «в душу», тоже за испуг. Первые два удара были издевательски невесомыми, зато третий Карась пробивал в грудь страдальца со всей дури. Три удара «в душу» считались у Карася классикой и применялись чаще прочих экзекуций.

Как любой правильный школьник, Игорян знал, что ябедничать западло, а стукач – хуже петуха. Не все жертвы Карася разделяли эти принципы. Одна из них пожаловалась своим предкам, те пошли к завучу, и всё обернулось родительским собранием. Отчего-то Карась решил, что сдал его Игоряна. Возможно, потому что баба Шура возмущалась на собрании громче прочих. После общественно-педагогической проработки Карась не преминул отловить Игоряна по пути в столовку.

– Думаешь, я с твоей мамыши заменжуюсь? – прошипел дылда, дыша котлетами в лицо пойманного школьника. Ву-смерть перепуганный, Игорян счёл неуместным уточнять, что на собрании неистовствовала бабушка, а не мать. – Тебе пизда, лох.

И сдержал слово. Долго ждать не пришлось – компашка Карася отловила Игоряна и устроила за школой расправу. Хулиган заломил недругу руки за спиной и велел самому младшему подпевале лупить пленника без усталости. Стриже-

ный шкет выполнил поручение со всей безнаказанной страстью третьеклассника.

Больно не было. Во всяком случае не настолько, чтобы боль затмила поругание. Никогда в жизни Игорян не чувствовал столь колоссального унижения – ни до, ни после. От обиды он разревелся в голос. Прибежал домой в соплях и попался, зарёванный, на глаза родителям. Слово за слово, и они вытянули из сына всю историю.

Следствие проводилось в бабушкиной комнате.

– Не ходите! – надрывался Игорян, осознав содеянное. – Я не трепло! Не надо в школу!

– И не собирался, – буркнул отец. – Мужик сам должен решать свои проблемы.

– Ага, – откликнулась баба Шура язвительно. – Ты-то бежал в милицию, когда у тебя червонец свистнули.

Отец окатил бабушку неприязненным взглядом, как кипятком.

– Отдам тебя на дзюдо, чтоб ты мог сам за себя постоять, а не пускал по квартире пузыри. Вон, сидишь весь в пене, как огнетушитель, – объявил он сыну. – Решено.

– Всё приходится брать в свои руки... – вздохнула бабушка и утешила: – Ничего, Игорёк, не останется без наказания твой Карась.

Внук, напротив, пришёл в ужас:

– Ты что?! Не смей! Я не стукач!

– У кого ты нахватался слов таких? – покачала головой

баба Шура и красноречиво посмотрела на главу семьи.

– Александра Макаровна! – возвысил голос отец. Бабушка открыла рот, намереваясь напомнить, что она шестьдесят пять лет Александра Макаровна.

– Угомонитесь, ну, угомонитесь оба! – умоляюще встряла между ними мать. – Ген!

– Не переживай, Игорёк. – Бабушка потянулась погладить внука, ошарашенного поворотом событий. – Выгонят его из школы-то.

– Не ходи, говорю! Ты сдурела совсем?! – зашла жертва травли.

Баба Шура вмиг обмякла. Плечи поникли, голова склонилась. Дух возмездия покинул её.

– А может, и правда, – молвила она, глядя в пустоту. – Сдурела я, видать, старая.

За шкафом прошуршало. Ударило в стену. Сгорающий от стыда Игорян затравленно огляделся. Ни мать, ни отец не придали шуму значения, а пенсионерка печально кивнула:

– Сердится хозяйюшка-то, что ты бабушке такие слова говоришь. – И ушла в ванную лить беззвучные слёзы.

– Баста! – подвёл черту отец. – Завтра же запишу на дзюдо!

И записал – к великому ужасу бабушки, которая не сомневалась, что внучонка однажды принесут с тренировки на носилках.

Конечно, ничего подобного не случилось, хотя первое

время Игорян еле ходил на своих двоих. Однако ноги окрепли, и он даже начал получать удовольствие от занятий. Сенсей прочил ему успех на поприще профессионального спорта, но Игоряном двигало иное. Он спал и видел, как однажды снова сойдётся с давним врагом лицом к лицу. На этот раз поединок будет на иных условиях. «Э, лох! – крикнет Карась. – Три удара “в душу”!». Игорян позволит ему сделать два первых – слабых – тычка в грудь, но на третьем перехватит кисть и броском тэ вадза отправит в низкий партер. Заломит руку, усядется сверху и продолжит выкручивать, пока Карась не разревётся, как девчонка.

Эти грёзы так и не сбылись. И года не прошло, как Карась перевели в школу для трудных подростков. Хотя Игорян и встречал его порой во дворе, обходилось без стычек. Карась посерел и осунулся. Несколько раз физиономию давнего недруга украшали синяки, а однажды Карась и вовсе вышел в свет с бандажом на сломанной челюсти. Поговаривали, что его лупит отец. Незадолго до того, как Игорян уехал поступать в Питер, двор облетела новость: Карась в очередной раз повздорил с папашей на собственном дне рождения и вогнал родителю в сердце нож. Особо посвящённые добавляли, что во время ссоры этим ножом Карась чистил апельсин. Правда или нет, но из жизни Игоряна Карась исчез окончательно. Один отправился в Петербург, другой – в тюрьму.

Сам Игорян оставил дзюдо незадолго до шекспировской трагедии воронежского двора. Появились иные увлечения:

девочки и программирование, причём с ай-ти складывалось даже удачней, чем с девочками. На память о спортивном прошлом осталась сшитая мамой куклолка: мальчик в кимоно с оранжевым поясом.

Крошечный мальчик в кимоно сейчас улыбался с подоконника своему вошедшему прообразу.

Мама пережила бабушку на десять лет. Она умерла в этой самой комнате, на этой самой кровати, под взглядом дюжин пуговичных глаз её тряпичных деток. Оторвавшийся тромб. Отец сказал, мама умерла быстро и безболезненно. Соседка тётя Варя сказала, мама кричала так громко, что слышали в доме напротив.

«Комната, считай, норм, – поспешил подумать Игорь. – Протереть, поменять занавеску с бельём, перебрать шкаф – и порядок, можно сдавать. Куклы. С ними что?..»

Положив решить их судьбу позже, он бесшумно попятился из комнаты. Шлёпнул ладонью по выключателю. Комната погрузилась во мрак, и одновременно лампочка сухо кашлянула, перегорая.

«Заменить лампочку, – добавил Игорь. – И проветрить. Проветрить основательно. Пахнет здесь... хреново»

Он ведь и раньше заметил этот запах – с порога квартиры? Затхлый, прелый, плесневелый; дух подъезда, просочившийся под входную дверь. Слабый, как вонь изо рта старика, который обращается к тебе с расстояния, но ты всё равно улавливаешь.

Были и иные нотки в этой кислой смеси, менее знакомые, нетипичные для норы старого вдовца. У зала они делались заметнее. Игорь брезгливо поджал губы.

Мускусная вонь зверья. Даже спустя полгода, минувшие с отцовых похорон, амбре не выветрилось. Неудивительно – если поверить в правдивость сплетен, если отец на склоне лет занимался тем... чем занимался. Голуби, крысы, кошки. Собаки. Игорь явственно различил пёсий дух в крепчающем смердеже. Так в фуге слышна фальшивая нота.

Он до последнего не верил слухам, пока не окунулся в эту вонь зверинца. За шесть месяцев в запертой квартире запах настоялся и превратился в тошнотные миазмы. И так легко поверить в домыслы, когда в квартире ночью ты совсем один.

«Значит, и проблему вони придётся решать. Хороший клининг и новый настил для пола. Только и всего»

Бодрясь, Игорь приступил к завершению обхода. Невольно задержал дыхание и включил люстру.

– Ох, сынок, – тяжело покачала седой головой соседка. За десять лет, прошедших со смерти мамы, она постарела, казалось, на все двадцать. «А кто не постарел?», – мрачно спросил себя Игорь, разливая водку в опустевшие рюмашки – свою и тётъ Варину. Немногие явившиеся помянуть отца разошлись, Катя вызвалась довести какого-то отцовского сослуживца до остановки. Откровенной беседе не мешал ни-

кто.

– Ох, сынок, – повторила тётя Варя, невидяще глядя на полную маслянистого блеска рюмку. Игорь налил ей по самый край. – Не стоит про такие вещи говорить-то, про покойного-то.

– Расскажи, тётя Варь, – молвил Игорь с душой. – Я ж сын.

Сын, который и единожды не навестил старика за десять лет. В глазах соседки Игорю почудился укор. Да, отец был крепок здоровьем – телесно, во всяком случае, – и Игорь беседовал с ним дважды в год по телефону, тридцать первого и в день рождения (сам Светлаков-старший отпрыска поздравлять не удосуживался), и присылал деньги, но, возможно, прояви сын больше внимания к отцу, не случилось бы... того, что случилось.

Именно эти слова он прочёл во взгляде старушки. Водка не поможет, решил он вдруг, сколько ни влей. Но тут тётя Варя встряхнула головой, лицо прояснилось. Она заговорила. Игорь не перебивал.

Никто не знал, когда у отца возникла та садистская страсть, как осталось тайной и то, сколько зверюшек он замучил. Как любой недуг ума, одержимость Светлакова-старшего шла по нарастающей. Он начал с крыс, мышей и попугайчиков из зоомагазина. Когда пошла молва и двери магазинчика перед ним захлопнулись, отцу пришлось полагаться на собственные силы. Он рыскал по дворам в поисках живности. Обрюзгший, сутулый, с седой неухоженной гривой, спа-

дающей на замызганную тельняшку, и седыми неухоженными усами, которые отрастил в своём бесприютном вдовстве. Мамочки, завидев кособокую фигуру, стискивали ручки своих чад и торопились убраться подальше. А уж владельцы питомцев и вовсе не находили себе места. Если пропадали прикормленные дворовые кошки – а они, в конце концов, пропали все, – жильцы знали, кого винить. Тётя Варя сама видела в окно, как поздним вечером отец чесал к подъезду со свёртком под мышкой.

– Он дёргался, свёрток, – пробурчала старушка, походя осушив рюмку. Игорь услужливо подлил.

Сколько верёвочке ни виться... Светлаков-старший погорел на попытке умыкнуть шпица из-под носа отвлекшейся хозяйки. На хозяйкин ор сбежалась половина двора, тогда как другая прильнула к окнам. Шпица отбили, а пойманного с поличным под улюлюканье погнали прочь пинками.

– И что он с ними выделявал, грешный, так и не выведали, – бормотала тётя Варя, пьяно раскачиваясь на табурете. – Не нашли... зверят... Как и ту... собаку.

«Та собака». Причина, по которой отца хоронили в закрытом гробу. Игорь вздрогнул и плеснул водки уже себе. Хлопнул, не закусывая.

Следователь был скуп на ответы и щедр на вопросы. Где находился Игорь Светлаков в ночь с такого-то на такое-то? Хорошо. Кто может подтвердить? Хорошо. Кому Григорий Светлаков мог передать ключ от квартиры? Неизвестно? Хо-

рошо. А сам Игорь Светлаков не передавал ли кому ключ? Хорошо...

Дело не возбудили. Как установил эксперт, отец умер от инфаркта. Следы укусов появились уже после смерти. Так это называлось в протоколе: «следы укусов». «Обглодан», – поправил бы Игорь, но экспрессия не для официальных бумаг.

На работе – Светлаков-старший продолжал работать на РЖД, под конец всего-навсего сторожем – отца хватились третьего дня. Квартиру вскрыли. Одной из понятых оказалась тётя Варя.

– Я закричала, – сказала она трезвеющим голосом. – Мы все закричали. Даже участковый. Налей ещё беленькой. Кошмары чтоб не снились.

Отец лежал ничком на полу зала возле неубранного дивана. Его ноги были объедены. Из семейных трусов торчали кости с ошмётками начавшего темнеть мяса. Объедено было и правое плечо – зверь выдрал порядочный кус, рана протянулась до самой шеи. Тельняшка проржавела от засохшей крови. Как и пол под изувеченным телом. Окно было приоткрыто. На трупе пировали всласть осенние мухи – разжиревшие от снеди, слишком отупело-тяжёлые, чтобы летать. Смердело медью и зверьём. Тем самым, которое не нашли.

Следователь заключил, что над телом потрудилась собака. Какая-то здоровенная дворняга. Одна из жертв отца по иронии судьбы отомстила мучителю за всех растерзанных жи-

вотин. Нажравшись, псина сиганула в окно. Да, третий этаж – ну так она же дура, псина. Очухалась и удрала. Иначе как объяснить её отсутствие в запертой квартире?

Действительно – как? Но каждый раз, когда следак повторял: «Собака, собака, собака», глаза его бегали, точно искали укрытия от неудобных вопросов.

И пусть парень из морга уверял, что у собаки, судя по укусам, была пасть медведя, Игорь дал копу себя убедить. Так за каким он взялся выпытывать у испуганной пожилой женщины тайну?

Всё равно от её ответов не стало легче. Ни тогда, ни теперь.

Итак, Игорь невольно задержал дыхание и включил люстру.

Свет хрипло вспыхнул, ударил по глазам частым морганием, отчего под черепом мигом вспух пузырь боли. Ошарашенный, Игорь остолбенел в дверях, не понимая, где очутился.

Полгода назад он оставил квартиру совсем в ином виде. Кровь на полу так и не удалось полностью оттереть, она проела линолеум, но с остальным беспорядком Игорь справился.

Теперь же в зале словно разорвалась осколочная граната. Цветастая бахрома растерзанных обоев свисала со стен пыльными пересохшими языками; из ран проглядывали жёлтые страницы газет. Половичок, который прежде при-

крывал пятно крови, неведомая сила скомкала в драный мяч и зашвырнула под кресло. Из вспоротого брюха пропотелой подушки на разодранный плед вывалились несвежей блевотиной пуховые потроха. Безжизненно обвисли щупальца разорванной гардины. Кинескоп «Грюндика» лопнул, обнажив электронный фарш внутренностей. И осколки – они усеяли пол, как диковинные сорняки: битое стекло серванта, треугольные зубы расколотого зеркала, черепки от чайного сервиза, керамическое крошево, оставшееся от пузатого вазона. В воображении Игоря пронеслась сцена из «Крепкого орешка», где Джон Макклеин улепётывает от гангстера босиком по осколкам. «Яппикайей, мазафака»

Ни хера не смешно. Он скорее насрёт в штаны, чем прыснет, да что там прыснет – даже звук собственного сердцебиения казался неуместным. Лицо Игоря горело, как и ладони, и лёгкое щекотание, точно чужой выдох, обдало шею: встопорщились волоски на коже. Шок растерянности перетёк в неодолимый беспримесный страх.

Были и другие звуки, внешние. Он ведь слышал их и раньше, едва переступил порог квартиры, – не придал значения, посчитав шорохами старого дома. Потрескивание дерева, гул в трубах, ветер, ощупывающий оконные ставни...

Или хруст битого стекла. Будто кто-то незримый перебирает осколки, легонько, чтобы не порезаться.

Пылающий узел внизу живота затянулся крепче. Замерло сердце, налилось бетонной тяжестью – и вдруг дёрнуло в га-

лоп.

Уже не страх – безудержный ужас.

Хруп-хруп. Трак-трак. Словно зубы грызут, перемалывают леденцы... или кости.

Нет, не чавканье – шаги. Ближе. Громче.

Отовсюду.

Каждый осколок трещал под неукротимой поступью. Свет неистово барабанил по глазам, колотил в виски, призывая эпилептический припадок.

А если и впрямь приступ – вот умора-то! Рухнет Игорь физиономией в битое стекло, станет отплясывать лёжа, пуская пену ртом, что твой огнетушитель, возле блеклого пятна недоотёртой крови, кропя алой росой из сотен порезов, и горло...

Матрац резко вспучился горбом – мощно, порывисто, аж подбросило диван. Будто кто-то под ним попытался вскочить. Пианинно взвыли пружины.

Игорь рванул прочь. К выходу – через бесконечно растянувшуюся кишку коридора. За спиной лязгало. Горячая волна смрада – псина, пустой желудок, сохнувшая слюна – вдарила в спину, словно ветер из тоннеля метро, протолкнула дальше.

Игорь вылетел на лестничную клетку, как из пушки, захлопнул дверь и навалился спиной. Пальцы лихорадочно ощупывали куртку, пробираясь к карману, ища ключи, но ловя лишь биение обезумевшего сердца. А когда наконец

отыскали, между кошельком и смартфоном, Игорь понял, что на площадке он не один.

На верхней ступени третьего этажа пряталась в тени долговязая фигура. Чёрное на чёрном. Фигура шевельнулась, попала в отблеск света с лестницы, и Игорь узнал: тип с капюшоном. Тот, со скамейки у подъезда.

И он что-то сжимал в длинной, кажущейся многосуставчатой, лапе.

Нож.

Они начали двигаться одновременно: Игорь – к лестнице, незнакомец – к Игорю. Рука незнакомца дрогнула, закладывая дугу, и Игорь уже не раздумывал.

Шаг вперёд, уход вправо, захват предплечья. Куртка врага мокрая и скользкая, пахнет резиной. Рывок, кулак с ножом уходит вверх. Правая нога Игоря цепляет ногу напавшего. Толчок в грудь, бросок назад – тип в капюшоне летит навзничь, капюшон трепещет и хлопает, как парус. О-сото-гари, чистое, без запинки. Тренер Игоря по дзюдо похвалил бы.

В последний момент Игорь попытался удержать противника. В иной ситуации ему бы удалось – но сердце и трясущиеся руки ещё помнили ужас залитой мигающим светом и осколками комнаты, где что-то стремится вырваться из-под дивана. Тип – грабитель, маньяк или просто пьянчуга – грохнулся на спину. Его голова откинулась, и треск, с которым затылок впечатался в ступень, показался оглушительным.

Как и наставшая за ним тишина.

Изо всех сил тщась проснуться, отказываясь верить в необратимое, Игорь до ломоты таращил глаза на зажатое в кулаке противника грозное оружие – авторучку.

– Эй! – Возглас, сорвавшийся с губ Игоря, был лёгким, как мотылёк. Тип не шевелился. Его подбородок дерзко торчал в потолок, восково-жёлтый в зыбком свете, просачивающемся с лестницы. Под подбородком проступал, как проглоченный камень, крупный кадык.

Игорь кинулся к

(телу)

лежащему, упал перед ним на колени. Слепо нашарил под капюшоном незнакомца затылок. Пальцы погрузились в сырое. Игорь отдёргнул руку. Чужая кровь на ней казалась чёрной, к ладони прилипла пара волосинок.

Он прикусил губу, чтобы не закричать.

«Соберись! Он без сознания! Ему можно помочь!»

Игорь подался ближе, сфокусировал взгляд на лице лежащего. Костистое, асимметричное, с горбатым носом и шишковатым лбом. На нижней губе – мохнатая родинка.

«Он постоянно трогал её языком», – пришла из ниоткуда словно чужая мысль.

С щелчком отключилась лампочка этажом ниже, перестав реагировать на движение, и лестница погрузилась во тьму.

Игорь наугад припал ухом к тому месту, где прятались во мраке приоткрытые влажные губы поверженного. Что-то щекотнуло скулу, и сердце окрылённо вострепелось – жив! Но

то было не дыхание, а щетина с уродливой родинки Карася.

Игоря начало трясти. Каждую клеточку колотило, будто под током. Он уцепился за перила, чтобы не повалиться на тело. Выпрямился.

– Сукин сын! – вырвалось у него отчаянное.

«Ты всегда хотел показать ему дзюдо, – пронеслось в голове. – Сбылась мечта идиота!»

Захотелось хохотать – истерично, заходясь. Напугать до усрачки немногочисленных оставшихся соседей. Они прильнут к дверям, как шпионы, и кто-то – возможно, тётя Варя – вызовет полицию. Когда ему лучше позвонить Кате: до приезда копов или уже из отделения?

«Это несчастный случай!»

Нет. Нет. Нельзя. Никто не поверит. Был бы нож вместо авторучки...

Вспомнилась давняя история из новостей. Педофил напал на мальчика, а оказавшийся рядом спортсмен – то ли отец, то ли брат парнишки – так крепко приложил извращенца, что тот откинулся. Спасителю дали реальный срок. Превышение самообороны. Каково?

Тюрьма, подумал Игорь, это последнее, что нужно и ему, и его жене. Которая, на минуточку, ждёт ребёнка. И всё это счастье – из-за дебила, вздумавшего наскокивать из темноты со своей грёбаной ручкой. Кстати, где она?

Он пощупал вокруг себя. Нашёл ручку возле своей задницы. Сунул в карман. На всякий случай.

«Убийца. Дзюдоист хуев»

Глаза привыкали к темноте, и в ней проступали очертания тела. Игорь снова склонился над Карасём и встряхнул за плечи, в надежде уловить хоть намёк на теплящуюся жизнь. Тщетно. Голова Караса запрокинулась дальше, губы разошлись ухмыляющейся расщелиной, из которой вытекал мрак. Казалось, Карась с издёвкой усмеялся: «Ох и дерьмовый денёк выпал нам обоим. Да, лох?»

Неизвестно, зачем околачивался на лестнице этот дурень, но он явно не собирался пырнуть Игоря. Просто неуклюже взмахнул рукой. Может, сопли хотел вытереть. Новый припадок хохота подкатил к губам Игоря, готовясь прорваться сквозь них, как поток нечистот.

В этот миг жерло подъезда пронзил визг петель. Отворилась входная дверь. Бубухнула. По лестничным пролётам разлился зыбкий свет. Закряхтели, заохали снизу стариковские шаги.

Игорь вскочил, схватил Караса за ноги – стоптанные говнодавы замарали куртку под мышками – и поволок с площадки. Башка Караса болталась из стороны в сторону, будто он яростно протестовал против подобного обращения. Капюшон сполз на лоб.

Игорь упёрся спиной в дверь, повернул ручку, распахнул. Охи и вздохи старика перекатывались со ступени на ступень, ближе и ближе. Пах Игоря свело в едкой щекотке. Чудовищно, но он понял, что вот-вот кончит.

Игорь ввалился в квартиру, втащил труп и через него скакнул к двери. Труп цеплял его за ноги настырными суставами. Игорь захлопнул дверь, придавил плечом. В груди громыхали петарды – одичавшее сердце. Моргал во тьме прямоугольник света – вход в зал, из которого недавно – и так давно – бежал Игорь, думая, что ничего страшнее с ним в жизни не случилось.

«Кровь? – обдало жаром его цепенеющий мозг. – Осталась ли кровь на лестнице?»

Жалобы и стенанья шаркали теперь совсем близко. Старик проковылял мимо квартиры и продолжил восхождение на четвёртый этаж.

Внезапно Игоря охватила ярость. Как мог Карась сломать жизнь ему, и Кате, и их неродившемуся ребёнку? Как посмел?!

«Я – мы – этого точно не заслужили!»

Он вернётся завтра. С моющими средствами, перчатками, сумками... и пилой. Арендует тачку. И... приберётся. Он же хотел навести марафет. За неделю управится. Нет, за день!

Звучит как план.

Игорь прислушался к звукам подъезда. Кажется, никого. Он перешагнул через заломленные руки, отпихнул носком ботинка мешающее плечо, приоткрыл дверь, осторожно высунул нос. Путь был чист.

Игорь протиснулся в узкую щель, выскользнул за порог и захлопнул за собой.

Поясница ныла. Под мышками шамкала грязь. Лицо горело, а в чреслах продолжала свербеть чесотка, но он поверил, что план сработает. Он видел такое в новостях. В Петербурге сумки с расчленёнкой – на каждом шагу, и не находят виновных, а тут всего-навсего Воронеж.

Игорь осмотрел пол площадки, подсвечивая смартфоном. Ни капли крови. Должно быть, ей не дал вытечь капюшон Карасёвой хламиды.

Ну до чего всё удачно складывается!

Он поворачивался запереть квартиру, когда из-за двери раздался стон.

Рука Игоря с ключом замерла у замочной скважины.

Стон повторился. Отчётливый, громкий. И шорох. И возня. Точно кто-то полз.

Игорь прикусил губу. Рот наполнился солёным.

За дверью вскрикнули. Снова шорох. Приглушённый звук падения.

«Жив!»

Игорь распахнул дверь.

Когда он ворвался в квартиру, стон возвысился до сиплого, дребезжащего вопля, полного ужаса и агонии.

Игорь и сам хотел заорать, но страх – лютый, оглушающий – закупорил глотку. Обратил крик в тошноту. И недаром.

Карась не полз, как решил было Игорь – его волокло по полу нечто, словно явившееся прямиком из наркоманского бреда. Ни один знакомый Игорю образ не годился для опи-

сания увиденного. Оно было здоровенным, как медведь, и будто слепленным из комковатой линялой шерсти, серой с чёрным, как колтуны пыли, что копятя под кроватью неряхи. Не зверь и не человек. Нечто.

Горбясь над жертвой, оно тащило её в зал, сграбастав кривой лапой, гибкое и бесконечное, как гигантская, в проплешинах, гусеница, полная трупных соков. Карась почти комично сучил руками. Его ладони скрипуче и скользко шлёпали по полу. Рот открывался и закрывался. По шее стекала кровь. Смердело псиной.

Игорь тарачился во все глаза, словно обратившиеся в мраморные шарики. Сам застыл гипсовым изваянием. Помочь несчастному? Подобная идея, приди она на ум, показалась бы безумием.

Но ум его оставался пуст.

Грубым рывком Карася втянуло в зал, в припадочно моргающий свет, в поле осколков. Карась вскрикнул – измождённо и жалко. Косматое нечто прекратило своё конвульсивное движение. Игорь увидел, что конец этой туши, уплощаясь, уходит под диван.

Бабушка говорила, что домовый может становиться большим, как лошадь, и крохотным, как пуговка. Теперь Игорь мог это подтвердить.

Клювастый, похожий на кудлатую треуголку нарост спереди туши раскрылся со слюнявым чавканьем, и в мерцании люстры блеснули ятаганы клыков, беспорядочно усеива-

ющие пасть цвета стухшей говяжьей печени. Клыки мягко, почти любя, погрузились в плечо бедняги, и густая кровь с хлопаньем потекла меж них, как тёплый воск.

Карась заголосил. Но дребезжание его вопля не могло заглушить иной звук – жадное, захлёбывающееся урчание ненасытной твари.

Она вгрызалась глубже, давилась и жрала, давилась и жрала, содрогалась в спазмах, срыгивала, сблёвывала и жрала опять.

Изголодавшаяся, давно брошенная хозяином, который после смерти стал её последней трапезой.

Зато теперь она натрескается до отвала, налупится всласть. Не печенье, не конфетки или каша – сырое мясо. И неважно – будь то птички, крысы, кошки или человечина. Человечина даже лучше. А ты и вправду то, что ты ешь.

Сырое мясо восхитительно, бесподобно, дивно. Мальчик, некогда принёсший в дар кусок говядины, понимал это. Понял и отец.

Тварь неспешно, смакуя, поползла по спине Карася. Его хламида расходилась под пастью, как застёжка-молния, обнажая сочную алую плоть, разделённую белыми зазубринами позвонков. Пройдясь загребущими клыками от лопаток до задницы, точно пылесос, тварь проворно обернулась вокруг жертвы, как изъеденная молью горжетка. Голова Карася затряслась, провалившись в потёртую шерсть. На губах вскипели рдяные пузыри.

В паху Игоря лопнуло щекотливое и срамное, горячо и вязко потекло по внутренней стороне ляжки – достойная кульминация этого долбаного вечера. Однако оргазм ужаса привёл его в чувство. В голове прояснилось достаточно для единственно верного решения: бежать!

Он вылетел из квартиры, грохнув дверью, и, не удосужившись её запереть, скатился по ступеням. Вырвался в волглый воздух улицы – взмокший, трясущийся в потливом ознобе, но живой и невредимый.

Чего наверняка не скажешь о Карасе.

Шесть километров до гостиницы он преодолел на своих двоих, по пути купив в баре бутылку джина. Бармен попался понимающий и на поздний час не смотрел.

Благослови его Бог.

Следующий визит Игорь нанёс во всеоружии.

В сизом свете позднего полудня дом по-прежнему глядел насуплено, но утратил то угрожающее впечатление, которое производил вчера. Игорь надеялся, что чувства его не обманывают. Бабушка говорила, домовые днём не показываются. Он натянул кепку на брови, хоть поблизости и не было камер, и зашагал к подъезду. О ногу тёрлась увесистая сумка, которая таила в себе уйму необходимого: мешки, перчатки, отбеливатель, скотч, пилу, топорик... и ещё кое-что. Самое важное, без чего Игорь не посмел бы явиться.

Квартира встретила будничной тишиной. Он запер дверь,

оставив ключ в замке – на случай, если придётся спасаться бегством – и с колотящимся сердцем пересёк прихожую. С сумкой в обнимку переступил порог зала и обомлел. Он ожидал увидеть что угодно – но не это.

В зале прибрались – настолько, насколько было возможно. Битое стекло сгребли у окна в кучу. Лоскуты обоев приладили к стене, и не хотелось думать, что использовали вместо клея. Сорванная гардина, аккуратно сложенная, лежала на подоконнике. Пустая зеркальная рама вернулась на тумбочку. Кресла были расставлены по местам, и на одном вихором валялась одежда.

Замызганные джинсы. Изжёванная куртка с болтающимся на соплях перепачканным капюшоном – глупо надеяться, что это просто грязь. И раздолбанные говнодавы. Они венчали стопку Карасёвых шмоток. Тот, кто прибрался в комнате, посчитал их недостойными поганить пол.

Самого Караса и след простыл.

Игорь присел и заглянул под диван, готовый надавить на пятки, если обнаружит там... вчерашнее.

Никого и ничего.

Как мог бесшумно Игорь опустил пакет на пол.

В пакете едва слышно звякнуло.

– Спасибо, – сипло сказал Игорь. – Ты упростил мне работу.

Он надел перчатки. Резина щёлкнула на запястьях, и Игорь почувствовал себя прирождённым преступником. Ко-

гда он утром звонил Кате сообщить, что зал затопили соседи, его голос совсем не дрожал. Определённо, у него есть криминальные задатки.

Игорь вынул из пакета мешок для мусора и подступил к креслу. От шмоток Карася пахло застарелым потом и почему-то тиной. Игорь пошарил по его карманам в поисках документов, но обнаружил лишь проездной и скомканную бумажную салфетку. В салфетке брякнуло. Игорь развернул её, ожидая найти мелочь, и едва не выронил, увидев, что скрывает бумага.

В салфетку были завёрнуты зубы. Горсточка жёлтых прокуренных резцов, клыков и коренных.

Домовой не доедает подношение полностью, вспомнил Игорь.

Тело больше не представляло проблемы. Значит, можно переходить ко второй части плана.

Игорь ушёл в спальню и вернулся с одной из тряпичных кукол. Ею оказался малыш-дзюдоист, мамин любимец. Игорь усадил куколку подле дивана.

– Дедушка-соседушка, хозяин-домовой, – произнёс он распевно. – Пойдём в новый дом, с нами жить – не тужить, сырое мясо кушать, сказки слушать.

Повторив заклинание трижды, Игорь поднял тряпичного дзюдоиста с пола. Боязливо повертел в руках: не потяжелел ли? А вдруг, внутри что-то шевелится?

Куколка казалась прежней. Разве что запах... Да как уга-

даешь, когда псиной провоняла вся квартира?

Нервно вздохнув, Игорь принялся разбирать сумку.

Полчаса спустя он трясся на заднем сиденье автобуса, прижавшись виском к окну. Автобус подбрасывало на кочках, висок бился о стекло. Тянуло пластмассой и капустной кислятиной, а Игорю всё мерещился запах псины. На колёнях устроилась полегчавшая сумка.

От конечной он долго топал через посадки, сквозь прошлогоднюю траву, проступившую из-под снега, цеплял на штанины колючки и ветхую, оставшуюся с осени, паутину. Где-то гудели самолёты, напиткивая грозной дрожью каждый атом воздуха. Бомбардировщики летели на юго-запад.

Игорь шёл к реке.

Продравшись сквозь ломкие сухие камыши, он побрёл по берегу Воронежа, выбирая подходящее место – где летом не станут купаться или ловить раков. Набрал ледяной, пахнущей болотом жижи в кроссовки. Наконец, отыскал.

Он сел на торчашую из весенней грязи корягу. Нацепил перчатки. Вытащил из сумки маленького дзюдоиста и усадил подле себя. Стараясь не встречаться со взглядом глаз-пуговок, опять запустил руку в баул.

Примостившаяся на коряге куколка терпеливо наблюдала.

До возвращения в квартиру Игорь успел посетить церковь. Сейчас он извлёк на свет божий причину своего визита в храм: двухлитровую банку со святой водой.

Он отвинтил крышку, сцапал куколку и затолкал в банку. Куколка сразу пошла на дно, словно была начинена не тряпьем, а шариками от подшипников. Шлёпнулась на стекло, раскинула ручки. С нитяных губ сорвалась вереница пузрычков.

Игорь захлопнул крышку. Вскочил и, оступаясь, сбежал к реке. Грязь хватала за ноги, норовила сорвать обувь. Игорь размахнулся и зашвырнул банку подальше от берега.

Вода сомкнулась вокруг банки с гулким «буль», точно чёрная многопалая клешня. Один-единственный круг на поверхности – и Воронеж успокоился.

– Прости, мама, – прошептал Игорь замирающей ряби. – Кажется, я ненавижу дзюдо.

И перекрестил реку. Для верности.

Две недели пролетели незаметно.

– Всё на мази! – порадовал он с порога повисшую на шее Катю. – Осталось кое-что подремонтировать по мелочи, но линолеум я заменил, и это главное. Чуток труда, и можно сдавать. Как ты, птичка, справлялась?

Он запустил ладонь под её халатик и прижал ладонь к круглому животу.

– Пинает! – хохотнул Игорь.

– Он тоже соскучился. – Катя шмыгнула носом. – Мы простудились.

– Сильно?

– Пройдёт. Ты со мной поаккуратней, – предупредила она голосом слонёнка из мультфильма про тридцать восемь попугаев. – Да успокойся! Устал?

– Капелюшечку. – Игорь всё не мог расслабиться. Вдруг что серьёзное перед родами? – В этих поездках вечно шея затекает. – «И смердит зверём», – добавил он про себя.

– Я разомну.

– Ты правда нормально? Зря я уезжал.

Она отмахнулась.

– Тогда разомни. Только пусти сперва в душ.

«Этот запах. Он словно преследует»

– Конечно. – Катя ослабила сладкий плен объятий. И... что за выражение промелькнуло в её глазах?

Она тоже почуяла?

– И перекусить с долгой дороги, – закончил он с незваной, будто на первом свидании, робостью.

– Есть гренки. Ещё теплые. И какао.

– Самое то! – Игорь попытался улыбкой скрасить неловкость.

Катя поплыла подавать на стол, а он оставил чемодан у двери и поспешил в ванную, раздеваясь на ходу.

Позже, распаренный, присоединился к супруге в кухне. Комната наполнилась уютными ароматами: какао, корица, выпечка.

И что-то ещё. Знакомой фальшивой нотой просачивалось украдкой в медовую симфонию.

Мускусное зловоние зверинца. Оно крепчало с каждым вдохом.

Катя копалась в холодильнике. Из-за дверцы Игорь видел лишь её попу и копну рыжих волос.

Внезапно его охватило мощное побуждение выйти молчком из кухни, подхватить чемодан и – бежать, бежать, бежать, вскочить в любой поезд, и – куда глаза глядят.

– Я разобрала твой чемодан, – словно прочитав его мысли, сказала Катя.

– Здрово, – откликнулся он. Голос сделался сиплым. Игорь покряхтел и спросил громче, изо всех сил изображая беспечность: – А чего в темноте сидим?

– Нашла твой сувенир, – продолжила супруга, выпрямляясь и закрывая холодильник. В одной руке она держала треугольник сыра. В другой – белую фигурку с глазками-пуговками. Фигурку в кимоно.

Потянувшийся было к выключателю Игорь застыл, скованный ужасом. Волосы на затылке закрутила в узел невидимая рука.

Нитяной рот куколки кривился в ехидной ухмылке. «Новый дом мне по вкусу, – говорила ухмылка. – Справим новоселье?»

– Очень мило, – прогундосила Катя. «Офень мио». – Это ведь одна из игрушек твоей мамы?

Кухня качнулась и поплыла. Фигурка будто извивалась в руках жены, как хитрющий зловредный гном. Её ножки по-

пирали выпирающий Катин животик.

– И верно, темно, – согласилась супруга. – Включи уже свет.

Игорь щёлкнул выключателем. Плафоны вспыхнули. И замигали – с лёгким треском, точно кто-то голодный уминал чипсы.

– Ой! – всполошилась Катя. – Лучше ты выключи! А то шарахнет током.

– Ничего, – ответил Игорь. Собственный голос доносился до него словно со стороны. Сокрушительно накатило дежа-вю. – Я исправлю. Давай пока поедим.

2022

Бег с препятствиями

В Лисичках был всего один стадион, зато какой – с двумя гимнастическими залами, шахматной секцией и даже крохотной кофейней. Правда, всё это разместившееся под трибунами великолепие бог знает когда закрылось на ремонт, но матчи играют, мероприятия проводят, а самое главное, пускают побегать желающих. При мысли о беге Мишу Новака, который сворачивал за ограду ко входу под огромной выцветше-белой надписью «Атлант», охватили трепет и воодушевление. Трепетал перед предстоящей нагрузкой сорокапятилетний лентяй, а воодушевлялся юноша, коим Новак себя в подобные минуты ощущал.

Ему нравилось, что этот юноша по-прежнему жив в нём – сутуловатом, отъевшем пузцо адвокате, у которого седых волос на голове больше, чем русских. Спрятался за подслеповатостью и гипертонией, как за изношенным фасадом, но не исчез совсем. И пока не намеревался. Новак подбодрил себя улыбкой и вытер рукой пот со лба: девятый час вечера, а жарко, как в духовке. Ничего, скоро ему предстоит пропотеть по полной.

Он поднялся по ступеням и вошёл в предбанник, где в душных пепельных сумерках бубнил заклинания телевизор. К экрану, словно змея, загипнотизированная дудкой факира, приник Ваня-Дембель. Новак надеялся проскочить ми-

мо сторожа незаметно. Приветствия с лёгкой подмашкой или колкие замечания Дембеля – последнее, что Новаку сейчас нужно. Да и не только сейчас.

Он миновал пост, когда из-за стекла его настиг задорный возглас:

– Слава трудовым резервам!

– Вечер добрый, – замешкавшись, ответил Новак сдержанно.

– Сегодня на рекорд? – не унимался Дембель. Новак прозвал так сторожа из-за его любимой солдатской байки: Ваня-де отправился на Вторую чеченскую, да не прошло и недели, как миной оторвало ступню. «Врач отдал мне её в коробочке», – заканчивал байку Дембель и отчего-то хохотал. От этого смеха у Новака неизменно стягивалась кожа на шее и яйца вжимались в пах.

– М-м... – проямлил Новак. Его острый ум и бойкий язык остались где-то в судебных процессах.

– За себя и за Сашку! – взметнул кулак балагур. Словоохотливому сторожу было за сорок. Этим летом он носил чёрную футболку с белой Z и камуфляжные штаны – судя по запаху пота, не снимая.

– Обязательно, – обещал Новак и прибавил шаг, оставив сторожа оттачивать остроумие в одиночестве. Минутка лёгкого унижения закончилась.

Новак пересёк холл, увешанный снимками лисичкинских звёзд спорта, толкнул застеклённую дверь, преодолел оче-

редной подъём по ступеням и вышел к полю. Осмотрелся.

Он неспроста приходил на стадион попозже. К восьми футболисты уже заканчивают тренировку, а соседей по дорожке мало и нет толкучки. Порой в это время компанию ему составляла троица единомышленников. Первый – статный блондин модельной внешности, помешанный на брендовом шмоте. Этот бегал в наушниках и на приветствия Новака не отвечал. Новак прозвал его Мажором. Второй – пухленький паренёк под тридцать в растянутой футболке, широких, точно два слипшихся паруса, шортах и стоптанных кедах. Всего за один круг оранжевая футболка паренька становилась густо-серой от пота. Его Новак окрестил Пончиком. Они приветствовали друг друга кивками, а Пончик неизменно присовокуплял: «Счастья, здоровья». Ну и Козочка. От одного взгляда на её обтянутую лосинами попу голова шла кругом. А ноги! Козочка бегала картинно, словно снималась в рекламном ролике: спинка прямая, острые грудки вперёд, кроссовки сливаются в белую дугу, конский хвост хлещет по лопаткам. Ни капли усталости! Внутренний юноша Новака расплывался в сладкой улыбке при каждой встрече и облизывался вслед стремительно удаляющимся плечикам, и, спинке, и крупу, и хвосту современной Артемиды. Вспоминал, что Козочка раза в два его младше и годится в дочери. Вздыхал, сожалеючи. И пыхтел себе следом.

Прищурившись, адвокат огляделся, высматривая, кто же сегодня составит ему компанию. Вот бы Козочка – и чтоб

больше никого. Футбольное поле опоясывал зелёный, выше головы, забор из металлической сетки. На его запертых воротах красовалась табличка с категоричным «НА ПОЛЕ НЕ ХОДИТЬ». Бегать приходилось между забором и трибунами. Сквозь сетку Новак приметил по другую сторону поля одинокую фигуру. Мажор? Новак сощурился сильнее. Вечерами он видел паршиво даже с линзами.

Нет, не похож на Мажора. Этот долговязый, весь в белом, только спереди на майке принт, который отсюда кажется красной закорючкой. Парень бежал, забавно размахивая нескладными длинными руками, как человек, который споткнулся и пытается удержать равновесие. Бежал вокруг поля против часовой стрелки.

Все отчего-то бегали против часовой.

Новак повесил спортивную куртку на одно из кресел у лестницы. Поясную сумочку оставить не решился, в ней были вода, телефон и ключи. Если сумку вдруг подрежут, квартиру открыть некому. Бывшая жена – и та в Туле. Передумал Новак снимать и майку – чёрную, без всяких принтов. Вдруг Козочка всё же явится, а он тут трясёт наметившимися на боках «поросятками». Эдак он за юношу не сойдёт, даже если втянет пузико и напряжёт подсувшиеся грудные мышцы.

Ох, да к чему лукавство? Его не спутаешь с юношей и в темноте. Шансы надо оценивать здраво. Критичное мышление – главное для юриста.

Вздыхнув с сожалением – но и с принятием, – Новак пару

раз присел, шумно ухая. Сделал несколько скручиваний. И побежал. Против часовой, как водится.

Новак бегал трусцой, и не только из-за протрузий. Бег на скорость приносил ему вместо удовольствия одышку и гул в ушах. А когда трюхаешь себе без фанатизма, есть уйма времени обдумать дела насущные – или просто потешить себя мыслями о бодрящем душе и просмотре последнего сезона «Лучше звоните Солу» перед сном. Спал Новак крепко, за что тоже спасибо пробежкам.

Весной он поставил себе цель: десять кругов нон-стоп к концу лета. Пока выходило так: шесть кругов трусцой подряд, круг пешком, три круга трусцой, круг пешком и – слава богам старым и новым – заключительный круг трусцой, после которого отмучавшийся Новак волочился домой на своих заплетающихся двоих. Но пока до заплетающихся ног далеко! Он в самом начале, кровь поступает в мышцы и наполняет их теплом, воздух свободно врывается в грудь и так же свободно её покидает. Звонкие и размеренные шлепки кроссовок по асфальту отдаются в стопы и заставляют икры вибрировать. Первая четверть круга далась легко.

На второй четверти напомнили о себе первые признаки износа прежде крепкого тела. Заныло сухожилие правой стопы, кольнуло в колене. Новак невольно принялся пересчитывать в уме недуги. Зимой у него случился спазм пищевода, прямо в ресторане, где он с коллегами отмечал чей-то успех в суде. Непрожёванный кусок стейка вдруг встрял поперёк

горла, будто в глотку Новаку запихнули кулак, а затем, ко всеобщему ужасу, всё поперло обратно – розовые ошмётки мяса, и ставшее едким вино, и слюни. Слюней было больше всего. Новак кое-как прокашлялся в туалете и покинул вечеринку, наврав, что ему стало лучше. Не стало. Дома он не сумел проглотить и глотка воды. Спазм отпустил лишь спустя два часа, так же внезапно, как и возник. Атеист Новак, к тому моменту уверенный, что до конца своих дней не сможет есть без вмешательства хирурга, размашисто перекрестился.

У гастроэнтеролога он узнал про себя много нового – и неприятного. Хронический холецистит, панкреатит, неалкогольное ожирение печени (ох уж эти сладкие булочки по вечерам!), и, наконец, причина его бегства из ресторана: грыжа пищевода первой степени.

– Это навсегда, – сурово сказал врач. Он часто моргал, как человек, который постоянно врёт, но Новак сразу ему поверил. – Грыжа пищевода – болезнь двадцать первого века. Люди едят на бегу, торопятся и не прожёвывают пищу как положено.

– Да, я торопыжничаю, – сознался подавленный Новак. – Мне еда не в удовольствие, если приходится долго её жевать. Да и времени на это жаль.

– Вам нужно менять привычки в еде, – отрезал моргун. – Жевать медленно и не торопясь. Минимум тридцать жевков, а лучше до максимального измельчения пищи.

– Так и зубы сотрёшь, – насупился Новак. – А бегать мож-

но? Я хочу начать бегать на стадионе, как снег сойдёт.

– Бегать нужно, – разрешил врач. – Главное, во время бега не перекусывать. Не улыбайтесь – некоторые умудряются.

«Вот так и приходит старость, – философствовал Новак теперь, трусая по дорожке. – В виде болезней. Они отгрызают здоровье по кусочку. А потом ты глядишь в зеркало и видишь чужака. Эх, где мои семнадцать лет!»

«Найки» – шлёп да шлёп. В сознании Новака, как всегда, включился таймер обратного отсчёта. Половину круга он уже преодолел. До завершения первой фазы тренировки осталось пять с половиной кругов. Или одиннадцать половинок.

Он считал приметы, попадающиеся на пути – точно метки. Вот футбольные ворота, слева, за сеткой забора. Вот рекламные щиты, выстроились у кромки поля, первый гласит: «Спорт – норма жизни». Вот промелькнула под ногами решётка канализации. Вот притулилось к трибуне невесть откуда взявшееся ведро, проржавленное, обёрнутое цементной коркой. Вот зелёный мусорный бак – сегодня от него несёт будь здоров. А это...

Россыпь бордовых пятнышек на асфальте. Ещё влажных. Новак замешкался.

«Кровь!». Видать, кто-то споткнулся и расшиб колено. Или лопнул сосудик в носу. Наверное, у того бегуна, который этим вечером составлял Новаку компанию.

Новак бросил взгляд через поле и не заметил парня. Вы-

вернул шею сильнее, и да – вон она, бледная фигура, уже в четверти круга от него. Бегун в белом сокращал разрыв.

«Где мои семнадцать лет», – опять подосадовал Новак. А он-то думал, что сумел справиться с кризисом среднего возраста. Что достиг, как это называют психологи, стадии принятия. Видимо, не до конца.

Зато скоро, сказал Новак себе, я достигну входа на стадион. Это значит, минус один круг.

Летний вечер обернул его лицо махровым жарким полотенцем. На майке выступили первые разводы пота. Солнце клонилось к верхним трибунам и в чашу стадиона понемногу вползала знойная тень, растекалась по полю. Небо пронизывало несмолкаемое «ри-и-и-и» стрижей. Трясогузки порхали прямо перед Новаком – присаживались на забор, срывались с места, неслись вперёд, опять присаживались и опять срывались, неутомимые. Будто глашатаи, возвещающие прибытие королевской особы.

Новак вошёл в дугу, знаменующую начало четвёртой четверти, и впереди замаячил вход на стадион. А до входа... что это там валяется?

Глаза Новака превратились в щёлочки.

Маленькое. Белое. С красным.

Сзади послышался нарастающий хруст – ноги бегуна били в асфальт совсем рядом. Послышалось дыхание – хриплое, как у курильщика. «Хар, хар, хар!»

Нет. Не как у курильщика. Это прям волчий рык.

Несмотря на июльский зной, плечи Новака обдало ознобом.

«Хар, хар, хыр, гrr!», – уже над ухом.

Ему даже почудился запах чужого пота. Muskus и аммиак. Вместо того, чтобы посторониться, Новак прибавил ходу. Пронёсся мимо маленького, белого с красным, предмета. Им оказалась кроссовка «New Balance». Мажор носил такие. Разве что его кросы были сплошь белыми. Без красного.

Новаку вспомнились недавно увиденные капли крови, рассыпанные по асфальту, как горсть плоских леденцов.

Тени сгустились, словно стадион проглотил Йормунганд. Не останавливаясь, Новак оглянулся.

Его настигал монстр.

Голый и мучнисто-бледный, похожий на лишившегося шерсти павиана – если только бывают павианы под два метра ростом, бегающие на задних лапах. Башка – сплошная пасть. Раззявленная.

Сердце Новака рвануло к горлу переполненной адреналином ракетой. Он припустил как мог быстро, будто вернулись те пресловутые семнадцать лет из песни. Какое сухожилие? какое колено? – ноги враз слились в трепещущее пятно, точно их хозяин вознамерился побить мировой рекорд – и на то имелись все шансы. Призом была жизнь. Новаку хватило беглого взгляда на рассекающий узкое рыло монстра багровый жаркий зёв с понатыканными в беспорядке жёлтыми зубищами, чтобы отпали любые в этом сомне-

ния. Челюсть монстра отвисала до дряблой, в бултыхающих складках, груди, точно разбитый ящик комода. Меж зубов, как меж кривых обломков кораллов, в хлопьях серой гнилостной слюны угрём извивался язык. Мельком увиденное зрелище отпечаталось в сознании Новака шкворчащим ожогом.

Влетая в поворот, знаменующий конец первой четверти второго круга, Новак осмелился бросить взгляд за плечо. Монстр подотстал, но не сдавался. Конечности неестественных пропорций не оставляли надежд на то, что это просто мужик в искусно скроенном латексном костюме, устроивший злой розыгрыш – Новаку попадались эти ютубовские пранки, где вооружившиеся бензопилами и молотками шутники в костюмах клоунов-убийц подкарауливали в закоулках припозднившихся прохожих. Как вообще *это* можно было принять за человека, даже издали, даже сослепу?! Суставы ног твари были вывернуты назад. Когти передних лап, кривые, словно у ленивца, и сабельно-острые, вспарывали плавящийся воздух. Впалый живот оргиастически содрогался в голодных спазмах. Ниже живота мотылялся мохнатый и седой клубень гениталий – зрелище столь нестерпимо мерзкое, что изжога хлынула в глотку Новака ядовитым приливом.

Заметил он и ещё кое-что прежде, чем обратить взор перед собой. Бурое пятно на рыхлой груди чудовища.

«Не пятно, – ворвался в мозг голос непрощенного под-

сказчика. – Рисунок!»

Логотип «Adidas». Такой же, как у Мажора на майке.

Только у монстра знак – грубая копия трилистника – был намалёван подсохшим и уже шелушащимся красным.

– Помогите! – попытался крикнуть Новак. Разбухшая глотка выдала лишь жалкое бляение. Неудавшийся вопль отнял драгоценные силы. Непростительная ошибка.

Когда вторая четверть круга превратилась в половину, Новак почувствовал, что сбавляет темп. Все болячки – стопа, колено, жадно царапающие грудную клетку лёгкие – вновь напомнили о себе. Адреналин выступал с потом из каждой поры. За спиной топот босых, почти человеческих пяток начал нарастать. Нетерпеливое «туд-туд-туд». Новак закусил губу, сжал кулаки, чтобы ускориться – помогло.

Немного.

В голове беспорядочно сталкивались мысли, будто сходящие с горы камни.

«Дотянуть до выхода. Меньше полкруга. Рывком! Справлюсь!»

И он поднажал ещё. Перед глазами зароились назойливые мушки. Каждый глоток воздуха наполнял лёгкие парной тяжестью сырого бетона. Но у него получится. Непременно.

Ещё минус четверть круга, и вот она, одинокая кроссовка «New Balance», замаячил впереди, знаменуя выход на финишную прямую. Новак впервые в жизни ощутил, что значит «второе дыхание»: «туд-туд-туд» позади стихало.

Он проскочил кроссовку и вильнул вправо. Скатился по лестнице, не тревожась о ступнях. Спасительная дверь распахивала объятия.

В буквальном смысле: распахнулась перед самым носом.

Новак врезался в мягкое и податливое – чьи-то живот, плечо. Отлетел назад, рухнул на спину. Поясницей треснулось о ступеньку – аккуратно где протрузия.

Боль была ошеломительной.

Любитель вечерних пробежек, возникший на пути к спасению, с возмущённым «Эй!» повалился набок. Мелькнул солнечно-жёлтый смайлик на растянутой футболке. В барахтающемся на площадке недотёпе Новак узнал Пончика.

Дверь захлопнулась.

– Бежим, – просипел Новак.

Пончик неуклюже поднимался, ворча. Новак последовал было его примеру, но боль, пронзившая поясницу, оказалась столь одуряющей и яркой, что вышибла из головы мысли о настигающем хищнике. Будто Новака разорвало пополам.

– Бе... – попытался повторить он.

Кислая мина на лице Пончика сменилась недоумением и тотчас – гримасой безысходного ужаса.

Воскового цвета туша пронеслась над поверженным Новаком. Мелькнула ороговелая пятка, растопыренные пальцы жёлтыми заскорузлыми ногтями чиркнули его по щеке. Трепыхнулись над лицом разбухшие лиловые причиндалы чудовища. Смрадом канализации ударило в ноздри. Тварь спи-

кировала на Пончика и прижала его к бетону.

Пончик хрипло заревел, распахивая рот так широко, словно хотел вывернуться наизнанку. Монстр запрокинул башку и резко опустил вниз – будто вдарил кувалдой. Рот Пончика накрыл акулий поцелуй, но наполненный мучкой вой не смолкал, устремляясь теперь в недра чудовищной пасти, превратившись в дребезжащее сопрано. Монстр отнял голову от добычи. Из его пасти свисали сочные, свекольного цвета лоскуты. Рот Пончика исчез вместе с нижней челюстью и частью шеи. Из воронки, в которую превратилась нижняя половина его лица, хлынула кровь – тоже неестественно-свекольного цвета. Новака обдало брызгами с запахом меди. Монстр, горгульей воссевший над жертвой, обратил своё рыло к нему, и Новак увидел, что у него нет глаз. Колодцы глазниц заполняли гроздь пунцовых воспалённых волдырей, залитые гноем.

Монстр запрокинул башку и проглотил, не жуя. По горлу бильярдным шаром скатился и сгинул за выпирающими ключицами изрядный ком.

Новак пополз прочь на спине, отталкиваясь от ступеней локтями. Пончик теперь утробно ревел, вращая осовелыми глазами, полными слёз и мольбы. Не давая ему передышки, монстр отхватил бедняге плечо – легко, словно крылышко куропатки. Очередной комок протиснулся по горлу в ненасытную утробу.

Новак умудрился перекатиться на четвереньки. Ниже пояса разливалась немота. Он выполз на дорожку, как пока-

леченный жук. Вопли, доносящиеся со ступенек, захлебнулись, раскололись на серию частых хрипов, заглушаемых сочным, с похрустом, чавканьем. Внутренности сдавила ледяная пятерня, и Новак мучительно рыгнул. Кое-как подбрав ноги – не парализован, слава богам старым и новым! – он встал в полный рост. Спотыкаясь, подволакивая правую, затрусил по дорожке. Из носа вырывались брызги, изо рта – слюни. Бег после передышки всегда давался ему тяжело. Сейчас же к ногам точно приковали пудовые гири.

Хрип пожираемого заживо оборвался. А это значит, монстр может возобновить преследование.

Новак обернулся. Ноги заплелись, стремясь скрутиться в узел. Он потерял равновесие и чуть не упал.

Монстр выскочил на трек, как ванька-встанька. Кусок пропитанной кровью штанины свисал из его пасти. Со слюнявым свистом монстр всосал обрывок ткани, будто макароны. Обильная пища пошла ему не впрок – брюхо чудища осталось впалым, как у борзой. Зато рисунок на груди обновился.

Неряшливый лейбл «Adidas» размазало в кровавый блин с загогулинами глазок и лунатической улыбкой. Смайлик. Как у Пончика на футболке.

Презрев все свои боли, Новак рванул вперёд, подгоняемый ужасающим «туд-туд-туд», неустанно вбивающимся в асфальт.

Монстр не отставал.

«Не уйти»

В онемелые ноги возвращался зуд, но адреналин иссяк, а пресловутой второе – или уже третье? – дыхание не открывалось. Тело просто не могло превзойти собственные пределы. Пылали лёгкие. В правом боку точно засел бутылочный осколок. Новак опять оглянулся, как неразумная жена Лота. Ох, зря – в глазах помутилось, и он едва не лишился чувств. Бледная фигура резала угловатым телом сумерки в десятке метров позади. Перед ней прошмыгнула трясогузка. Монстр с молниеносностью жабы клюнул рылом воздух и пташка исчезла за кривым частоколом зубов – ни писка, лишь одинокое пёрышко вспорхнуло и в вихре устремилось в небо.

«Оно замешкалось, когда глотало»

И что проку? Нет у Новака ни птичек в кармане, ни даже бутерброда – врач ведь запретил жевать на бегу. Он едва не захихикал, как свихнувшийся колдун над котлом. Этот образ развеселил Новака ещё пуще. Он бы заржал в голос, сохранись у него лишние силы. Но их не завезли, а имеющиеся понадобятся, чтобы добежать до выхода с поля.

Не просто добежать – оторваться от твари и выиграть достаточно времени. Он неизбежно потеряет скорость на ступеньках. Нельзя, чтобы монстр этим воспользовался.

Новак вложил остаток сил в задубелые ноги. Половина третьего круга минула, необходимо преодолеть столько же. Топот гротескного преследователя начал стихать, отдаляясь... но недостаточно быстро.

«Чем чётр не шутит». Новак нащупал «молнию» на трепыхающейся сумке, расстегнул и вытянул бутылочку с водой. Не оборачиваясь, зашвырнул за плечо. Раздался хруст пластика, когда на бутылочке сомкнулись зубы, шумное давящееся сглатывание, а затем... «туд-туд-туд» стало еле различимым.

Новак ещё прибавил темп – невероятно, на что способен человек, когда жизнь на кону. Шёл на рекорд, как шутил Дембель. Новак даже ухитрился застегнуть сумочку – терять остальное содержимое в его планы не входило.

Три четверти круга.

И-и... Полный круг!

Новак стремглав сбежал по лестнице к выходу. На площадке смердело бойней. Кроссовки прошлёпали по кровавой, не успевшей остыть луже, расплёскивая алое. От самого бедняги Пончика не осталось даже шнурков. Новак налетел на дверь и рванул.

Заперта!

За дверью маячил, прижавшись к стеклу, Дембель, словно призрак, не желающий знать покоя. Расплющившийся о стекло нос походил на шляпку поганки, изъеденную чёрными оспинами крупных грязных пор, ноздри забиты кустистой волоснёй. Дембель лыбился. Его покосившиеся зубы являли собой ночной кошмар стоматолога.

– Открой! – взвизгнул Новак. Вопль разбился вдребезги – сипатое, беспомощное блекотание.

Ухмылка Дембеля расползлась и превратилась в щербатый оскал.

– Загонял тебя сынишка! – донеслось из-за двери. Голос Дембеля звучал глухо, будто из прикопанного гроба. – Вот так охота!

И сторож смачно лизнул стекло сизым языком, оставив слизнячий след.

Новак взмыл по ступеням обратно на дорожку. Врезался в ограждение, мячом отскочил от сетки. Инстинктивно пригнулся, и над головой свистнула когтистая пятерня – монстр был тут как тут, воняющий кислым стариковским потом, но нимало не утомившийся.

Новак ринулся наутёк. Колени превратились в два оголённых, разбухших, пульсирующих моллюска, на которых плеснули кислотой. Этот пожар расползлся по ногам – вниз, к щиколоткам, и вверх, к бёдрам, а от бёдер и дальше, к животу. Спину обдавало яростными порывами ветра: лапы монстра загребали воздух в сантиметрах от лопаток. Зловонное дыхание – смрад тухлой рыбы и скисшей древесной коры – опаляло плечи.

На поле включились разбрызгиватели. Шерстяные сумерки наполнились ароматами сырой пыли и остывающего под моросью асфальта – вкусными запахами, которые Новак всегда любил, и которые сейчас пробудили в нём отчаяние. Стрижи всё так же играли в прятки в сахарной вате розовых облаков. Сказочный вечер неторопливо перетекал в изу-

мрудную июльскую ночь. Новак бы разрыдался, не обратись все жидкости его тела в пот. Даже слюни иссыкли, а сопли засохли на губе едкой плёнкой.

Оставалось смеяться. Сойти с ума и нарезать круги, дико гогоча. «Беги, Форест, беги», пока «сынишка» – и какого лучшего та тварюга «сынишка»? – не настигнет. А это произойдёт, и скоро. Новак вряд ли продержится ещё круг. Он просто остановится, как игрушечный робот, у которого кончился завод.

«Нет! Думай. Думай!»

Кроме входа для спортсменов на стадион вели трое ворот – северные, через которые запускали болельщиков, когда проводились матчи, западные и южные, для техники. Северные и западные – с глухими створками, обшитыми листами железа. Южные – решётчатые. Брусья решёток толстенные и перекрещены между собой. По ним можно перелезть на другую сторону. На свободу – туда, где посадки и заброшенная пейнтбольная площадка, на которой иногда собираются пьяньчужки. Оттуда – домой.

Не годится. Гаргантюа будет быстрее. Стащит с воротины за задницу – и привет семье. Которой, впрочем, нет.

«Думай ещё!»

Монстр без глаз. Значит ли это, что он слеп? Стоит ли проверять, замерев и задержав дыхание? А вдруг монстр улавливает запах, или тепло, или биение сердца, как Сорвиголова из сериала? Нет, проверять Новак не станет, грамот-

ный юрист тем и отличается от неграмотного, что способен прогнозировать риски. Новак считал себя грамотным юристом. Дюжины выигранных дел – лучшее тому подтверждение. Он скорее выломает кресло с трибуны, как вошедший в раж футбольный фанат, и отдубасит им монстра – и то больше шансов на успех.

Новак представил эту картину, и ему снова захотелось хотать.

«ДУМАЙ!»

Два туалета, мужской и женский. Проходы в них – с двух сторон от восточной трибуны. Забаррикадироваться там и вызвать копов, или МЧС, или охотников за привидениями? Но если туалеты закрыты? Если монстр достаточно силён, чтобы вышибить дверь? Новак окажется в тупике, а «сынишка»...

«Сынишка» поужинает.

«Телефон»

Вариант!

Он уронил руку на бедро, где болталась сумочка. Справился с «молнией» и запустил пальцы внутрь. Нашарил мобильник. Потянул.

И уронил.

Его пальцы тряслись слишком сильно, а всё происходило слишком быстро – настолько, что он даже не ужаснулся случившемуся.

Мобильник брякнулся на асфальт и миг спустя разлетелся

с треском под деревянной стопой чудища. Одним «Хуавеем» на планете Земля стало меньше.

– Помогите! – вновь попытался воззвать Новак, но сейчас он не перекричал бы и столетнюю старуху. Лёгкие превратились в дрянные пакеты, что под весом покупок расплзаются, едва покупатель выходит из «Пятёрочки» – такие же бесполезные.

Следом за мобильником из ощерившейся пасти сумочки выскочили ключи. Они угодили аккурат между прутьев за решёченного стока.

Охереть что творится.

Завершался четвёртый круг.

Завершился.

Начался пятый.

Мысли – рубленые, отрывистые – щёлкали меж ушей, как костяшки счётов.

«Оно. Мешкает. Когда. Жрёт. С бутылкой. Сработало»

И что?

«Выиграть. Время»

А если не выгорит?

«Надо. Пробовать»

Правую ногу пронзила серебряная спица – Новак даже не мог определить источник боли, настолько яростно ослепительной та оказалась. Спица ввинтилась в бок и, пройдя сквозь плечо, застряла в затылке. Новак заорал – будто ржавые жестянки забренчали на ветру.

Волчье пыхтение обжигало спину. «Гр, гр, гр». Размеренное. Неутомимое. Оно будет преследовать его во сне. Если будут сны. Если Новак спасётся.

Он отстегнул пояс и отбросил сумочку за плечо. Услышал, как поперхнулось сиплое рычание. Как спуталось конское «туд-туд-туд».

Выровнялось.

Отдалилось.

Недостаточно.

Он стянул через голову майку. Пропотевшая, майка липла к телу, не желая расставаться с хозяином. На ничтожный миг мир скрылся за скомканной тканью, и Новак содрогнулся в панике. Ткань растянулась, зацепившись за подбородок, а потом со шлепком отпустила. Скомканная майка повторила судьбу сумочки. Утробный звук глотания снова пробил брешь в монотонном «Гр-р-р».

Новака чуть не стошнило.

Половина пятого круга. Он преодолел их. Поистине, сегодня он творил чудеса.

Новак надеялся, что его достанет ещё на одно, последнее. «Больше. Бросать. Нечего»

(ведро, кем-то забытое ведро впереди)

Он подхватил ржавое ведро, крутанулся, словно метатель ядра, и запустил в монстра. Грязная жижа выплеснулась из ведра и обдала грудь и сморщенный, не познавший этим летом загара живот Новака. Зато он увидел, как ведро влете-

ло точнёхонько в распахнутую пасть. Челюсти сомкнулись, сминая ржавый металл, точно бумажный колпак. Новак читал, что акулы глотают всё подряд и рыбаки, которые вспарывают хищным рыбакам брюхо, находят чёрти какую дребедень: обрывки сетей, бутылки, утварь, даже детские игрушки, а однажды – инвалидное кресло.

Преследовавшая его тварь в плане рациона ничем не отличалась от акул.

Заметил он и другое: монстр замешкался сильнее. Почти остановился.

Зубы дробили, комкали ведро. Обезьянья морда запрокинулась к зелёному серпу луны, плещущемуся среди насупленных облаков – неужто намечался дождь? Горло вздулось, пропихивая трапезу.

А потом монстр закашлялся.

Его уродливая башка тряслась в конвульсиях, его дряблая грудь билась в спазмах. Непроглоченный ком под растянувшейся кожей метался от ключиц к подбородку и обратно, словно кабина неисправного лифта. Ну в точности как у одного адвоката, торопившегося закинуть в себя стейк.

«Болезнь двадцать первого века! Спазм пищевода!»

Новак и сам невольно замедлился. Боль сотрясала тело, но мимолётный отдых показался настолько коварно-упоительным, что Новаку пришлось бороться с соблазном остановиться и подышать.

– Не ешь на бегу! – мстительно пискнул он и помчался к

спасительным южным воротам.

Когда он обернулся в очередной раз, то увидел, что монстр справился со спазмами и возобновил погоню.

Теперь их разделяло четверть круга. Изгибающаяся асфальтовая лента перед Новаком кренилась, будто палуба корабля, который попал в шторм, норовила свернуться спиралью, но он поверил, что спасётся. Он дотянет. Он же столько продержался. Да вот же они, южные ворота!

Новак налетел на них и неуклюже пополз вверх, обдирая щёку и животик о шершавые, в шелушащейся краске, прутья. На полпути нога соскользнула, и он завис над бездной, цепляясь одними предательски дрожащими руками. Под собой он услышал топот настигающих ног, рокот дыхания, голодный рык. Новак рванулся, поджав ноги, и лодыжки окатил свирепый вихрь. Что-то твёрдое – коготь? – чиркнуло по подошве кроссовки. Новак оседлал верх ворот, как матрос из фильма Эйзенштейна, перевалился на другую сторону и заскакал по прутьям вниз – обезьяна с перебитыми лапами, ни дать, ни взять.

В отчаянном бешенстве тварь бросилась на ворота. Створки дрогнули, сипло застонал засов. Новак разжал пальцы и прыгнул. На мгновение перед ним промелькнула скалящаяся за прутьями морда – поганочно-бледная маска, пышущая зноем пасть, язык, плещущийся в пене среди жёлтых клыков, как змея среди осколков разбитой посуды. Набившиеся в глазницы карминные россыпи волдырей. Из каждо-

го волдыря торчал крошечный извивающийся жгутик.

Затем подошвы кроссовок впечатались в асфальт, ступни подвернулись и Новак рухнул навзничь. Выставленная рука смягчила падение, но он всё равно от души приложился затылком. Перед глазами сгустились свинцовые тучи и разродились пеплом. Тело содрогалось от надрывных ударов сердца, само превращалось в огромное оголённое сердце, которое колотилось... колотилось...

И вдруг перестало.

Когда Новак открыл глаза, небесные краски остались прежними. Должно быть, он провёл в отключке совсем чуть-чуть. Всё, что могло в нём разбиться, разбилось – включая память. Её осколки соединялись друг с другом, словно куски стекла в калейдоскопе, только не пёстрые, а серые, цвета грязной губки для посуды.

Неожиданно он вспомнил.

Он порывисто поджал ноги и оторвал голову от асфальта, ожидая увидеть длинную лапу, тянущуюся к нему из-за прутьев, крошащую когтями покрытие дорожки.

За воротами никого не было.

Новак таращился на них, гадая, не пригрезилась ли ему давешняя погоня – из-за удара затылком, например. Он почти убедил себя в этом, когда по другую сторону футбольного поля гротескной запятой промелькнула сутулая бледная фигурка. Монстр продолжал свой кросс, смысл которого был

ясен ему одному. Новак невольно задался вопросом, кто же он такой и из глубин какой клоаки явился.

Решив, что разумнее об этом поразмыслить позже, Новак завозился, пытаясь сесть. Ему удалось это со второго раза, встать – с третьего. Его затылок превратился в саднящую опухоль, ступни – в наполненные сукровицей подушки. Он неловко шагнул, точно учился ходить заново, взмахнул руками и грохнулся на колени. Как будто мало ему сегодня выпало боли. Упираясь исцарапанными ладонями в асфальт, задышал ртом. Из истерзанного горла вырывался ветер Сахары. Затем хлынула жгучая желчь – изо рта и ноздрей.

После блёва ему полегчало. Новак поднялся на резиновые тумбы, которые заменили ему ноги, огляделся и не увидел никого – даже собачники разошлись. В окнах девятиэтажек-близнецов за посадками зажигали свет. Ушибленная голова соображала хуже некуда. Ещё он натёр кожу на заднице – будто промеж булок высыпали селитры, плеснули спиртом и поднесли зажжённую спичку. Новак запустил руку в шорты и нащупал за яичками саднящую пульсирующую плоть. Взглянул на пальцы, готовый увидеть кровь, но – ничего. До свадьбы заживёт.

– Шестой круг я так и не пробежал, – пробормотал он голосом лунатика и по-совиному, с уханьем, захихикал.

Наверное, следовало позвать на помощь.

Тут его взор упал на пивную бутылку коричневого стекла, торчащую из кустов шиповника, и в голове Новака вспыхну-

ла новая, куда более заманчивая идея.

Кряхтя, он подобрал бутылку. Перехватил за горлышко и треснул о прутья ворот. Стекло разбилось. Новак даже не порезался. Поразительно – с сегодняшним-то везением!

Отставив руку с «розочкой», он заковылял вдоль внешней стороны чаши стадиона. Идти, а не бежать, было истинным наслаждением, пусть боль и оплетала его ржавой шипастой сетью.

А идти предстояло немало.

Небо внезапно разразилось слепым дождиком. Посчитав это добрым знаком, Новак ослабил одну половину рта.

Закуток Дембеля пустовал. Телек продолжал затоплять стеклянную будку мертвенным глубоководным светом. На миг Новак запаниковал, вообразив, что Дембель каким-то чудом предвосхитил его планы и подстроил ловушку. Заозирался, крестя пространство разбитой бутылкой. «Розочка» уже не казалась серьёзным орудием.

Пусто.

Новак двинул вглубь холла ко входу на стадион – мимо ряда стальных кресел, мимо автомата с водой и снеками, мерцающего в сумраке подобно аквариуму, полному пёстрых рыбок. Вскарабкался по ступеням, приник к дверному стеклу и всмотрелся.

С другой стороны Дембель елозил шваброй по кровавому пятну, склонялся над ведром, выжимал тряпку, распрям-

лялся и продолжал работу. Змеящийся по лестнице шланг выплёвывал ему под ноги водяную струйку. Дембель сцапал ведро, вскарабкался по ступеням, прошаркал за проволочную ограду с табличкой «НА ПОЛЕ НЕ ХОДИТЬ» и пропал из виду. Из-за левого бортика, отделяющего выход на стадион от трибуны, выскочил монстр, старый добрый знакомый. Новак отпрянул. Не отвлекаясь, монстр пронёсся по дорожке и скрылся за правым бортиком, завершая очередной свой бесщётный круг и заходя на новый. Новак осторожно выдохнул.

С грациозностью пингвина он сполз с лестницы, подобрал один из металлических стульев и вернулся к двери. Подпёр дверную ручку спинкой. Стул встал, как влитой.

Показался Дембель. Беспечно помахивая пустым ведром, заскакал к оставленной швабре. На полпути запнулся, остолбенел. Безмятежность на его лице сменилась изумлением, изумление – гневом. Дембель заметил Новака.

Он отшвырнул ведро, наскочил на дверь и затряс, вцепившись в ручку. Новак отступил на шаг, сжимая крепче бутылочное горлышко. Дембель саданул локтем в стекло. Триплекс устоял. Гневное выражение на физиономии Дембеля обернулось растерянностью, и Новак оскалил зубы в мстительной усмешке. Стянувшая рот корка засохшей желчи лопнула вместе с нежной кожей губ, но это не омрачило ликования. Настал его черёд злорадствовать.

Дембель притворился, что совладал с растерянностью.

– Открывай! – потребовал он и снова долбанул по стеклу локтем – с прежним результатом. Новак вспомнил сказку про трёх поросят. «Без разговоров отопри, а не то я как дуну...». – Открывай, а то хуже будет!

«Это вряд ли». Новак помотал головой, не переставая улыбаться. Его лицо скоро треснет от улыбки, но плевать. Накатившая эйфория – подлинное блаженство – того стоила. Он давно так не кайфовал.

По другую сторону двери Дембель изобразил ответную улыбку.

– Он меня не тронет, – заверил сторож. – Мы с ним, почитай, плоть от плоти.

– Посмотрим! – бодро откликнулся Новак. Его дыхание оставляло на стекле трепещущие пятна. – После доброй пробежки всегда хочется есть. По себе знаю. А уж пить как хочется!..

Складки, обрамляющие фальшивую улыбку Дембеля, застыли, как на стоп-кадре. Глаза забегали.

– Он меня не тронет, – повторил Дембель.

Без малейшей уверенности.

– Вот мы у него и спросим! – Новак кивком указал на лестницу позади Дембеля.

Горбатая бесцветная фигура выбежала из-за бортика. Дембель оглянулся так резко, что шейный хруст стал слышен из-за стекла. Монстр устремился было дальше... и внезапно замешкался.

Замер.

Бесформенная башка развернулась к повисшему на двери человеку. Пятна пота проступали на майке Дембеля, делая её ещё черней.

Жуткий морлок-переросток переминался с ноги на ногу. Под ноздреватой кожей перекачивались напряженные мышцы.

Дембель выбросил руку перед собой, сложив пальцы в «козу», точно собрался «зажечь» на рок-концерте.

– Ша! – громогласно выпалил он.

Монстр вздрогнул, вжал голову в плечи. Видок у него был почти виноватый.

А потом он медленно распрямился.

– Ша! – гаркнул Дембель зычнее.

Монстр не шелохнулся.

– Давай! – заорал Новак, подначивая. – Кушать подано! Давай, сожри его, как Пончика! Это не папаша тебе, а просто мудака со шваброй!

Дембель повернулся к Новаку. Его перекосило от бешенства. Но в гримасе таилось и кое-что ещё. Оно взметнуло Новака на пик торжества.

Испуг.

Которому вот-вот предстоит перерастить в незамутнённый ужас.

Надо отдать должное, Дембель держался молодцом. Он двинул на монстра, продолжая страшить «козой». Монстр

отступил, перекатывая башку с плеча на плечо, будто в раздумье.

– Ша! – в третий раз крикнул – взвизгнул – Дембель, замахиваясь.

И тогда монстр зачерпнул когтями перед носом обидчика, будто пробуя воздух на вкус. Неуверенно – пока.

Дембель отшатнулся. «Коза» поникла.

Монстр пошёл на Дембеля, ускоряя шаг.

Дембель, птясь, скрылся за правым бортиком. Но прежде Новак заметил, как сторож развернулся, чтобы бежать.

И монстр устремился следом.

Оба исчезли из виду. Пробудившийся в Новаке азарт заставил его ждать.

Спустя несколько минут монстр опять промчался слева направо мимо лестницы. На его груди предсказуемо красовался свежий рисунок – кровавый жирный зигзаг.

Неудивительно: далеко ли убежишь от вечно голодного, не знающего устали чудища, если у тебя нет ступни?

Теперь можно и поискать подмогу. Новак швырнул «розочку» в мусорную корзину и враскоряку побрёл долой.

Путь до «Атланта» Юлия Вороткова преодолела лёгкой трусцой, подготавливая себя к настоящему забегу, которому не мог воспрепятствовать и разошедшийся дождик. Издали заметила, как в воротах нарисовался тип в одних сползающих шортах и кроссовках, и, спотыкаясь, поплёлся вниз по

улице. Пьянь или сбрендивший. Юля брезгливо фыркнула. Развелось нынче фриков!

Она завернула в ворота, откуда вышел полуголый, прогарцевала ко входу в стадионный предбанник и очутилась в безлюдном и оттого слегка зловещем холле. В закутке сторожа бурчал зомбоящик. На экране гости ток-шоу с визгами кидались друг на друга, но зритель, которому предназначалось сие мелкодостойное действие, куда-то свинтил. Если сегодня смена того безногого душнила, то и к лучшему. Вечно он со своими абьюзивными каментами.

Юля вспорхнула к двери, ведущей на поле. Какой-то шутник подпёр дверь стулом. Возможно, тот, голый.

К чёрту чужие шутки, она зря, что ли, пропустила встречу с девчулями? Не думая долго, Юля оттолкнула стул и прошмыгнула на лестницу. Здесь недавно мыли – все ступени в вонючей воде, из шланга течёт, ведро валяется. Бардак!

Она поднялась на трек и огляделась. Почти никого, слава те Господи. Лишь чувак в белом шпарит у западной трибуны. Если не станет подкатывать, как иные здесь (взять хоть того картавого чмошника с залысынами и вечными его «зд-растями» и «добройвечерами» – разве что слюной не захлёбывается!), то вечер удался.

Она вставила в уши наушники, запустила плейлист и начала пробежку под озорное мурлыканье Ильи Лагутенко. «Страху нет-нет, страху-ху!». Фига с два чувак в белом её догонит. Она на голову выше серой массы.

Козочка записала бы эти слова на родовом гербе, будь у неё таковой.

Или хотя бы у себя на майке. Прямо под принтом с Багзом Банни.

2022

Тиша

Потеха справляется с замком за минуту. Сухой щелчок, словно переломили ветку – и пожалуйте. Тиша нервно озирается. Полночная улица спит. За забором, по другую сторону дороги, покачиваются ветки можжевельника, скрывая зашедшего на атасе Цыгана – Ваську Челнокова. Одинокий фонарь, понурясь, читает облепившие единственную ногу объявления: «Котят в хорошие руки...», «Списание долгов...», «Русская бригада строителей...» и самое заметное, с которого красными буквами кричит: «Пропал ребёнок... помогите найти...».

Чмокнув, приоткрывается дверь. Тиша внутренне сжимается, ожидая визга сигналки, но коттедж встречает глухой тишиной. Наводчик не подкачал. Потеха хлопает Тишу по плечу – не мешкай, мол – и взъерошенной тенью шустрит за порог. Тиша ступает следом и закрывает дверь. Руки слегка трясутся.

Неудивительно – третья делюга. Как говорит Толик Потешников, он же Потеха, сперва ссышь, после привыкаешь. Тиша пока не привык. Он думает: «Если выгорит, и привыкать не придётся».

Налобные фонарики вспыхивают одновременно, раздвигая темноту прихожей, но и уплотняя её до кромешной непроглядности за пределами светового кокона. Тиша

неволью вспоминает одну из тех документалок, что любила смотреть Злата, когда детдомовцы собирались вечером в холле у телека: про глубоководных чудищ с огоньками на рылах, живущих во мраке под тоннами ледяной воды.

В центре светового кокона проступает физиономия Потехи – точно изрезанная рублёными тенями маска идола бес-телесно парит во тьме, удерживаемая силой первобытного колдовства.

– Мой верх, твой низ, – произносит маска. – Как на нарах.

Голос прокуренный, старческий, будто его обладателю не сорок, а раза в два больше. Поговаривали, в самом начале стези домушника Потеху поймал на неудачном скоке хозяин хаты, который влил ему в глотку растворитель засоров. Видно, острый на язык Потеха посулил хозяину что-то особо заковыристое. Излёт девяностых, времена суровые... Тиша, впрочем, сомневается, что с тех пор они сильно смягчились.

– Без суеты, но не копайся, – наставляет Потеха, поправляя лямку рюкзака. Лежащий в нём воровской инструмент отзывается глухим «кляц». – Часа три у нас есть. До рассвета гагара не нарисуетя. Цыган, если что, цинканёт. Мобилку секи.

Гагара – хозяйка дома. Белла Зервас – не хухры-мухры имечко. Вдова судьи и владелица магазина игрушек, мимо витрины которого Тиша не раз проходил. За стеклом высились баррикады коробок с конструкторами, манили модельки машинок, маршировали солдатики – в детском доме Ти-

ше о таких оставалось лишь мечтать, и лет десять назад он бы полжизни за них отдал. Ну и куклы, щекастые набивные карапузы. Они сидели на полках чинно, как в костёле, и даже сквозь стекло лучились теплом, уютом, мягкостью. Их хотелось обнять. Злате они бы наверняка понравились. Хотя, спохватывается Тиша, Злате сейчас должно быть тринадцать – время кукол для неё прошло.

Они пасли хату две недели и вчера им наконец улыбнулась удача. Зервас увезли на «скорой». А если ты не возвращаешься из больницы к ночи, рассудил Потеха, тебя продержат там минимум до утра. Самая пора идти на делюгу.

Тишины две делюги обернулись попадаловом. На первой его сняли прямо из форточки. За вторую прилетел год воспитательной колонии. Тиша надеялся, что с третьей ему фартанёт. Ведь теперь верхушника взял под крыло Потеха, а урка знает ремесло, как свои мальцы.

– С Господцем, – каркает Потеха, натягивая шапочку на самые брови и ныряя в темноту. Оставшись один, Тиша порывисто, с дрожью, вздыхает. Руки в перчатках вспотели, и не только из-за июльской жары. Он вдыхает глубже, словно принаравливаясь к атмосфере чужой планеты, и чует запах сушёных трав – точно рассыпали чай с чабрецом, – а ещё чего-то едкого, химического. Безотчётно думает о растворителе, которым однажды попотчевали Потеху, и против воли озирается. Луч фонаря высвечивает висюльки над порогом. Тиша не знает, как называются такие штуки. Амулеты, та-

лисманы? Эта выглядит как треугольник с усеянным дырочками диском внутри – чисто глаз, наблюдающий и запоминающий. Наводчик уверял, что камер в доме нет, но Тиша не в силах избавиться от мысли о датчиках, которые в эту самую минуту беззвучно шлют сигналы на пункт охраны. Он чувствует взгляды на себе – кожей, между лопатками.

«Не ссы», – вспоминается напутствие старшака.

Ради Златы, в который раз повторяет Тиша про себя. Хата ясно, что богатая. Бабла хватит и на детектива, и на первое время. Найти Злату и рвануть в Сочи, а там выучиться на барбера или устроиться в порт. Рабочие руки везде нужны – прокормимся.

Думая так, он двигает наобум по чернильным внутренностям чужого жилища.

Своего у него с восьми лет не было.

Найтие приводит его в кухню. Таких кухонь Тише видеть ещё не доводилось – сплошь хром и белизна. Луч фонарика в восторженном изумлении скачет по углам. Тиша недоверчиво оглядывается в поисках датчика движений, а то и крохотной камеры, притаившейся под потолком, будто паук, но всё чисто. Это только больше его настораживает. Кажется ненормальным. Цивильный дом – а без охраны. Тишу одолевает сильное, до зуда, желание зажечь свет. Нельзя – одно из правил Потехи. Другое правило: шерстить без жалости.

Тиша подступает к высоченной, точно вытесанной из льда, глыбине холодильника. Магнитики, облепившие двер-

цу переливчатой драконьей чешуёй, зачаровывают. Кажется, здесь собраны все города мира. Среди заморских столиц затесался фотоманнит с обнимающейся парой: представительный мужчина сдержанно улыбается, а смуглая красотка, лет на десять младше, трясёт каштановыми кудрями и хохочет во все свои тридцать два белоснежных. Хозяйка? Насколько Тиша знал, ей сейчас сильно за пятьдесят. Выходит, когда сделали снимок, Тиши и в планах не было. От этой мысли становится неловко.

Он тянет за ручку холодильника, и словно распахивается волшебный грот. Сколько продуктов! Сыры, нарезки, молоко, фрукты! Глаза разбегаются. Жаль, с собой не прихватишь. Только лавэ и цацки – таково третье правило Потехи. У Тиши, который с утра не ел, бурчит в животе.

Откуда-то из глубины дома брякает, гулко стучит. Тиша вздрагивает, потом вспоминает про своего наставника. Домушник «шерстит без жалости»: переворачивает всё вверх дном в поисках нычек. Пора и Тише подключаться.

Он извлекает из кармана спортивных выкидуху и вспарывает пакет с зеленью. Не находит ничего, кроме рукколы. Следом настаёт черёд коробки с пельменями. Картон лопается, пельмени брызжут на кафельный пол. Робость, с которой Тиша уничтожает чужое добро, затихает с каждой выпотрошенной упаковкой, вскрытой банкой, опрокинутой миской.

Не отыскав в холодильнике ни бабок, ни рыжья, Тиша напоследок щедро отщипывает от куска чеддера, заедает сыр

виноградиной и идёт дальше по кухне, будто смерч, опрокидывая цветочные горшки, жестянки с мукой, солью и приправами, мусорную корзину. Даже под плитуса суёт нос – где только не прячут деньги ушлые хозяева. Голяк!

Спустя четверть часа кухню не узнать. Тиша стоит посреди поруганного великолепия, тяжело дыша. Из-под шапочки струится пот. Стыд возвращается, куда более жгучий, чем до погрома. Тиша осторожно закрывает холодильник, точно это может исправить содеянное, и покидает бардак. Под ногами хрустит содержимое перевёрнутой сахарницы. Следующая комната ждёт.

И она выглядит многообещающей. Свет заглядывающего в окно фонаря косо низвергается на попирающий потолок книжный шкаф, монументальный и торжественный, как дорогое надгробье. Отливают золотом корешки книг. Тиша огибает грузное кресло, пристроившееся у дубового стола, и задёргивает гардины. Ночная синева кисельно сгущается, и воришке отчего-то думается о затишье, предшествующем началу киносеанса: вот-вот потусторонне замерцает экран и заполнит тьму.

Конечно, этого не происходит. Тиша возвращается к шкафу и распахивает стеклянные дверцы. Скользит беглым взором по полкам. Здесь всего хватает: книги по садоводству и вышивке перемежаются с анатомическими атласами и справочниками по хирургии. А на уровне глаз выстроились маслянисто-чёрные солидные фолианты с названиями на чужих

языках, сладко пахнувшие пылью и кожей. Тиша наугад вытягивает один из них, раскрывает, переворачивает и трясёт. Шелест всполошенных страниц напоминает треск крыльев мотылька, угодившего под абажур светильника. На этот раз Тиша не испытывает вины – в детском доме учили обращаться с книгами бережно, но читать он так и не полюбил. Со всем другое дело – кино!

Заначки нет. Не беда – не в этой книге, так в другой. Томик шлёпается на паркет. За ним летит второй – тяжёлый, словно кирпич, и тоже пустышка. Книжный ряд щерится Тише чёрными прорехами, точно рот с выбитыми передними зубами.

Вдруг его осеняет: что, если библиотека ценна сама по себе? Книги выглядят не просто старыми – древними, такие можно хорошо толкнуть на «Авито»... Ах, да. Третье правило Потехи! Никакого барахла.

И всё же Тиша буквально ощущает дороговизну этих книг. Движимый разгоревшимся любопытством, он вынимает особо увесистый том. Руки в перчатках, но Тише кажется, что обложка пропитана жиром. По её антрацитово-чёрноте тянется золотом название: «Cthäat Aquadingen. Korte transcriptie». Тиша перебирает страницы. Листы ломкие, тонкие, как папиросная бумага, и жёлтые, как стариковская кожа. Запах страниц горек, словно аромат роз, засохших на могиле. Шелест напоминает подкрадывающиеся шаги. Желание обернуться нестерпимо, и Тиша едва его подав-

ляет.

Буквы, буквы, буквы, нагромождения замысловатых геометрических фигур, внезапно врываются в их стройные колонны, и опять буквы. Изредка мелькают грубые наброски каких-то угольно-чёрных силуэтов, слишком жуткие, чтобы на них задержаться и рассмотреть получше. Тише и без того неуютно. Озадаченный – и встревоженный, чего греха таить, – он отбрасывает том и тянется за следующим. «Malgil, Buch der Sphären». «Malgil» отправляется следом за «Cthäat». Ещё один. «Livre d'Eibon, chapitres sélectionnés», что бы это ни значило. Уж Тиша точно не знает и лишь сетует, что не силён в английском. Книга, в отличие от своих соседок по полке, не кожано-чёрная, а в картонном прошитом переплётё, рассыпающемся под пальцами. «Livre» шмякается на кучу поруганных собратьев, выросшую у ног Тиши, пергаментные листы брызжут из-под обложки, как блевота. Следующая книга именуется «Scritti scelti del conte Cagliostro». Вот «Cagliostro» – это Тише знакомо, зависал там пару раз. Клуб прикольный, но пафосный. Содержание книги и вовсе разочаровывает: одни буквы с цифрами, даже картинок нет. И денег нет.

После неудачи с «Cagliostro» он перестаёт вчитываться в названия и гребёт с полок без разбору. Книгопад грохочет, листы выюжат по комнате. Полки пустеют, бумажная гора на полу растёт. Чтобы добраться до верха, Тиша подтаскивает к шкафу кресло. Вскарabкивается на него, мокрый, как мышь.

Руки дрожат и предплечья ноют. Но ему, наконец, везёт.

За собранием сочинений Бианки обнаруживается утопленный в стену сейф с кодовым замком. Тиша выдыхает ликующее: «Йес!». Он спрыгивает с кресла и едва не поскользывается на ворохе книг. Решает закончить с комнатой и уж потом звать Потеху.

Поэтому Тиша потрошит кресло (вспоротая шкура вспенивается несвежей и жёлтой, будто стекловата, набивкой), выдирает плитусы, срывает со стены натюрморт и бредёт к столу по разбросанным книгам, как по разъезжающейся черепице. Шарит под крышкой – пусто. Вскрывает лезвием простецкий замок, выдвигает ящик и видит клубки шерсти, спицы, ножницы, мешочки с пуговицами и без. Эмалированный лоток, в котором – крючки, зажимы, пара стеклянных шприцев, коробочка с иглами. За лотком – пластиковый пузырьёк с зеленоватой жидкостью. И как прикажете это понимать?

Никак, проще забить. Это не важно, это – не сейф. Сейф – важен.

Гулкий удар за стеной. Не сверху – откуда-то из коридора. Тиша сжимается в панике, цапает задний карман спортивных штанов, где из-под ткани выпирает мобилка. Вдруг гагара вернулась? Цыган же должен цинкануть!

Он тарашится в темноту дверного проёма, ожидая увидеть хозяйку (в его воображении она высокая и в белом хэб-эшном костюме), а может... кого-то ещё. Пот стекает по бро-

вям и ест глаза. Хочется содрать осточертевшую шапочку, перчатки и тереть, тереть, тереть лицо насухо, до красноты, а лучше – сделать ноги. Но опять вспоминается Злата, приставучая детдомовская малявка, от которой он поначалу не знал, как отделаться, а после прикипел, как к младшей сестрёнке.

Не осталось у них никого, кроме друг друга.

Вот потому он не уйдёт отсюда без добычи, и никто ему не помешает. Будь то фраерша с дурацким именем... или кто другой.

Стук не повторяется. Сколько Тиша ни ждёт, он слышит лишь удары собственного сердца. Когда они успокаиваются, Тиша отлипает от стола и направляется к выходу, топчя книги. Пучок света от фонарика проваливается во тьму за дверь, искажая пространство вокруг. Тиша вновь думает о глубоководных рыбах, но теперь он ощущает себя одной из них – с лампочкой на морде, протискивающейся сквозь солёную пучину. Голова слегка кружится. Кабинет кажется бесконечным.

Наконец, Тиша выплывает в прихожую. Луч безошибочно указывает на карабкающиеся во мрак ступени. Тиша поднимается, подгоняемый их скрипом. Они напоминают смешки гопника, который заметил лоха.

Второй этаж. Провалы дверных проёмов обступают Тишу, и он ненароком представляет могилы, вырытые в стенах, а не в земле. Думает, ёжась: скорее бы расквитаться с этой де-

люгой.

– Потеха! – громким шёпотом кличет он наугад в одну из «могил». – Потех!

– Заглохни! – раздаётся из соседней. – Чеколду отшибло? И верно. Никаких имён. Правило Потехи номер... неважно, какой, Тиша уже со счёту сбился. Он идёт на голос, напоминающий свист закипающего чайника.

Крадун роется в шкафу с бельём, по колени утонув в холме из наволочек, ночнушек и пледов.

– Нашёл чего? – окликает Тиша.

Потеха сипло крикает, что означает у него саркастическое «Да».

– Херову тучу домашней порнухи, аршинный самотык и кляп для слишком любопытных.

Очередное правило: никогда не справляться об успехах. Дескать, фарт спугнёшь. Потеха весь состоит из правил.

– А у меня там сейф! – выпаливает Тиша. Может, Потеха довольствуется его содержимым, и они уберутся отсюда. Дом давит Тише на нервы всё сильнее. Он меньше очковал на первом скоке.

Урка оборачивается и щурится. Тени пиявочно извиваются на его физиономии, отчего она будто плавится.

– Ништяк. – Голос – будто на поросёнка наступили. – Ну, веди. У меня голяк. Разве что вон, зырь, какой фраерок раскорячился.

Потеха машет рукой вбок, и Тиша поворачивает голову

вслед жесту. Луч облизывает дебелий бок двуспальной кровати, скользит по распоротому одеялу и утыкается в труп.

Тиша ахает.

– У богатых свои причуды, – фыркает Потеха.

За труп Тиша принял куклу мужчины – здоровенную, в человеческий рост. Она сидит, прислонившись к подушке, раскинув руки и ноги. Из раны от горла до паха на брюки куклы комковато вываливается набивка горчичного цвета. Голова куклы конфузливо свешивается на плечо. Кукла будто говорит: «Право, мне неловко, что вы застали меня в столь непотребном виде». Тиша приближается к кровати и отмечает, как искусно выполнено лицо – тут тебе и нос, и аккуратный приоткрытый рот, розовый, как у пёселя, и стеклянные, но кажущиеся живыми глаза, строго взирающие из-под кустистых бровей. Волосы – благородно-серебристый парик. Кого-то эта кукла напоминает, но прежде, чем Тиша догадывается, его опережает Потеха:

– Это ведь товарищ судья, – говорит он. – Нашей гагары покойный супруг. А знаешь, что внутри было? Холщовый мешочек. Я уж думал, с цацками. А там – порошок непонятный. Пыль пылью. Но не наркота. Не знаю, что такое, но вонький, чисто подмышка. Почапали, покажешь «медведя». Кстати, про самотык я не сочинил.

– Там код, – поясняет Тиша, спускаясь по лестнице следом за Потехой. – «Болгарку» бы. Думаешь, справишься?

– Вот моя «болгарка». – Потеха скидывает руку и шеве-

лит пальцами.

Они входят в комнату поруганных книг. Потеха хмыкает, оценив срач.

Тиша показывает. Потеха карабкается на кресло. Его тень пляшет на обоях горбатым троллем.

– Вникай, – говорит домушник снисходительно и колдует над кнопками. Слышится череда мягких попискиваний, а затем – щелчок и лёгкий скрип дверцы. Тиша восхищённо ахает. – Таким «медведикам» изготовитель ставит запасной код на случай, если лох забудет свой. Часто это восемь восьмёрок или пятёрок. Инструкция советует его менять. Но лохи ведь не читают инструкций.

Он хохочет и треплет Тишу по затылку.

– Учись, студент!

– Блин! Вот ты голова!

– Тэ-эк, что у нас здесь? – Потеха запускает руки в сейф.

Из-за верхней полки Тиша не видит, что творится, и слышит одно бесконечное шуршание. Ему представляются жирные пачки денег, стянутые бумажными полосками. Баксы, но и рублям он будет рад.

Шуршание сменяется бряканьем. Потеха отшвыривает какую-то склянку. Она разбивается о край стола, и в воздух взмывает пепельная взвесь, искрящаяся в свете фонарика. Тянет едко-телесным, отчего щиплет в носу и наворачиваются слёзы. Тиша в непонятках приглядывается к осколкам и остаткам порошка. Кокс? Непохоже. Кокс беленький.

Рядом шмякается вторая склянка. Пробка слетает, и из горлышка на книги течёт мутная вязкая жижа, похожая на гной. Тиша брезгливо отшвыривает её носком кеды. Склянка летит в угол, и под брызгами жидкости страницы шипят, будто ошпаренные кислотой.

А Потеха всё шуршит, и Тиша не сдерживается:

– Сколько там?

Потеха смотрит вниз. На его щеках проступили пунцовые пятна.

– Не унесёшь, – по-старушечьи ворчит домушник и спрыгивает на пол, предлагая Тише лично насладиться добычей. Тишу не надо приглашать дважды. Он взбирается на кресло и почти по плечи ныряет в сейф.

Его взору предстаёт пачка бумаги, но не с американскими президентами, увы – лишь стопка ксерокопий. Тиша вытаскивает её и с растущим разочарованием перебирает страницы, словно те ещё способны превратиться в купюры.

Перед ним мелькают колонны загадочных символов, отдалённо напоминающих фигуры из учебника по геометрии для старших классов. Ни один из них не повторяется, но вдоль каждой колонны бегут вереницы строк – перевод, сделанный красной ручкой. Почерк безобразный, будто у врача. Тиша различает лишь отдельные слова, но и те не вносят ясности. «Нигредо», «абсциссор», «пятая стихия», «эссенция»... «Эссенция» встречается чаще всего. Одна из страниц перечёркнута – шрамы карминовых линий почти прорывают бу-

магу, – а понизу надпись здоровенными буквами: «НЕ ТО! ТВОЮ МАТЬ!».

– Что за говно?! – взрывается Тиша.

– Денег нет, но вы держитесь, – ядовито отзывается Потеха.

Тиша отшвыривает прочь ворох страниц. Бумага кружит по кабинету, точно сухие листья над костром.

Последним из сокровищ оказывается прямоугольник мутного, словно закопчённого, стекла, стянутый латунной рамкой. Сперва Тиша принимает его за разделочную доску. На дымчатой поверхности выгравированы письма, напоминающие арабскую вязь. Они огибают символ, расположенный в середине стекляшки: глаз, оплетённый змеями. Во всяком случае, эти штуки похожи на змей, потому что ног у них нет. Зато есть массивные и зубастые, как цепные пилы, челюсти. Тишу начинает подташнивать, от огорчения ли или от отвращения – не важно.

– Как же так, По... – И ради такой добычи они влезли в этот смурной дом, от которого мурашки по коже? – Как же так?

Губы Потехи сжаты столь плотно, что исчез рот.

– Закругляйся здесь и дуй наверх, – наконец, отвечает мрачно поделщик. – Больше прошерстим – ближе фарт. Я чую бабули. Вся хата ими провоняла, как кошатница ссанной.

Он суёт в карманы кулаки и сварливым призраком пропа-

дает во тьме за порогом.

Тиша тоже не мешкает, бросает стекло в сейф и оставляет комнату разочарований. Фонарик Потехи, болотным огоньком подмигнув с лестницы, скрывается за её изгибом. Тиша опять остаётся один. Он – и поскрипывания особняка. Словно подкрадывается кто-то незримый. Словно пытается застать врасплох.

Но глаза боятся, а руки делают.

«Руки и ноги», – подбадривает себя Тиша неказистой шуткой и принимается за прихожую. Проходится по тумбочке – ничего, потрошит шкаф – ничего, перебирает обувь и в босоножке находит пластмассовый пульт размером со спичечный коробок с одной-единственной квадратной кнопкой. Нажимает на неё.

Тихое шипение заставляет подпрыгнуть. Свет от фонарика всполошенно отскакивает от стен. Сперва Тиша даже не понимает, что происходит. Участок коридорной темени внезапно становится гуще. Он разгоняет её лучом и видит, как над полом плавно вздымается крышка люка. Видит металлические ступени, уходящие в подвальный мрак. Поистине, дом полон сюрпризов, но вместо восторга Тишу охватывает робость. Чёрта с два он полезет туда без Потехи. Тиша снова нажимает на кнопку, и подвал с астматическим шипением захлопывает пасть. «Заходи, когда будет минутка, я всегда здесь».

Потопав для верности по люку – не обвалится ли под но-

гами? – Тиша бегло осматривает фотографии в рамках, развешанные по стенам коридора. С самой большой лучезарно улыбается уже знакомая кудрявая красотка, прижимающая к себе девочку лет пяти, тоже кудрявую и щекастенькую – в мать. На соседнем снимке, маленьком и невзрачном, женщина уже одна, и она не улыбается. Морщины сковывают сомкнутые губы, скулы очерчены тенями. Тиша ведёт лучом фонарика дальше по стене, высвечивая плеяду каких-то бабушек, тётушек, дядюшек, дедушек... С фрагментами семейной истории Тиша обходится бережно: выламывает рамки лезвием, не повреждая бумагу.

Ни банковской карты, ни даже застрявшей монетки.

Ещё две двери. За одной – ванная, пропахшая отбеливателем и освежителем для унитаза. Тиша обшаривает её (голь) и входит в последнюю – крайнюю, сказал бы Потеха, – дверь. Его преследуют щелчки падающих капель – Тиша искал нычку в бачке унитаза и с перчаток течёт. Липкий, пробирающий звук. Тиша воображает, как по полу цокает коготками крыса. Ощерившаяся. Бр-р!

«Крайняя» комната полна тряпичных кукол. Куклы сидят повсюду, точно певчие в хоре – на диване, навесных полках, на журнальном столе и пуфике. Луч фонарика перескакивает с одного личика на другое, будто играет в чехарду с напуганным сердцем Тиши, который сперва принял кукол за детей. Уж больно мастерски они сделаны. Справившись с волнением, Тиша невольно любуется кропотливой работой. Ни

одна кукла не похожа на другую, у каждой свои черты лица, своя одёжка и, наверняка, свой характер. Все куклы – девочки, и Тише на ум приходит подходящее слово.

– Дискриминация, – проговаривает он вслух и подбирает с пуфика тряпичную крепышку. Среди своих сестёр она самая нарядная и пышная. Стекланные глазки, румяные щёчки. Верёвочные волосики собраны в пышную причёску, а на макушке – шляпа с полями, как у барышень из дореволюционных времён.

– Ох и здоровущая ты! – Ростом крепышка с трёхлетнего ребёнка, да и весит явно больше, чем просто тряпки с набивкой. Неужто с секретом куколка?

Разумеется, та молчит, лишь всматривается в лицо пришельца внимательно и настороженно. «Чтобы ты ни задумал, лучше не надо», – предостерегает взгляд стекланных глаз.

– Мне это тоже не в кайф, – признаётся Тиша, надеясь подбодрить себя звуком собственного голоса. Совесть не успокаивается – ведь сейчас он имеет дело не с книгами и даже не с фотографиями. Слишком много труда вложила хозяйка в игрушки. Труда и души.

Тиша достаёт выкидуху и заносит её над обмякшим тельцем. Пальцы крепче сжимают мягкую шейку.

«Не надо!» – взывают стекланные глаза. Они карие с зелёным и слишком выразительные для куклы. Розовый кармашек рта заходит в безмолвных мольбах.

Тиша думает о Злате и бьёт.

Ткань лопается под лезвием – «Тр-р-р!». Будто бзднул кто. В разрезе вскипает мучнисто-белая набивка. Тиша режет. Матерчатая кожа игрушки расплзается вместе с кружевным платьицем, как банановая кожура. Головка куклы запрокидывается, пышная шляпа слетает мёртвой бабочкой. Ротик распахивается шире, будто тряпичная девочка вопит. Вопит и *дёргается*.

Тиша выворачивает её наизнанку. Ни бабла, ни цацек, а лишь пыльные синтепоновые внутренности. Выпотрошенная кукла напоминает жертву маньяка-детоубийцы. Волшебство исчезло. Тиша отчего-то вспоминает, как в далёком детстве слепил с родителями снеговика, а когда вернулся домой, увидел в окно, что снеговика топчет соседский мальчишка.

– Всего-то куклы, – шепчет Тиша и бросает под ноги поникшую оболочку.

Он расправляется ещё с двумя куклами, но мысль о том вредном мальчишке не отпускает. Пот, пропитавший шапочку, горячий, словно масло. В перчатках зудит и жарко хлопает, отчего кажется, будто это куклы тёплые и живые. Он подступает к четвёртой жертве... и замирает.

Тиша видел приёмных родителей Златы дважды, и ни в первый раз, ни во второй они ему не понравились. Злата возражала: «У меня будут мама и папа». Возражала пылко, будто пыталась убедить сама себя, но её глаза подозрительно блестели. «Мама» – костлявая тётка с носом, как у Шапокляк, и пучком медных волос, туго закрученных на затылке,

отчего тонкие брови пребывали в выражении вечного изумления. «Папа» – лысый кряжистый тип, похожий на Грю из «Гадкого я», но ни разу не милый, с лицом выцветшим и дряблым, как древесный гриб. Крепкий запах одеколона не мог забить идущий от «папы» душок, подобный тому, что стоял в детдомовской прачечной – вечно сырого белья. Ни один из «родителей» – про себя Тиша называл их пришельцами – не улыбался. Он не доверил бы таким людям и таракана. А им отдали Злату.

«Тиша, Тиша, я не хочу, как же ты, не разлучайте нас!», – прорвётся у неё, когда пришельцы явятся увезти девочку на внедорожнике траурно-чёрного цвета. В тот день (четырнадцатого сентября семнадцатого года – Тиша запомнил каждую мелочь, способную помочь в поисках Златы) на ней были жёлтая курточка, синее платье и кеды. Волосы забраны в хвостики, в хвостиках – по заколке.

У куклы, над которой Тиша занёс нож, вместо заколок резинки, но синее платьице, жёлтая курточка и белые кеды в наличии. Не точь-в-точь как у Златы, да и размером меньше, но сходство ошеломительное.

Он снимает игрушку с полки. Луч фонарика ощупывает кукольную мордашку, и черты крохи искажаются в гримасе ужаса.

У куклы голубые глаза и соломенные непослушные волосы. Как у Златы.

«Мне не обязательно делать это... с ней», – говорит себе

Тиша. Каковы шансы, что именно в Злате (он произвольно наделяет игрушку именем названной сестрёнки) запрятаны башли? Дырка от бублика, скажет Потеха.

А ещё Потеха скажет: раздолбай остается без бубана.

Тиша решается, и занесённое лезвие сливается в стальную дугу. Воспоминание о Злате, которую тянут к машине, накладывается на другое – о гадёныше, копошащемся на растоптанном снеговичке.

С треском лопается ткань. Из груди куклы брызжет освобождённая набивка. Тиша кромсает. По щекам стекает горячее – пот или слёзы.

– Прости, – срывается с его губ. Кукла раскрывается, точно огромный цветок. – Прос...

Густо-чёрное, дегтярное проступает под лезвием, расплывается по желтоватой бледности набивки. Тиша щурится, подносит жертву к лицу, не понимая и не веря. В нос ударяет запах окалины. Тиша таращится на выкидуху. По лезвию тянется наваристый багряный след.

Кровь.

Тиша вскрикивает – всполошенное «Х-ха», словно выстрелила пробка шампанского. Отшатывается, отбрасывает куклу. Та ничком плюхается на паркет, раскинув лапки. Под ней тягуче расплывается лужица, чёрная, как смола.

Рассекая воздух ножом, Тиша выскакивает из комнаты. Взлетает по лестнице и голосит, отринув всякую осторожность:

– Потеха-а! – Ступени под ногами: туд-туд-туд, и кажется, что за Тишей гонится кто-то громоздкий и угрюмый.

– Нишкни, шкет! – хлещет сверху сильный окрик. – Метлой не пыли!

Потеха преграждает путь. Изломанная тень урки скатывается по ступеням чёрным половиком.

– Чего за кипеш?

– Эти... – Тиша не знает, как объяснить, и для наглядности машет ножом за спину. – Куклы...

– Пером не трепыхай, лишнего отрежешь, – откликается Потеха голосом Бабы Яги из старых советских фильмов, но не комично, а угрожающе.

– Из них кровь хлещет, из одной! – выдаёт Тиша, продолжая потрясать ножом.

– Не трепыхай, говорю, – бурчит Потеха, перехватывая Тишино запястье. Долго изучает выпачканное алым лезвие, перекатывая голову с плеча на плечо. – Уверен, что кукла?

– Пф-ф, а то кто ж? – ошеломляется Тиша.

– Мож, мышá какого проткнул?

– Может! – Тиша хватается за спасительную идею, и тревога начинает стихать. – Да. Наверное.

Потеха же полон сомнений.

– Айда, позырим.

Бесцеремонно оттеснив Тишу локтем, он топает вниз.

В комнате Потеха склоняется над куклой, упираясь руками в колени, и опять катает голову с одного плеча на другое.

Подевает носком кроссовки безжизненное тельце и небрежно переворачивает. Пятно расплзлось по груди куклы, словно ожог. На подбородке тряпичной девчушки, так напоминающей Злату, россыпь багряных крапинок – точно оспины. Тишу передёргивает.

– Вашу Машу, – ворчит Потеха, распрямляясь. – У товарища судьи наверху в нутрях – мешочек с гнилью, а тут вроде как пакетик с юшкой. У гагары фляга-то конкретно свистит. Ладно. Порадуй лучше успехами, а то у меня пока аут.

Тиша сияет:

– Я арман нашёл! Секретный!

Щербатая лыба раскалывает Потехино лицо.

– Ну-у! И стоишь молчишь, радостный, будто прожектор в жопу спрятал. Показывай, дитя моё!

Тиша без сожаления покидает обитель кукол. Всё это время пульт от люка у воришки в кармане спортивок, где и мобилка. Он вытаскивает пульт и вдавликает кнопку ногтем.

С утробным вздохом в полу распахивается бегемотья пасть. Потеха хлопает Тишу по плечу.

– Фартовый, шкет!

Тиша считает себя кем угодно, только не фартовым. Опять возвращается тревога. Прямоугольник провала уж слишком напоминает чокнутый беззубый оскал похороненного заживо великана.

Потеха приседает у края, распахивает крышку шире. Пневматика свистит, точно кто-то резко тянет воздух сквозь

свёрнутый в трубочку язык. Потеха свешивает ноги в лаз. Слышится металлическое «тыц», когда подошвы его кроссовок касаются ступеньки. Он начинает спускаться. Со стороны это выглядит как погружение в гигантский орущий рот.

– Чего тормозишь? – спрашивает Потеха, от которого снаружи остаётся лишь голова. – Прибалт покусал?

– Я там не закончил, – пытается изобразить беспечность Тиша и начинает дрейфовать бочком к комнате с куклами.

– После закончишь! Мне помощь нужна. Эге-гей! – подбадривает Потеха, замечая его малодушие. – Не сцы! Готовь карманы под червонцы!

Голова ныряет в люк. Тиша плетётся за подельником, мысленно костеря того на все лады. Начинает погружаться, ощущая, как с каждой ступенькой становятся увесистей удары сердца. Чёрный прямоугольник лаза заключает Тишу в бетонные объятия, неспешно стискивает, глотает. Руки Тиши сами собой протестующе упираются в края люка. Перчатки потливо скользят. Тише неведомо слово «клаустрофобия» – как, например, «атараксия» или «прескевию», – но необязательно знать, чтобы чувствовать.

Он окунается под пол, цепляясь негнушимися пальцами за всё подряд и кусая губы. В лестнице всего восемь ступенек, но она кажется бесконечной. Лестница стальная и похожа на трап космического корабля, каким его представляет себе Тиша. Борясь с неодолимым желанием зажмуриться, на ватных ногах он наконец достигает безупречно ровного бе-

тонного пола и решает оглядеться.

Он ожидает очутиться среди переплетения труб – серых, с торчащими из-под разорванной обмотки пучками стекловаты; погрузиться в озеро настоявшихся земляных запахов. Вместо этого ему открывается сухое, жаркое до удушья пространство, с обеих сторон сжатое жмущимися к стенам стеллажами, уходящими во мрак – чисто нары. Лучи фонариков, его и Потехи, потерянно блуждают по полкам, как пара светлячков, заблудившихся в полночь среди трясин. Откуда-то доносится низкий, едва уловимый гул: вытяжка. Несмотря на её потуги, в воздухе ощущается застарелый привкус пепла.

Мягкий щелчок. Вспыхнувший под потолком плафон разгоняет по углам всклокоченные дёрганные тени. Дальний конец подвала по-прежнему теряется во тьме, из которой выступает край массивного металлического стола. Полки заставлены всевозможным барахлом: фанерными ящиками, белесыми пластиковыми бутылками, жестянками, картонными коробками. Большая часть этого хлама пронумерована римскими цифрами. Почерк кривобокий. Тиша узнаёт руку Беллы Зервас.

Осторожно, будто входя с летнего зноя в горный пруд, Потеха ступает вдоль стеллажей. Под лучом его фонаря неугомонные тени пускаются в издевательский пляс. Тиша крадёт за ним на цыпочках, и сам не понимая, отчего. У стола Потеха застывает, и Тиша едва не налетает на подельника.

– Ты гля, чо, – кивает Потеха.

Стол – массивная прямоугольная плита из потускневшего до болотисто-зелёного металла со следами окиси – поблёскивает в перекрестье лучей. Края столешницы обрамляют бортики, как у бильярдного стола, вот только у Тиши не возникает желания сыграть партеечку. С ближнего к ним края столешницы и по её бокам свисают чёрные кожаные ремни с застёжками, похожие на брючные, но толще. Тиша думает о наручниках, и его передёргивает, точно за шиворот выпали горсть льда. Эти «браслеты» сделаны не из стали, но назначение у них то же: пленять и не пускать.

– Регулируемые, – комментирует Потеха, подёргав ремни.

– Слышь, – говорит Тиша глухо. В горле внезапно пересыхает. Язык становится распухшим и клейким. – Ну его совсем. Свалим, а?

Потеха, прищурясь, глядит на Тишу.

– Мы эту хату полмесяца пасли. – В его режущем слух голосе сквозит неприкрытое презрение. – Здесь угрохали два часа. А ты увидел стол для садо-мазо-игрищ и со страху обхезался? К мамочке захотел?.. Ой, забыл-забыл, прошу прощенья.

Тиша пропускает издёвку мимо ушей. Не стол для садо-мазо, и тем более не бильярдный – этот стол напоминает ему разделочный. Или ещё хуже, из морга. Что за подсохшие бурые борозды, там, вдоль бортиков? А жёлтый пластмассовый таз между ножищ металлического динозавра – зачем он?

– Здесь же кисло. – Тиша обводит пространство трясущ-

щейся рукой. – У хозяйки деньги на карте или в магазине, в сейфе. Ловить нечего. Тут всё... не как надо.

Потеха пристально смотрит на Тишу, будто видит впервые.

– Поднимись, глотни водички, – воркует он притворно-ласково. – Как попьёшь, приходи. Мне тут помощь друга надобна.

Тиша открывает было рот, но внезапно сзади раздаётся знакомый зевотный посвист. Тиша резко оборачивается и успевает увидеть, как истончается перевернутое П щели между люком и потолком. Медленно, словно в дурном сне, но, когда Тиша добегает до лестницы, щель успевает превратиться в волосяную полоску. Люк захлопывается с глухим «туд».

В подвале враз делается жарче, а в желудке – ледянее. Склизкие змеи кишок наматывает на кулак призрачная рука. Тиша взмывает по ступеням и толкает крышку люка. Пальцы, ощупывающие потолок, дрожат. В происходящем есть что-то из приключенческих фильмов, которые Тиша обожал в детстве – про затерянные в джунглях храмы, полные тайн и опасностей. Лишь отважному герою – иногда на пару с красоткой – удавалось добраться до заветного клада, тогда как их спутники гибли в ловушках. Мучительно.

Потеха не тянет на отважного героя, Тиша – на красотку, а значит, дело табак. Тиша затравленно оглядывается.

– Ну пульт-то у тебя остался, – подсказывает Потеха. Ти-

ша и рад бы согласиться, но вспоминает, что бросил пульт на полу, когда, спускаясь, в панике цеплялся за края лаза.

– Спокуха, – осаживает Потеха, выслушав сбивчивые оправдания. – Крышку отжать можно. Фомич со мной, поддону. – Он стряхивает с плеч рюкзак и кладёт на стол гвоздодёр. Присовокупляет сварливо: – Спускайся, сильно не накажу.

Пусть голос Потехи и напоминает скрип коряги под ногой заблудившегося в чаще путника, тон остаётся ровным. Это успокаивает Тишу. Он спускается с лестницы, а Потеха, не дожидаясь, ухает в темноту за столом.

– Пещёра Бэтмэна, в натуре! – доносится оттуда, а затем: – Ох, оптать!

Угомонившееся было сердце Тиши опять принимается скакать на желудке, как на батуте.

– Да что?!

– Зацени, – приглашает сварливый голос. Луч Потехино фонарика указывает куда-то в угол. – Тебе зайдёт. Ты у нас любитель кукол.

Тиша понуро плетётся к очерченному светом силуэту урки. Он смертельно устал от всех *неправильностей* дома и не желает сталкиваться с очередной. Ощущение беды сгущается, и Тиша больше не в силах его игнорировать.

Потеха тычет лучом фонарика в здоровенного игрушечного зайца, привалившегося боком к стене. Куклище сидит на полу, раскинув ноги, словно поддатый аниматор в росто-

вом костюме. Из проплешин в сально-розовой шерсти проглядывают мучнисто-белые, цвета старых шрамов, сплетения нитей. Грязные уши свисают на лупастую морду с пунцовою, точно напмаженной, улыбкой. Тени ползают по отожратым щекам, и кажется, будто заяц гримасничает незваным гостям.

– Зайку бросила хозяйка. – Потеха теребит игрушку за ухо, и Тиша едва сдерживается от крика: «Не надо!». – Я наперво думал, жмур это. Чуть сердце не высрал.

Вор разжимает пальцы. Ничего не происходит, только ухо вяло колышется, как стариковский хрен.

– Видали и не такое. – Потеха поворачивается к Тише. Из-за спины урки округло выглядывает карнавально-алый бок барбекюшницы. – Давай-ка шерстить, пока солнышко не встало. Моя эта сторона, твоя – та.

И начинает беззастенчиво греметь на полках. Вниз кувырывается первая жестянка, брякается у заячьей лапы и харкает россыпью гаек.

Тиша подключается – суетливо и с желанием поскорей закончить. Подвал наполняется лязгом и грохотом, оживив в памяти станкозавод, где Тиша успел поработать после малолетки и до первой задержки зарплаты.

Под треск и дребезжание домушники продвигаются к лестнице. Всё меньше ящиков и коробок остаётся нетронутыми. Увы, шансов найти нычку от этого не прибавляется.

– Пилите, Шура, пилите! – подбадривает Потеха.

Среди обычного гаражного барахла порой попадаются вещи, которые могли бы озадачить, не будь Тиша в спешке. Например, узкий контейнер из оргстекла, наполненный отвратительного вида насекомыми – к счастью,дохлыми. Они напоминают блох, закованных в броню гнилостно-коричневого («какашечного», назвала бы Злата) цвета – если только бывают блохи размером с яблочный огрызок. На контейнере вместо цифры фиолетовым фломастером намалёван непонятный иероглиф: мешанина из разорванных петель, похожая на комок лобковых волос. Тиша опрокидывает банку, её содержимое рассыпается в полёте и хлещет об пол, как град. Одна из тварюшек приземляется Тише на кеду, хрустящая и ломкая, будто из засохшей мыльной пены. Он пинает её, содрогаясь от отвращения, и «блоха» рассыпается. Остаются только голова и лапки. Остро пахнет горько-солёным.

Или вот картонная коробка с тряпичными ручками, ножками, ушками, губками всевозможных форм и размеров. Кучу кукольных запчастей венчает плюшевое рыло Микки Мауса, но не смеющееся, а перекошенное от бешенства. Неудивительно – вместо ушей мультгерою пришили его знаменитые белые перчатки. Сосисочные пальцы растопырены и готовы вцепиться в лицо любому, кто нагнётся над коробкой. Такой Микки не станет веселить детишек в Диснейленде, а, хохоча, погонится за ними с бензопилой. Тиша не решается запустить руки в коробку (кто знает, что ещё скрывается под головой мышонка-мутанта), и просто вывалива-

ет её содержимое на пол. Бескостные ручки, ножки, хвосты растекаются, извиваясь, будто скользкие угри из прорванной сети. Нычки нет. Из-под игрушечной расчленёнки злорадно скалится старина Микки.

После подобного другие штуки, вроде свёрнутых в рулон анатомических таблиц или йоговской дощечки, утыканной иглами длинною с карандаш, не кажутся странными.

Тиша добирается до лестницы одновременно с Потехой. Здесь они переглядываются. Оба тяжело дышат, у обоих пунцовые щёки. По скуле Потехи тянется жирный мазок машинного масла. Друг другу ясно: ни алтушки.

– А! – выдыхает Потеха после тягостного молчания. – Мы ж этого забыли. Братца Кролика. Зря он, думаешь, в углу кемарит? Вот кто бабулечки наши стережёт.

Потеха двигает к зайцу, а Тиша без сил приваливается к стене. Не просто измотанный – опустошённый. Его больше не волнуют деньги. Не волнует – жутко и стыдно признать – Злата. Выбраться отсюда – вот всё, чего он сейчас хочет. Будут и другие хаты, где можно пожить. А эта – не дом, а склеп. Даже если Потеха отыщет что-то в синтепоновых потрохах зайца, Тиша откажется от доли. Не быть добру от здешних богатств.

Он делает глоток пахнувшего пеплом воздуха, чтобы заявить об этом, когда раздаётся крик Потехи.

Тиша резко отталкивается от стены и ушибается плечом о полку. Дальний угол подвала хорошо подсвечен фонари-

ком подельника, но Тиша всё равно отказывается верить собственным глазам.

Потеха кричит – нет, орёт, визжит, точно боров на неудачном забое, – а к его горлу тянется чёртов розовый заяц, словно сбежавший из старой рекламы Energizer и потерявший в пути барабан. Он стискивает пальцы на шее Потехи, и Тиша видит, что правая рука зайца, прежде скрытая привалившейся к стене тушей куклы, человечья. *Из плоти и крови.* Если судить по ядрённому бицепсу и чёрным курчавым волосам – мужская.

Потеха корчится, вцепившись в клешни, сомкнувшиеся под подбородком. Его козлетон мечется по подвалу, сверлом ввинчиваясь в мозг. Заяц сосредоточенно безмолвствует. Они смахивают на пару, покачивающуюся в медленном танце, и лишь чрезмерный пыл одного из партнёров портит сходство.

Тиша без раздумий кидается к борющимся. На бегу хватает со стола Потехину фомку. Налетает и, не примеряясь, с размаху обрушивает гвоздодёр на зайца-переростка. Как по матрасу врезал – оружие отпружинивает от заячьей лапы. Костюм – конечно, костюм, что же ещё? – оказывается слишком плотным.

Однако удар не пропадает зря. Заяц отшатывается, потеряв равновесие, и слабеющий Потеха увлекает врага за собой. Они валятся набок. Визг Потехи срывается в надрывный кашель. Тиша бьёт снова, но только чиркает по загри-

ку придурка в костюме. Придурок неумело пинает Тишу в бедро. Пинок выходит мягким, словно нанесён не ногой, а и вправду кукольной лапой.

Потеха мячом отскакивает от пола – щёки пылают, глаза навывате, слюна размазана по губам, как помада.

– Дёру! – пищит он и, не дожидаясь спасителя, драпает прочь. Заяц

(человек в костюме зайца!)

вскидывает руку – *нормальную* – и цапает Потеху за ступню. Матерясь, тот бухается на колени, лягает раз, другой – вырывается. Тиша помогает ему подняться. Заяц

(человек!!!)

неуклюже барахтается среди раскиданного поделеньниками барахла.

– Нога! – воет Потеха, припадая на правую. Тиша подставляет плечо, и охромевший Потеха повисает у него на шее. От Потехи забористо несёт потом. Опустив глаза, Тиша замечает, что ступня вора свёрнута набок. Они ковыляют к лестнице. Потеха подскакивает, как подстреленная из рогатки ворона.

Покалеченными сиамскими близнецами они исхитряются допрыгать до ступеней, пока заяц

(хер с ним, заяц!)

ворочается в дальнем углу.

– Фомич! – рыкает Потеха, карабкаясь к люку. Тиша протягивает гвоздодёр. Потеха вырывает инструмент и приме-

рывается к нитяной щели в потолке.

– Не стой без дела, Тишка!

«Собственное правило нарушил», – обжигает Тишу суеверная мысль. Не понимая, что от него требуется, он начинает метаться вокруг лестницы, пока под потолком лается Потеха.

А за спиной – шум. Тиша оглядывается.

С лопатой наперевес, как солдат, бегущий в штыковую, к ним мчится заяц. Дряблые уши хлещут по щекам, усы топорщатся. Отблески плафона наполняют стеклянные зенки ликованием триумфатора.

«Как он видит через них в костю...»

Заяц с разгона вонзает острие лопаты в коленный сгиб здоровой Потехиной ноги.

Потеха ревёт. Разворачивается, размахивая гвоздодёром, но попадает лишь по заячьему уху. Заяц колет снова. Лопата впивается в ягодицу Потехи с глухим чавкающим «фуф», будто входит в сырой от дождя чернозём. Выронив гвоздодёр, урка кубарем скатывается со ступеней. Вжавшись в стену, Тиша тарашится на зрелище, одновременно кошмарное и курьёзное.

Потеха падает на спину, как неуклюжий жук, и заяц отступает на шаг, примеряясь. Заносит лопату. Потеха выставляет руки. Лопата опускается стремительно, будто лезвие гильотины, и рассекает Потехе пальцы – воровскую гордость и красу. Перчатки лопаются, алые брызги орошают заячье

брюхо и сливаются с розовым.

Потеха срывает и без того слабый голос в очередном крике. Корчится, молотит руками, разбрызгивая вокруг себя всё больше крови, будто спринклерный ороситель, к которому подвели не воду, а гранатовый сок. Вопль пронзительный, будто запустили дрель, и Тиша зажимает уши. Голова его раскалывается, глаза слезятся. Этот вопль разбудит соседей. Разбудит весь город.

Заяц заносит лопату для решающего удара.

Тиша оказывается проворней.

Он подхватывает гвоздодёр и дубасит зайца по хребту.

Не издав ни звука, заяц роняет лопату и падает на колени перед Потехой, точно желая вымолить прощение за столь неудачно начавшееся знакомство. «Забудем это недоразумение и попробуем заново». К горлу Тиши икотой рвётся безумное хихиканье.

Вместо покаянной речи заяц наваливается на Потеху и вновь принимается душить.

Окровавленной пятернёй Потеха стискивает заячий нос в кулаке, и линялая ткань промеж пушистых ушей с треском расходится. Тиша ожидает увидеть шевелюру психа, напялившего костюм, но из разрыва, словно мозги, лезет серая набивка.

Тиша замахивается снова.

Будто угадав, заяц отпускает Потеху и разворачивается. Вовремя – гвоздодёр уже вошёл в свистящую дугу. С порази-

тельным проворством заяц перехватывает гвоздодёр. Встаёт, выпрямляется, весёлый и грозный – усы выдраны, на скомканном рыле кровавый след ладони, – и играючи вырывает у Тиши оружие.

Так же играючи он наотмашь двигает гвоздодёром Тише в челюсть. Пробирающийся до мурашек хруст Тиша слышит не ушами – он раздаётся внутри черепа. Следом обрушивается боль – ошеломительная, невообразимая. Рот наполняется вкусом ржавчины и осколками зубов. Челюсть отвисает, как развалившийся выдвижной ящик, а сам Тиша летит назад, и кровь хлещет изо рта, словно из брандспойта.

Он впечатывается в стену. Пытается устоять, но ноги становятся чужими, ломкими, и Тиша шлёпается на задницу. Хрустит раздавленный мобильник. У лестницы продолжается суета, но Тиша может думать только о боли. Б-О-Л-Ь, все буквы заглавные. Мучительная дрожь сотрясает тело. Пространство подвала заполняется серым и скручивается в петлю, в узел. Как и Тишин желудок. Его едкое содержимое выплёскивается из глотки и горячей окровавленной лепёхой шмякается на пах. В месиве гладко белеет одинокий зуб.

Потеха тем временем перекачивается на четвереньки и слепо ползёт вдоль стеллажа, мотая башкой. Мечется луч фонарика. Заяц неспешно настигает Потеху и протягивает того гвоздодёром по спине. Тиша не слышит треска расколотой лопатки, как не слышит и визга Потехи. Его голова полнится собственными визгами, как проклятый замок – при-

видениями. Раздробленная челюсть не даёт им вырваться на волю, и от этого в тысячу раз хуже.

Заяц картинно откидывает гвоздодёр и пинком опрокидывает Потеху навзничь. Подбирает с пола дощечку с гвоздями – садху, очередное слово, которое не знакомо Тише, – склоняется над Потехой и принимается лупить того по лицу. Шмяк, шмяк, шмяк! Рука размеренно и мощно взмывает и обрушивается. Взмывает и обрушивается. С каждым взмахом гвозди всё сильнее покрываются багровым. Фонарик Потехи гаснет. Теперь Тиша способен слышать, и он слушает, как подельник заходится в клокочущем крике.

К счастью, недолго.

Крик захлёбывается – бульканье, точно кастрюлю с кашей забыли на плите. Ступни Потехи дёргаются, как под током. Изувеченные руки дважды взмывают и опадают. Но даже когда тело Потехи перестаёт шевелиться, заяц не думает прекращать. Изверг вошёл в раж.

Наконец, заяц решает, что достаточно насладился. Садху поднимается и опускается уже без прежней страсти. Заяц отшвыривает доску и встаёт. Его тень скрюченным чудищем тянется через подвал – к Тише. Окровавленный зверь шаркает в указанном тенью направлении.

Тиша лихорадочно и бестолково машет перед собой руками. Враг неудержим, как паровоз. Его брюхо и морда щедро заляпаны рубиновыми кляксами. Он без труда прорывается сквозь мельтешение Тишиных рук и дотягивается до горла.

Пальцы – холодные, потные, костлявые – и шерстяные, сросшиеся в варежку, – сходятся под расколотой костью, и челюсть сводит от нового разряда боли. Сгусток рдяной слюны выплёскивается изо рта Тиши и повисает на заячьей лапе.

Одуревая от боли, Тиша барахтается в смертельных объятьях. Пытается отползти, отталкиваясь ногами от пола, но что-то мешает, цепляется – что-то под задницей. В карманах. Разбитый мобильник – в левом. А в правом – выкидуха.

Тиша нащупывает и с треском ткани вырывает нож из кармана. Грозовая туча боли окутывает голову, застилая взор.

Он выщёлкивает лезвие и вгоняет в грязное заячье пузо.

Оно лопается. Из разреза выплёскивается набивка. Тишу обдаёт волной затхлого нутряного запаха, словно кто-то гнилозубый рыгнул в лицо. Тиша бьёт снова, в рану, глубже – и тянет нож вверх. Кисть утопает в рыхлой дряблой субстанции, но не встречает сопротивления плоти.

Выражение заячьей хари не меняется – да и как бы смогло? – но Тиша чувствует замешательство врага. Замешательство... и страх? Пальцы противника скользят в крови, как в смазке, пытаясь крепче ухватиться за горло. Тиша вырывает руку из трещины, расползающейся вдоль некогда белого, а ныне пегого заячьего брюха, и бьёт в третий раз. В грудь. Ткань расходится под лезвием со звуком долго сдерживаемого пердежа.

Заяц отпрядывает, но Тиша начеку. Он бросает нож и впиывается пальцами в расширяющиеся края разрыва. Дёргает их

в стороны. Заяц колотит его лапой по макушке. Туча серых оводов ослепляет Тишу, но держит он крепко. Теперь пришёл его черёд кромсать. О да!

Ослепший, он вколачивает руку в заячье нутро, сжимает в кулаке и вышвыривает из раны шершавый комок набивки. Заяц лупит и лупит, но Тиша, отринув боль, запускает в рыхлую массу обе руки, будто хочет зарыться в неё с головой. Вышвыривает пучки желтушной вонючей ваты. Грудь зайца расходится, точно ларь, полный тухлых сокровищ. И в нём Тиша нащупывает нечто. А когда пелена перед глазами чуть развеивается – видит.

Сердце. Живое сердце, колотящееся и глянцево поблёскивающее в разворошённом кратере груди. Сквозь червонные стенки в набивку прорастают белесые паутинистые нити.

Заяц предпринимает последнюю попытку освободиться. Зря. Тиша не ослабляет хватку. Лёгкое, почти мелодичное брнчание волокон – и сердце оказывается в его руках, как выдранный из тенет паук, огромный и истекающий липким соком.

В безмолвной мольбе заяц тянет к Тише руку. Ключковатая трубуха свисает из его вспоротого брюха, левое плечо поникло.

Тиша сжимает пальцы, и горячая жижа, чёрная, будто дёготь, выплёскивается на его разбитое лицо и невозмутимое рыло зайца, бежит за рукава, стекает на штаны. Словно озадаченный таким поворотом, заяц склоняет голову. А потом

обваливается, как старый ковёр, на кучу собственных ватных внутренностей.

Тиша всё глубже и глубже вдавливая пальцы в ком пышущего жаром мяса. Выжимает, пока из него не перестает течь. Слезы катятся по щекам Тиши и смешиваются с кровью. Наконец он заходится в горестном хриплом вое, отбирающем последние силы – но даже теряя сознание, продолжает терзать хлюпающий упругий шматок синюшно-розовой плоти.

Он приходит в себя, не понимая, ото сна или от беспмятства. И то, и другое похоже на правду. Он распластан на жёсткой плоскости металла: руки раскинуты, ноги расставлены и всё тело затекло. Взор упирается в бетонный потолок с единственным плафоном. Каждый крошечный бугорок на потолке отбрасывает тень, длиннющую, как минутная стрелка.

Он сбит с толку. Сперва кажется, что опять залетел на малолетку и ему устроили прописку. Наверняка суровую: лицо распухло и превратилось в осиное гнездо. Боль притупилась – насекомые пока спят, но сон их чуток. Крылышки подрагивают, жала готовы впрыснуть яд.

Яд... Он вспоминает укол в шею, аккурат перед обмороком – укус стеклянной осы. А затем вспоминает остальное и вскидывает голову.

Осы мигом срываются с насиженных мест и наполняют череп свирепым жужжанием. Он видит, что запястья и лодыжки

ки крепко стянуты ремнями, уходящими под крышку стола, на котором он распялен. Из одежды на нём лишь шапочка да погасший фонарик. А ещё он понимает, что в подвале не один.

На лестнице сидит женщина, и, хотя на фотографиях она сильно моложе, Тиша сразу её узнаёт. Осиное гнездо, в которое превратилась голова, наливается гипсовой тяжестью, и он роняет её на стол. Из глаз стекают непрощенные слёзы, которые он не может утереть.

– Пожалуйста, – шепчет он, но выходит: «подадуда». Попробуй пошептать, когда челюсть расколота, как глиняный кувшин. Приближаются шаги, и по потолку бежит новая тень, смывающая все прочие.

– Мы прожили в этом доме тридцать лет, – произносит тень грудным, неожиданно чувственным голосом. Неподъёмно грустным. «Скорбный», – находит Тиша подходящее слово. – Столько труда в него вложили, столько... любви. А вы устроили бедлам... Свинья!

Из тени выпрастывается рука. Пощёчина приводит угнездившихся в черепе Тиши ос в неистовство. Боль сокрушительная, как вспышка сверхновой. Он скорее слышит, чем ощущает, как сдвигаются под ударом размолотые кости, и без удержу вопит, хотя от этого ещё больше.

– Ну-ну, – воркует тень. – Будь мужчиной. Имей смелость отвечать за свои поступки.

Тиша мямлит оправдания, но женщина понимает его хлю-

пающее шамканье по-своему.

– Я ушла из больницы. Утром стало легче, так я сказала, и это правда. Но не вся. Я узнала, что кто-то влез в дом, пока я спала. Сигилла Мгангеи предупреждала, но эти чёртовы капельницы... Сплю с них, как убитая.

Чёрный ураган, застилающий мир, не стихает, однако Тиша приноравливается видеть сквозь него. Различает черты лица хозяйки. Высокие скулы, клювастый нос, оплетённые паутинками морщин тонкие губы. Лихорадочный блеск оливковых глаз под изящными арками бровей. Даже под шестьдесят Белла Зервас сохранила породистую привлекательность.

Хозяйка вновь поднимает руку, и Тиша вздрагивает, в ужасе ожидая второй сверхновой. Но Зервас всего-навсего раскрывает ладонь и показывает ему пульт от люка.

– Где нашли? Я думала, что потеряла его в неотложке. Какое счастье, что нет. А то ни пульта, ни Мишки – ума не приложу, как бы я попала в подвал.

Тиша молчит, но Зервас, кажется, и не ждёт ответа.

– Ещё и спину сорвала. – Теперь её голос звучит игриво. – Тощий-тощий, а весишь как охряпок.

Зервас прячет пульт в карман сарафана и кладёт Тише на грудь горячую ладонь.

– Так кто же из вас, птенчики, рассыпал *суть*? – мурлычет она. Коготки проказливо щекочут кожу, будто пересчитывают на ней волоски. Тиша не видит шаловливых паль-

цев, но в его воображении лак на ногтях вызывающе-красный. Он опять не находится с ответом, и ему остаётся лишь тарачиться на Зервас зарёванными глазами.

– Кто, – продолжает хозяйка ласковый допрос, а рука скользит уже по Тишиному животу, – из вас, сучатки, убил моего мужа?

Тиша вспоминает схватку с зайцем, и паника скручивает его желудок в пылающий узел. Он вскидывает голову и замечает в углу за лестницей груды грязно-розового тряпья.

– Это Мишка, – небрежно поясняет Зервас. Её рука останавливается у паха Тиши, пальчики играют с порослью на лобке, и у Тиши встаёт. Ситуация кошмарная, ситуация безвыходная, но одной предательской части его тела она явно по нраву. – Хороший был помощник, пока не стал качать права. Распоясался вконец. И он... начал *трогать* девочек. А это уже за гранью. За такое надо закапывать живьём. Ну и я... Я его *обратила*. И это мой самый крупный прорыв с тех пор, как я расшифровала пятую формулу Эйбона. Гений из гениев он был, Эйбон. Но я не только её расшифровала – я её усовершенствовала. Я! Жаль вы, паразиты, не дали завершиться *трансформации*... Так кто из вас убил Владлена?

– Какого Владлена? Я никого не убивал! – мычит Тиша. Получается: «Аоооэа? Аиооэуиа». Словно ребёнок учит гласные буквы.

Пальцы Зервас сжимают его восставший член и слегка сдавливают. Горячие и сильные, принимаются плавно, с гру-

бой нежностью, тянуть вверх и вниз. Выражение глаз Зервас остаётся сосредоточенным, в глубине их, будто бешеная ласка в норе, таится гнев, но плоть Тиши, пленённая кулаком, продолжает твердеть. Невыносимая боль, паника и сладостное томление – всё смешивается, заставляя Тишу сомневаться в реальности происходящего.

– Кто?! – настаивает Зервас, обнажая зубы. Её кулак трясёт и дёргает член, точно джойстик игровой приставки. – Мой муж выпотрошен, как налим. Годы труда! Кто?! *Суть* рассыпана. Кто? Кто?! Отвечай!

Тиша собирает остатки воли и произносит как может отчётливо, ощущая под набухшей кожей шевеление сломанных костей:

– Отпустите меня. Я не расскажу. Никому. Клянусь. Я, о, я клянусь. Я лишь хотел найти Злату и уехать отсюда.

Рука Зервас останавливается. Пугающий оскал тает.

– Злата. Какое красивое имя. И очень редкое. Я ведь тоже знаю одну Злату. Я вас познакомлю. Хочешь? Познакомлю!

Она разжимает пальцы, и член Тиши разом скукоживается, как моллюск, ищущий спасения в раковине. Зервас убегает, но прежде Тиша замечает амулет, свесившийся из выреза её сарафана. Точная копия амулета, болтающегося на бечёвке у входной двери. Эту штуку упоминала Зервас? Как бишь её? Сигилла чего-то там.

Шлепки сланцев взмывают по ступеням, удаляются, смолкают. Тиша отрывает от стола изувеченную голову. Люк от-

крыт. Зервас исчезла. Он в подвале один. Не считая трупов.

Его колотит, но адреналин притупляет боль и прочищает мозги. Он дёргает одну руку, другую. Ремни только глубже вгрызаются в запястья. Тиша не сдаётся и напрягает мышцы до судорог. Путы скрипят, глодают кожу – держат на совесть. Тиша бессильно роняет голову. Кровь стекает ему в горло, и он глотает солёное.

Внезапно мысль, яркая, как боль, будоражит его: Васька-Цыган! Оставшийся снаружи атасник наверняка срисовал возвращение Зервас. Цыган парень ловкий – придумает, как вызволить Тишу. Соберёт братву, и тогда Зервас не позавидуешь. Надо лишь дождаться...

Шаги. Приближаются. Хозяйка. Помянешь же чёрта!

Тиша снова приподнимает голову. Зервас боком спускается в подвал. Тиша не может разобрать, что у неё в руках – что-то большое, – а Зервас поворачивается к нему спиной и копошится над ступенями. Наконец, отходит в сторону. Ужас, пожирающий Тишу, не унимается, но к нему добавляется новое чувство: неподдельное изумление.

На лестнице откормленными совами расселись куклы. Две на одной ступени, две на другой, а на самой верхней – обмякшее тельце тряпичной девочки в распоротом синем платье. Жертва Тиши, успевшая познакомиться с его ножом. Головка на плече, а от подбородка до паха разверзлась рана, лохматится набивкой, бурой от спёкшейся... крови?

Тиша не желает думать, что это кровь, но после знаком-

ства с зайцем Мишкой иного не остаётся.

Кроме кукол Зервас приволокла пластиковую корзину. Хозяйка ставит её на пол и принимается перебирать содержимое. Раздающийся при этом лязг ассоциируется у Тиши с больницей, хирургией, эмалированными лотками и покоящимися в них инструментами, чьи названия для него – тайна. Испарина превращает его лицо в пропитанную кипятком губку, и когда Зервас выпрямляется, невидимая пятерня сдавливает его лёгкие. Он глотает изуродованным ртом воздух, но не может протолкнуть его дальше по горлу.

В руках Зервас не скальпель и не ножницы, а кусок полупрозрачного стекла с узорами, который Тиша с Потехой нашли в сейфе. Зервас скользит ногтем по оттеснённым на дымчатой поверхности знакам – не в пример нежнее, чем тебила Тишины причиндалы. И шепчет. Тиша не разбирает слов, но чувствует их ритм, потому что каждый выдох Зервас наполнен силой. Под её дыханием кристальная поверхность начинает источать грозное сияние. Оно пульсирует – словно пластина отзывается на дыхание. Глаза Тиши, было высохшие, опять слезятся, уши закладывает, а боль пронзает череп с новой силой. Каждый уцелевший зуб – словно клавиша рояля, соединённая с нервом. Злые пальцы вколачивают престо агонии прямо в мозг.

Внезапно электрическая вспышка беззвучно озаряет подвал. Купоросовый свет стирает всё, и на мгновение Тиша видит сквозь плоть Зервас кости с оплетающими их мыш-

цами, как на рентгеновском снимке. Щупальца густого света проникают в каждый тёмный подвальный угол, от них не укрыться, и жгучая мука, которую он несёт, не сравнима со стенаниями разmozженной челюсти. Глаза Тиши готовы взорваться, содержимое черепа – свариться, как яйцо, но даже зажмурившись, он видит. Видит всё.

Куклы начинают шевелиться. Поводят плечиками, точно перед танцем, встряхивают локонами, растопыривают ручки. Переглядываются – все, кроме подружки с верхней ступеньки. Их розовые, как у котят, ротки открываются, и подвал наполняется, будто вспорхнувшими птицами, девчачьей болтовнёй:

– Мама, мама, мама вернулась, мамочка наша, мамочка здорова, мы рады, мы счастливы, мама, ура, мамочка, злой мальчишка, плохой злой мальчишка пришёл ночью, с ножом пришёл, мама, нам сделалось страшно, мама, мамочка, да, страшно, мы испугались, да, испугались, и он убил сестрёнок, убил *неудачную* сестрёнку, а потом убил сестрёнку Злату...

Зервас простирает руку к куклам, а они тянутся к ней, точно ища спасения. Кончики губ хозяйки трогает улыбка, печальная, усталая... и полная любви. Свет оплетает Зервас, как разряды – статую на носу корабля, чей киль взрезает бурю, и Тиша понимает, что свет – живой. Принимает это как факт.

– Он больше не опасен, – успокаивает Зервас своим умо-

помрачительно томным голосом. Она поворачивается к Тише. Крупные слёзы в уголках её глаз искрятся, как сапфиры. – Ни он, ни его дружки. Мамочка о них позаботилась.

«Дружки! – орёт в голове Тиши чужой голос, отдалённо похожий на баритон Васьки-Цыгана. – Не *дружок!* Дружки!»

– Да, дружки, – угадывает его мысли Зервас. – Этот, у забора. Чёрненький. Ваш? Загробные ангелы уже идут по его следу. Они настигнут его и выедят мозг. К вечеру он ещё сможет произнести своё имя. А вот понять, что оно значит – нет.

Куклы спрыгивают с лестницы и без боязни семят к столу, который Тиша давно именует про себя разделочным. Их тон сменяется с плаксивого на обвиняющий:

– Зачем ты убил сестрёнку, зачем убил сестрёнку Злату, распорол ей животик и проколол её сердечко? Сестрёнка так кричала, Злата так кричала и кричала ей было больно страшно больно она плакала говорила не надо братик не надо Тиша ты меня убиваешь не убивай меня я теперь живу с мамой с мамочкой и ты тоже можешь гадкий гадкий Тишка убийца!

Тишка-убийца воеет, запрокинув голову назад, но теперь его изводит боль иного рода. Окружившие стол куклы галдят уже совсем неразборчивое.

– Это ты их убила, – шамкает Тиша. Осколок зуба скатывается с лопнувших губ на подбородок. – Пропавшие дети... Ты убила их всех.

– Поначалу у меня случались... неудачи, – произносит

Зервас сконфуженно. – Я тогда не научилась пробуждать *суть* и сердца развоплощались. Но остальные, они живы, посмотри!

– Выключи... – молит Тиша. От света нет спасения и под сжатыми веками. Горячая вязкая жижа сочится из его глаз и стекает по щекам – то ли слёзы, то ли кровь вперемешку с гноем. – Убери этот свет! Пусть только замолчат...

– Ну-ну-ну. – Зервас укоризненно качает головой. – Дыхание Игэша нам ещё понадобится. Больно лишь вначале, а потом ты свыкнешься. Я обещаю.

– Тишка голый! – хихикают из-под стола. – Дай, дай посмотреть! Не толкайся!

– Ш-ш! – осаживает Зервас разошедшуюся мелюзгу.

Она оставляет извергающее лазурное пламя стекло на стеллаже и уходит куда-то за голову Тиши. Секундой позже до него доносится бряканье, затем встревоженное «пух», с каким газ загорается на плите. Зервас появляется снова. Улыбка на её лице то пропадает, то возвращается, словно женщина разминает губы.

– Я никому не расскажу, – опять канючит Тиша. – Я обещаю, я клянусь...

«Век воли не видать», – едва не добавляет он.

– «Я икааму ии скаажу», – пискляво передразнивает кукольный выводок.

Зервас треплет его по щеке с наигранным сочувствием и идёт к корзине. Раздаётся уже знакомый металлический

лязг. Женщина распрямляется, прижимая к груди крючки, и спицы, и нож. Фиолетовый свет облизывает узкий клинок. До Тиши доходит, что Зервас собирается оттяпать ему бубенцы. Возможно, затолкает их Тише в глотку перед тем, как полоснуть по горлу. Его ужас на пике. Выше – только безумие.

– Нетнетнетнетнет!

– Ты когда-нибудь мечтал о бессмертии? – Зервас педантично раскладывает на полке жуткий инструментарий. – С того дня, как погибли в аварии мои родители и брат, я просто бредила идеей вечной жизни. Представляешь, каково это? У тебя есть свой безопасный мирок, полный защиты и любви, но в один момент он просто рушится. По щелчку.

Тиша представляет – ещё как, – но сомневается, что откровения ему помогут. В этот момент его заботит совершенно другое. Слух отсчитывает каждый стук, с которым Зервас раскладывает орудия пыток на нечто, звучащее как металл.

– Советский материализм был категоричен: бессмертие недостижимо без науки, а воскрешение мёртвых и вовсе невозможно. Я ненавидела эти твердолобые коммунычи догмы и стремилась найти разгадку вне науки. Её границы так узки! У дяди были книги... *особые* книги, которые открыли мне глаза. Но Страна Советов могла предложить мне только этнографический факультет МГУ. Впрочем, и от него был прок. Я вволю попутешествовала, и не по одному Союзу. В путешествиях я искала ответы. И порой находила.

Она оборачивается и ставит Тише под бок поднос. Скопив глаза, Тиша замечает среди разложенных на нём крючков и лезвий холщовый мешочек, моток ниток и открытую пластмассовую коробочку, а в ней – горстку кристаллов. В дыхании Игэша они кажутся фиолетовыми до сливовой черноты... и мягкими. Назначение увиденного непонятно, однако не внушает ничего доброго.

Зервас же опять скрывается из поля зрения, но сразу возвращается, толкая перед собой барбекюшницу. На дне красной чаши незримо гудит пламя. Куклы, отирающиеся возле стола, опасливо прыскают от треноги в стороны. Словно помнят что-то, с ней связанное.

– А далее мне дважды повезло, – продолжает Зервас упоённо. – Рухнул Союз, что позволило мне путешествовать по миру без всяких препятствий. И я встретила Владлена. Он уже тогда был при деньгах, а я нуждалась в средствах. За пять лет я объездила половину земного шара. А уж чего навидалась!..

Поглощённая воспоминаниями, она не забывает обойти стол и затянуть пленяющие Тишу ремни потуже. Его жилы ломит, ещё чуть-чуть – и они лопнут.

– Я в таких местах побывала – никому не вообразить. В Камбодже последователи культа Нго научили меня, как заставить кристалл Игэша *дышать*. Жрецы Вуду с Гаити поведали, как выделить *суть* и вдохнуть жизнь в носителя. Вместе с Мбогом, слепым алхимиком из Кении, мы провели ри-

туал длиною в месяц, который открыл мне секрет трансмутации плоти. Этот ритуал едва меня не прикончил... Порой я думаю, что так было бы лучше.

Тиша с ней всецело согласен.

– И всё же я узнала недостаточно. Когда умерла Надюша, я оказалась не готова.

– Ваша дочь? – вырывается у Тиши. Он не в состоянии освободиться, помощи ждать неоткуда, но он может тянуть время. Кто знает, что успеет произойти? Может, чёртову ведьму хватит инфаркт.

– Доченька, – отвечает Зервас севшим голосом. – Ей было шесть. Прямо у меня на глазах. Лёд был слишком тонок. Слишком тонок. Но настоящая причина в другом. *Силы* не делятся тайнами... даром.

Зервас перемещается к изголовью. Она так близко, что Тиша улавливает запах пудры.

– Но это было и шансом. Парень из морга пустил меня к Наде и позволил добыть её *суть*, – продолжает историю Зервас. Тиша мало понимает из услышанного, но это только подстёгивает его ужас. Безумие уже здесь, уже рядом, смрадным выдохом опалает лицо. Горло скручивает в спазме, и проглоченная кровь рвётся наружу. – Владлен осатанел, когда узнал. Он вечно считал мои изыскания баловством, но в тот раз решил, что я вовсе слетела с катушек. Нормально? Я давала нам шанс вернуть Надюшу к жизни – да, в новом теле, но разве это важно? – а он вознамерился упрятать меня

в дурку. Я не могла этого допустить.

Вздых. Пауза.

– Я любила его, – возобновляет Зервас рассказ. – И люблю до сих пор... Когда Владлен... В общем, я опять заплатила тому типу из морга и извлекла из тела *суть*. С Владленом оказалось проще. Слишком мало времени прошло с момента смерти.

– Мама, мамочка, мама, а про нас?! – мяукают куклы, повисая на женщине бесформенными шевелящимися плодами. – Расскажи, как ты привела нас в свой весёлый домик и превратила в куколок, милых славных куколок!

– Если успею, девочки, – улыбается Зервас многообещающе. – Наш гость скоро сам всё узнает.

Но всё же тщеславие не даёт ей сдержаться:

– У Эйбона *суть* именуется *эссенцией*, но, как по мне, «суть» – более ёмкое слово. Это буквально суть человеческая. Называть её «душой» слишком упрощено, а «эссенцией» – туманно. Программный код – вот самое точное сравнение. Добыть *суть* непросто, но и это лишь половина задачи. Нужно подготовить вместилище. Например, тело можно сшить. Я сызмала любила шить и просто обожала кукол. Они мягкие, и милые, и уютные. И я сшила Владлену новое тело. Да, механическое сгодилось бы лучше, оно функциональней, однако в этом я не разбираюсь абсолютно. Мишка был спец по всяким механическим штукам, вон какое убежище мне отгрохал, но когда я начинала, мы ещё не встретились. По-

том я научилась обращать в кукол живую плоть. Что поделать? Уж больно я их люблю.

Она отвлекается, чтобы проверить температуру барбекюшницы. Пламя гудит в ногах Тиши. Тёплый воздух овеивает пятки, но Тишу пробирает до костей. В воздухе разливается густой запах нагретого металла и угля. Стон вытяжки напрасен.

– И вот. Я поместила *суть* Владлена в сшитое тело, – говорит Зервас с гордостью, и Тиша вспоминает Потеху: «Знаешь, что внутри было? Холщовый мешочек, а там – порошок непонятный. Пыль пылью». – *Суть* пробудилась, но увы, Владлен не мог двигаться сам без кристалла Игэша. И он... был не в духе, представляешь? Вместо благодарности-то! Даже в самом сильном мужчине сидит нытик.

Она перебирает на подносе крючки и лезвия. Их бряцанье кажется Тише громоподобным. Потолок начинает крениться, как при землетрясении.

– Я решила оставить его в покое до той поры, пока не разберусь, как обходиться без помощи кристалла. Или пока не узнаю, как обратить тело куклы в человеческую плоть. И я бы дозналась! А вы, – она тычет спицей в сосок Тиши, и Тиша взвизгивает, – испоганили годы труда. Вон что сделали с моим мужем!

«Чья бы корова мычала», – мелькает в голове Тиши. Он до одури охвачен ужасом, но с изумлением обнаруживает и ярость внутри собственного распадающегося сознания.

Должно быть, Зервас читает это в его взгляде. Она заносит спицу над правым глазом пленника. Тиша зажмуривается и отчаянно крутит головой. Хрустит шея.

Слышится ведьминский смешок.

– Да, пока мне это неизвестно, – говорит Зервас. Тиша осторожно разжимает веки. Она хлопчет над барбекюшницей, размещая в чаше жаровню. – Зато я открыла обратный процесс. Потребовались... подопытные. Я ненавижу это слово. «Доченьки» гораздо лучше. Их искал Мишка. Я трансформировала их...

– Превратила в красивеньких веселеньких друженьких куколок-сестричек! – вразнобой галдят из-под стола.

– Удержать в них жизнь удалось не сразу, – сокрушается Зервас. – *Суть* не пробуждалась, и первые стали просто куклами. Но и *неудачных* доченок я сберегла. Я люблю всех своих доченок. А вы их растерзали!

– Это Тишка-Тишка-Тишка! – скороговоркой ябедничают куклы.

– Вы мои сладкие, – отзывается Зервас нежно и завершает историю: – Существует дюжина толкований шифра Эйбона, ни одно из которых нельзя назвать точным. Знаешь, как говорят? Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Двадцать лет я бьюсь над расшифровкой, методом проб и ошибок приближаясь к цели. Мишка стал первым трансформированным, кто мог двигаться без поддержки кристалла Игэша. От успеха меня отделял один шаг. И тут вы!

Она кидается к Тише, склоняется над ним, почти прижимается щекой к его раскуроченной физиономии, и «вы» рвётся из её глотки волчьим рыком.

– Вы-ы! – Рёв опаляет кожу, как пламя. – Рассыпали Надину *суть*! Убили мою дочь! Проклятые паразиты!

Тиша вспоминает про спрятанную в сейфе склянку, про порошок, искрящийся серебром в лунном свете, и вместе с алыми пузырями с его губ срывается изнурительное, как икота, хихиканье. Он не может его сдержать – теперь балом правит истерика:

– Хи-хи-хи! Собери её – хи-хи – пылесосом!

Он произносит это предельно ясно. Зервас отшатывается. Глаза ведьмы темнеют, зубы обнажаются в оскале. Она впивается ногтями в руку Тиши, резко выгибается к потолку и исторгает протяжный, полный страдания, стон. Куклы откликаются жалобным фальцетом. Веселье Тиши обрывается так же внезапно, как и началось, когда Зервас, отвив, щиплет и оттягивает его верхнюю губу.

– Тише, Тиша. Ты искупишь всё. Обещаю, сладкий.

Она проводит ладонью по сырому Тишиному лбу и стаскивает с головы шапочку, высвобождая его взмокшие кудри.

– Да ты у нас рыженький. – Зервас, прищурившись, всматривается, будто видит Тишу впервые. – Как смешно. Пришить тебе большие ушки, новый ротик взамен разбитого, носик да глазки стеклянные – и готов Олег Попов. Ты, вроде, любишь веселиться?

– Что?! – «Фто?!»

– Не переживай, после *обращения* больно уже не будет. Мишка через это прошёл – каков зайчик получился, – да и доченок я слегка ушивала...

– Чтобы мы стали маленькие, как лялечки! – поддакивают игрушечные сестрички.

– ...и они не чувствовали ни-че-го.

Зервас берёт с подноса нож. Не кухонный, а хирургический – с длинным узким лезвием, по которому змеями струятся электрические отблески кристалла.

– Человек должен находится в сознании. Это залог удачной трансформации. Перед началом процедуры я обычно даю настой беладонны, он притупляет... неприятные ощущения, – поясняет Зервас и добавляет буднично: – Жаль, но вы и его разлили.

Тиша бьётся в ремнях, словно муха на липкой бумаге.

– Знаешь, как работали хирурги во времена, когда единственным доступным наркозом был удар киянкой по голове? – комментирует приготовления Зервас. – Предельно быстро. Хирург с набитой рукой успевал провести операцию за считанные минуты. В противном случае пациент мог не перенести болевой шок и погибнуть. Но ты не пугайся. Моя рука набита.

Смысл увещаний, произнесённых с деланным сочувствием, едва доходит до обезумевшего пленника, распластанного на столе.

– Может, тебе деревяшечку дать, чтобы ты прикусил? М-м? Ах да. У тебя же челюсть сломана.

Зервас деловито ощупывает живот Тиши, оттягивает кожу под рёбрами, примеряется, чертит на ней толстым синим карандашом. Тиша ёрзает, но Зервас грубо прижимает его ладонью к столу.

– Тогда кричи. Здесь отличная звукоизоляция. Кричи всласть. И если думаешь, что будет больно, поверь – мне сейчас больнее.

Она погружает нож в трепещущую плоть, и Тиша кричит. О, ещё как.

Боль невиданная, боль корёжит тело, боль сжигает дотла. В сравнении с ней расколота челюсть – щекотка пёрышком. Что-то рвётся внутри под рёбрами, там, где с хлюпаньем ходит сталь, и плещется, и бьётся в безжалостном твёрдом кольце ранорасширителя, и смердит бойней. Зервас наваливается, попирает выгибающееся тело локтями, и он забывает собственное имя, забывает любые слова, а из разодранной глотки комом битого стекла трубно рвётся протяжное «А-а-а!», и лишь ничтожная крупица распавшегося разума заклинает, чтобы сознание покинуло груды мяса, в которую превратился тот, чьё имя отныне стёрто.

Но забвение не наступает. Раздуваются и обваливаются в чёрные дыры древние галактики. В муках рождаются и гибнут вселенные. Ведьма обещала всё сделать быстро, и не было в мире большей лжи.

Спустя эоны и эоны она наконец отваливается от истерзанного тела, как насытившийся вампир. Её окровавленные пальцы стискивают осклизлый гольш, сочащийся алым.

– Селезёнка, – гремит глас из бушующих бездн космоса. – Самый таинственный орган, как считали древние. Источник *сути*.

Выпотрошенный человек не понимает ничего из сказанного. Он лишь бессильно хрипит. Жгучие красные пузыри вскипают на его губах. Оголённое нутро овеает жаркий сквозняк.

Селезёнка бордовой жабой плюхается на жаровню, и ведьма орудует над чашей невесть откуда взявшейся лопаточкой – чисто повар, устроивший барбекю на лужайке в погожий полдень. Её тень скачет по потолку, словно чёрт у костра. Ведьма шепчет. Под лопаточкой шкворчит. Запах жареного мяса, распространяющийся по подвалу, постепенно вытесняется вонью горелого. Ведьма бросает к обугливающейся плоти щепоть фиолетовых кристаллов из пластмассовой коробочки и начинает толочь пестиком. Над жаровней взмывает султан едкого переливающегося дыма. Человек на столе чихает и в какой-то момент словно видит себя со стороны, сверху – измученное, выгнувшееся в дугу, бледное тело с кумачовой ухмылкой раны под рёбрами. Видит кукол, которые, взявшись за руки, водят под столом хоровод. Ведьмин шёпот переходит в гортанный, кашляющий распев. Растерзанный человек икает. Это смех.

Шуршание. Латунной ложечкой, чья ручка оплетена письменами на незнакомом языке, ведьма корябает по дну чаши, соскребая сторевшее, и сыпает в холщовый мешочек серебристо-серый порошок. *Суть.*

– Разве не чудо? – бормочет она, затягивая тесёмки. Перед взором растерзанного смыкается тьма.

Ведьма возвращается к телу на столе и погружает мешочек в сочную улыбку разреза. В её руках появляются спицы. Она сноровисто орудует ими, и растерзанный человек превращается в зашитого человека. Зашитый человек хихикает – щекотно. Внутри, под рёбрами, что-то зудит и толкается, будто прорастающее семя, ширится и пронизывает. Боль отступает, а зрение возвращается. Зашитый человек, собрав остаток сил, поднимает голову и смотрит на аккуратный шов, скрепивший воспалённую ткань. Смотрит, как пунцовое отцветает, а от сомкнутых губ раны расползаются новые и новые нити – по коже... заменяя кожу. Под рёбрами распускается тёплый шерстяной цветок. Будто и не плоть внутри, а набивка.

– Всё-всё, сладенький, – утешает женщина и целует зашитого человека в щёку. Тряпичные доченьки восклицают: «Ура!». – Самое трудное позади. Дай тебе помогу.

Она игриво теребит член зашитого человека. Когда орган, наконец, отвердевает, она сжимает его в кулаке – на этот раз ласково, почти боязливо – и приступает к работе. Её рука всё так же горяча.

Защитый человек блаженно улыбается, медленно, но неизбежно превращаясь в кукольного человека.

Конец августа. На календаре по-прежнему лето, но сентябрь уже затаился у порога, как непрошенный гость. Ранними сумерками дышит в спины прохожих студёным туманом, и те невольно ускоряют шаг, утешаясь, что есть ещё впереди пара летних дней. Это ложь. Конец августа – ненастоящее лето, и непрошенный гость терпеливо ждёт, когда воцарится полновластным и хмурым хозяином. Первые жёлтые листья, его глашатаи, прыскают по тротуарам, забиваются в стоки, хрустят под ногами спешащих якобы по делам горожан. Деревья утомлённо покачивают кронами и в такт ветру напевают скрипучие старческие песни о приходе холодов. Как по команде распахивают глаза циклопы-фонари и пристально изучают запыленные фасады домов, точно видят их впервые.

Один дом кажется наряднее прочих. Он хорохорится густо-зелёными стенами и слюдяной витриной. За стеклом – игрушки на любой вкус: и машинки, и солдатики, и паззлы, и плюшевые псюшки, и, конечно, тряпичные красавицы – куклы. Они выделяются особенно. Румяные и пёстрые, раселись на полках, чисто барыньки, ведущие светскую беседу. Над витриной красуется вывеска: «Двери в детство», а над входом – табличка «Добро пожаловать».

От торопливого ручейка пешеходов отделяется пара: женщина в лёгком бежевом пальто и толстяк в безразмерной

клетчатой рубаше. На лицах супругов перезревшей тенью лежит печать тяжкой и неизбывной ноши, которая с ними так давно, что въелась в кожу, стянула свинцовые обручи морщин и состарила раньше срока. Толстяк рассеянно смотрит по сторонам. Взор женщины прикован к витрине.

– Толь, – говорит женщина, хватая спутника за локоть – нервно, а не нежно. – Ты видишь?

– Вижу что? – отрешённо отзывается супруг. Поворачивается к витрине, и морщинки вокруг его глаз делаются глубже.

– Она совсем как наша Аня.

– Лиз. – Голос мужчины звучит сдавленно. – Восемь лет прошло.

– Она совсем как Аня! – повторяет женщина громче – почти выкрикивает. Оказавшийся поблизости прохожий оглядывается и ускоряет шаг. – И платъице такое же, как на ней, когда... когда...

Её голос начинает дрожать. Мужчина приобнимает спутницу за плечо.

– Да, похожа, – признаёт он. – Какое совпадение!

Глаза женщины подозрительно блестят. Неподалёку промоутер в ростовом костюме клоуна раздаёт буклеты, но супругам не до него. Сейчас им ни до кого из тех, кто на улице, а может, и в целом мире.

– Давай купим, – молит женщина.

– Не думаю, что это...

– Хорошая идея? – всхлипывает она. – У тебя все идеи

плохие, если они не твои!

Мужчина мнётся.

– Будет нам как память. А если Аня вернётся однажды...

– Давай, – смиряется мужчина, и пара рука об руку идёт ко входу в магазин. Клоун распахивает им дверь. Он настоящий жердяй. У него красный шерстяной нос, белые перчатки с пальцами-сосисками – пухлые, будто по ним вмазали молотком, – мешковатая пурпурная кофта с помпонами и зелёные шаровары. На ногах – чёрные бегемотоподобные ботинки, на голове – шапочка с пропеллером. Почему-то под шапочкой закреплён налобный фонарик. Улыбка у клоуна удалая, рот до ушей, крупных, как баранки – но что-то в этом типе заставляет женщину сжать локоть мужа крепче. Возможно, всё из-за движений клоуна. Они вихлястые и какие-то бескостные. Так водоросль извивается на морском дне.

«У него нет прорезей для глаз, – думает женщина. – Как он смотрит?»

Но муж уже затаскивает её в магазин. Дверь закрывается, колокольчик над порогом звенит, а клоун возвращается к прежнему занятию. Пританцовывая и кривляясь, подруливает к парню в кожаной куртке. Протягивает буклет.

– Отъебись, чудовище, – огрызается парень и спешит дальше по своим делам.

2022

Мерцающий дом

Для каждого из их троицы эта история началась по-своему. Для Дани – с драки возле девчачьей раздевалки. Для Сани, его брата-близнеца – с выбитого зуба. Для Толика история брала своё начало, конечно, с Жоры и того злополучного урока природоведения. А может, она началась ещё раньше, когда Сафрона оставили в их классе на второй год. Что бы ни явилось точкой отсчёта, оно запустило цепь событий, которая закончилась кошмаром.

Заманить Пашку Сафронова в Мерцающий дом придумал Толик.

– Мы можем избавиться от Сафрона раз и навсегда, – сказал он гундосо и осторожно коснулся пальцем ноздрей – остановилась ли кровь? Палец остался сухим. Толик шмыгнул носом и схаркнул в пыль бледно-розовую слюну.

– Как это, Толян? – озадачился лопоухий и белобрысый Даня Пушкин. Он болтал ногой с верхней ступени трапа пузатой ракеты, устремлённой в недостижимое небо над детской площадкой – сапфирово-стылое небо первого дня осени.

– Чудес не бывает, старик, – философски изрёк Саня, как и брат, белобрысый и лопоухий. – Хорош чудить. Айда к Прянику, «Тома и Джерри» позырим.

Толик помотал головой, снова шмыгнул, сплюнул. На этот

раз слюна была белой. Кровь из носа у Толика шла чуть что – и бить не надо. Сафрон и не бил: покрепче прищемил несчастный нос пальцами после линейки, когда взрослые не смотрели в их сторону.

– А ещё Пряник говорил, у его родаков кассета припрятана, а на ней одну деваху дрючат по-всякому. И знаешь, кто? Майк Тайсон!

– Да понтит он, – заспорил Даня. Спорить у близнецов было едва ли не любимой забавой. Порой это даже приводило к потасовке, правда, невсамделишной.

– Я те отвечаю!

– Мерцающий дом, – произнёс Толик отрешённо. Хотя он был младше братьев на год, учились друзья в одном 5 «Б». Толика перевели на класс старше из-за хорошей успеваемости, и потому из всей троицы он считался самым умным, пусть близнецы никогда не признавали это открыто. Фамилия у Толика была Шилклопер. Даня шутил, что учителя не могут выговорить фамилию Толика и оттого редко вызывают его к доске.

– Прикальываешься? – братья одновременно вытаращились на него, как на чокнутого.

– Мы можем избавиться от него навсегда, – повторил Толик с вызовом.

Он поднял голову. Глубокие складки, которые пролегли вокруг его губ, превратили пятиклассника в кого-то чужого – взрослого и жестокого. Щёки Толика горели. Как и глаза.

– Представьте. Ещё семь лет с ним. Четыре, если повезёт и Сафрон свалит в ПТУ. А мне двух лет с ним вот так хватило! Четыре года я точно не протяну.

Толик чиркнул ногтем у себя под подбородком.

– Говно этот Сафрон. Сами знаете. Даже мамашка не будет по нему убиваться. Он... – голос школьника дрогнул. – Он Жору убил.

В прошлом году дети принесли на урок природоведения своих питомцев – кто хомячка, кто черепаху. Яна Стриженко взяла в класс болонку, которая напрудила у доски под хихиканье одноклассников. А Толик притащил клетку с попугаем-кореллой. С Жорой. Жора ковырял серым когтем клюв, лузгал семечки и говорил хриплым, как из телефонной трубки, голосом: «Кавабанга!» и «Аста ла виста, бэйби». Продвинувшийся попугай мигом завладел всеобщим вниманием. Один Сафрон угрюмо зыркал с задней парты на любимца публики. У Сафрона для урока не нашлось даже таракана.

На большой перемене Толик оставил Жору в классе, а когда вернулся из столовой, обнаружил попугая на заляпанном помётом дне клетки лапками вверх. Некогда аккуратные, пёрышко к пёрышку, крылья птицы были растрёпаны. Толик тоненько заголосил, прижавшись к прутьям, и, будто явившись на зов, в класс вошёл Сафрон, поигрывая своими чётками. Зыркнул исподлобья и потопал к задней парте, двинув плечом убивающегося школьника – вроде как случайно.

Неделю спустя, когда закончился последний урок,

Сафрон, проходя мимо Толика, сунул ему за шиворот что-то щекочущее и шуршащее. Толик всполошённо полез за воротник и вытащил длинное, белое с серым, перо. Обомлев, вытаращился на Сафрона, а тот из дверей послал отличнику шкодливую кривоzubую улыбочку.

– Да сказки это, про Мерцающий дом, – попытался возражать Даня.

В ответ над двором сворой гончих псов пронёсся ветер. Басовито ударил по струнам бельевых верёвок, опутавших балконы подобно сетям гигантского паука. Точно сам Мерцающий дом отозвался на собственное имя – насупленный и вечно пребывающий в тени, словно надгробье на могиле великана, вздымающееся посреди пустыря в пяти кварталах отсюда. Дане даже почудился промозглый смрад подвала, кишашего мокрицами, голохвостыми крысами... или чем похуже. Он невольно оглянулся, хотя отсюда недостроенную девятиэтажку было не видеть.

– Сказки, – добавил он уже тише. Почти шёпотом.

Саня покачал головой.

– Помнишь Шурку Кудинова? Тоже, небось, думал, что сказки, когда на спор туда полез. И тот третьеклассник, как там его?

– Шурик вообще чокнутый был, – отмахнулся Даня. – Чё угодно могло с ним случиться. Вылез через заднее окно и слинял.

– Мы ж оба видели, Лэндо, – вмешался брат, назвав Даню

секретным именем – в честь героя «Звёздных войн». Саня, само собой, был Ханом Соло. – Как дом, ну...

«Мерцает», – закончил Даня мысленно.

– И я видел, – произнёс глухо Толик. – Мерцание. Да? Мне тогда восемь было. Я мамке рассказал, а она отругала меня.

– И как мы туда Сафрона затащим? – скривился Даня. – Хлороформом усыпим, как в кино?

– Скажем, что там девчонки переодеваются, – хохотнул Саня и подмигнул Дане.

Тот насупился. Как-то после физры Сафрон вломился в девчачью раздевалку, гогоча и виляя бёдрами. Девчонки подняли визг. Оказавшийся поблизости Даня проскочил бы мимо, притворившись, что выкрутасы Сафрона его не касаются, если бы не Яна Стриженко. У Яны была обалденная русая коса до пояса, глаза цвета лазури, а ещё у неё первой из одноклассниц начала расти грудь. Короче, Даня втрескался в Яну по уши, как может втрескаться только школьник – тайно, до беспамятства и навеки. Сафрон тянул к его богине грабли и блажил: «Дай, дай пошшупаю!». Даня поймал взгляд русалочьих глаз Яны и очертя голову кинулся на защиту.

После первого его «Эй, Сафронов, ты отвали...» битва закончилась, не начавшись, и началось избиеение. Под ударами сафроновских кулачин незадачливый рыцарь летал из одного угла раздевалки в другой. Досталось и явившемуся на переполох брату. Это только в фильмах слабаки, объединив-

шись, дают отпор здоровяку-задире. Сафрон отметелил обо-их. А Яна даже спасибо не сказала и летом стала дружить с семиклассником. Вот так.

– Помечтали и хорош, – попытался замылить тему Даня. – Пошли к Прянику, Тайсона заценим.

Толик будто и не слышал.

– Есть одна идея, – сказал он, запуская руку в свой портфель. – Ща.

Пустая болтовня, обрастая подробностями, уже не казалась таковой. У Дани засосало под ложечкой.

Толик вытащил руку из мятой пасти портфеля и разжал пальцы. На ладони лежало нечто, напоминающее перекрученный каштановый локон. А потом Даня узнал. И Саня узнал.

Любимые чётки Сафрона.

– Ты где их взял, жопа? – выдохнул Саня почти с восхищением. – Сафрон же их посеял.

– А Толя нашёл. – Приятель затрясся в беззвучном смехе. Его послеполуденная тень качалась в такт на вытоптанной земле, напоминая взъерошенный цветок чертополоха-переростка на тощем стебле. – Помнишь, когда Сафрон тебе зуб выбил?

Пришёл черёд Сане помрачнеть.

Дело было в мае. Как обычно, Саня, Толик и Витька Пряник играли за школой в машинки из бумаги. У каждого они были свои, но у Сани – лучше всех. Он и раскрашивал их так,

что обзавидуешься. По колченогому столу гоняли его «Феррари», «Макларены» и «Бенеттоны». Смотреть на них было порой интереснее, чем играть. Саня выигрывал чаще всех.

Так и в тот раз. Болиды Сенны, Шумахера и Риккардо Патресе раскидывали добротные, но неброские авто соперников, когда на трек зловещей тучей легла чужая тень. Толик с Пряником прижухли, но увлечённый Саня спохватился, лишь когда из-за его плеча простёрлась рука и сгребла машинки с трассы. Кулак Кинг-Конга сжался и смял тетрадных гонщиков.

Саня действовал быстрее, чем думал: вцепился в свято-татственный кулак, ещё не зная, чей он. Тотчас второй кулак, брат первого, огрел Саню по затылку. Саня попытался вскочить, но Сафрон – кто же ещё? – схватил его за вихры и приложил лицом о стол, где сбились в кучку остатки бумажного автопарка. За губами хрустнуло, резануло, и рот наполнился противным вкусом застоявшейся минералки. Метнувшийся к верхнему ряду зубов язык нащупал дыру. А Сафрон навалился и принялся возюкать Саню лицом по столу. Старая шелушащаяся краска обдирала щёки, как наждачка. В ужасе, ошеломлении и злобе Саня наугад двинул локтем и угодил Сафрону по яйцам. Сафрон охнул, отвалился, и Сане удалось вывернуться. Его физиономию облепили чешуйки краски, из дюжины царапин выступали алые бисеринки. Пряник удрал. Толик сжался по другую сторону стола. Саня выплюнул осколок зуба и сцепился с врагом. После колеба-

ний присоединился и Толик.

Сафрон снова вышел победителем. Раскидал пацанов и обратил в бегство, хотя и сам не горел желанием их догонять. Матерясь, остался выискивать что-то у столика.

Позже стало ясно, что именно. Лишившись чёток, Сафрон, и прежде не ангел, вконец осатанел. Благо, наступили спасительные каникулы. Целых три месяца свободы – которые, увы, прошли, как проходит всё хорошее.

– А чё сразу не сказал? – спросил Саня, невольно ошупывая языком скол на зубе.

– Повода не было. – Толик поигрывал чётками, совсем как некогда – прежний хозяин.

– Шилклопер – он и в Африке Шилклопер, – беззлобно подколот Саня, а Толик показал ему жест, подсмотренный в американских фильмах – средний палец.

– Ну, готовы слушать план?

– Погодь, ты серьёзно? – встрял Даня. – Это... Это же убийство.

Толик пристально посмотрел на друга, и Даня вдруг увидел, каким тот станет лет через тридцать. Увидел лицо упрямяца, одновременно жестокое и лукавое, с замёрзшей на переносице рубленой складкой.

– Но он же не умрёт, – ответил Толик холодным чужим голосом. Голосом взрослого. Призрачный палец коснулся сердца Дани, поддел, надавил. – Он просто *исчезнет*. Насо-всем.

Этот дом должен был стать первым в череде девятиэтажек нового микрорайона на окраине захолустного городка Млечь Тульской области. Увы, судьба распорядилась так, что он же оказался и последним. К закату Перестройки, надолго поставившем крест на расширении города, успели возвести восемь этажей из девяти. Советскую империю постиг крах, и один из её осколков влетел в девяностые, которые позже назовут лихими. Жизнь за зелёным забором, опоясывающем стройку, тоже закипела лихая. Техника разъехалась. Стройматериалы растащили. В брошенных вагончиках, медленно сжираемых ржавчиной, как лишаём, по ночам предавалась порочным удовольствиям алкашня. В рвах под фундаментами копился мусор, цвела вонючая болотистая грязь и квакали лягушки. А восьмиэтажная девятиэтажка денно и нощно буравила хмурым взглядом безотрадный пейзаж. Как единственный гнилой зуб в десне титана, умершего до начала времён и разлагающегося под тоннами хлама, упрямо попирала выцветшее небо и впитывала зловонные соки. Её блеклые, кажущиеся сырыми даже в летний зной стены не были замараны граффити. Бомжи обходили её стороной. И в ней пропадали дети.

Пятеро за пять лет. Может, и больше. Сколько пропавших детей из неблагополучных семей, коих в Млечи хватало, действительно подались в беспризорники? Кто знает. Конечно. Конечно, никого не нашла. Каж-

дый школьник в городе знал, что дом не забирает взрослых. Но никто не знал, почему.

Среди ребят городская легенда обрастала деталями. Одни уверяли, что в подвале недодевятиэтажки сатанисты открыли врата в ад. Другие настаивали, что дом построен на разломе двух измерений. Третьи винили спрятанный в здании портал пришельцев, через который похищенных детей переправляют на секретную базу для зловещих экспериментов. Витька Пряник с пеной у рта доказывал, будто сам дом пожирает несчастных школьников, чтобы из их костей достроить отсутствующий девятый этаж. Обилие гипотез не помогало отыскать пропавших.

А ещё дом *мерцал*. Даня и сам видел. Дважды, краем глаза. Оба раза это случилось внезапно, когда он проходил мимо стройки. Как будто дом, словно в полуденной пустыне, окунаясь в дрожащее марево. Мерцал тем сильнее, чем упорней Даня старался не смотреть, пока, наконец, не начинало казаться, что поганочного цвета стены исчезают и появляются, исчезают и появляются... и с каждым возвращением в реальный мир дом *меняется*. Не просто становится выше – взмывает в небо, испаривает облака и стремится дальше, в стратосферу, в космос. На сгущающейся черноте стенсыпают в беспорядке окна, будто дыры от сучков в сырой древесине. Казалось, этот необъятный чужеродный монолит буравит страдающую планету насквозь. В первый раз подробности ускользнули от внимания Дани – он сразу обернулся

на диво, и дом мигом накинул на себя привычную личину угрюмого недостроя. Но в следующий раз Даня заметил достаточно. Наблюдал, пока не заболела голова. Пока не сделалось жутко. Тогда он убежал.

Вот в такой дом Толик и придумал заманить Сафрона.

План, которым он поделился с братьями, казался безупречным.

И как любой безупречный план, он пошёл наперекосяк.

В тот день Даня вывел для себя формулу: если дело началось через жопу, ею же всё и накроется. Будь он знаком с законом Мерфи, то, возможно, нашёл бы его формулировку более изящной. Возможно, нет.

(Толик: Сафрон идёт с тренировки по Фабричной. От перекрёстка Овражной и Фабричной до стройки ближе всего)

Здесь всё было гладко. В урочный час в начале пролегающей через частный сектор улицы показался Сафрон со спортивной сумкой на плече. Он нарочно поднимал клубы пыли, словно пинал невидимый мяч.

(Толик: Ты, Данька, обзовёшь его покрепче и сразу тикай.)

Даня: А чего я?

Толик: Ты бегаешь быстрее всех. Главное, покажи ему чётки)

«Я такой: "Сафрон, гля, чё есть! Это тебе жених подарил?" – и достаю чётки, и дёру», – репетировал Даня, поджидая за фонарным столбом. Но когда Сафрон, заметив его, при-

свистнул и ускорил шаг, Даня сумел выдавить только блестящее: «Э-эй!». Сафрон ослабил ему, как старому другу, взмахом сумки задал себе новое направление и пошёл навстречу.

«Блин!». Голову и желудок Дани окатило кипятком, но отступить было поздно. Он высоко вскинул кулак, сквозь пальцы которого свисали чётки. Глаза Сафрона, серые, как поднимаемая им пыль, и вечно глумливые, расширились. Нечто похожее на ликование промелькнуло на его пухлом лице.

– Оба-на... – начал Сафрон. Даня развернулся и дёрнул прочь.

Как и предвидел Толик, Сафрон рванул следом. Практически сразу Даня убедился, что топот преследователя не отстаёт.

(Бежишь дворами к забору, где секция выломана. Мы с Саней расширим лаз)

Ближе и ближе. Закусив губу, Даня поднажал, как мог. В кулаке, сжимающем чётки, зачавкало от пота.

– Стой! – ревело позади.

Лаз друзья расширили, но когда Даня проскакивал под отогнутым зелёным листом, то зацепился брючиной за торчащий из мусорных завалов штырь. Застиранная ткань расползлась с постыдным треском. Штанину разорвало до колена. «В элегантные шорты».

(И чешешь к Мерцающему дому)

Даня чесал к Мерцающему дому, подгоняемый конским

топотом. Разорванная брючина хлопала, как парус, и ветер облизывал оголившуюся икру.

«А если дом его не примет? – ошеломила Даню внезапная мысль – мысль, которая не пришла на ум ни одному из заговорщиков. – Если Сафрон слишком *взрослый*?»

Он едва не остановился, надеясь вымолить пощаду.
– Убью, гад!

Надежды рухнули, но окрик – совсем рядом – придал свежих сил. Даня гнал, петляя меж покрытых бронзовыми мхами бетонных руин. Под подошвами хрустели щебень и бутылочное крошево. По каньону из ощетинившихся арматурой блоков гуляли запахи волглой глины и мочи. И неспешно, украдкой, втекала в него гнетущая тень Мерцающего дома.

Недостроенная девятиэтажка выростала перед бегущими. Щерилась пустыми окнами, за которыми в сумрачных лабиринтах заблудился свет заслонённого солнца. В нижнем ряду окон копошилась студёная тьма. Бетонная громада следила за двумя крошечными фигурками десятками слепых, но пристальных глаз. И выжидала.

А расстояние между фигурками сокращалось.

(У тебя будет всего один шанс, поэтому кидай точнее)

Тридцать шагов до дома, двадцать, пятнадцать. Ноги по растрескавшемуся асфальту дорожки – туб, туб, туб. Теперь окна напоминали не глаза – разверзшиеся пасти.

(Ничего сложного. Как пальцем в говно попасть)

«Легко. Тебе. Командовать». Фраза дробилась на каждый

толчок ноги, и каждый толчок ноги отдавался в голову.

Фасад разросся перед ним, точно дом сам скакнул навстречу, распахивая объятия... или жаждая проглотить. На миг Даня забыл, что нужно сделать. Вбежать в подъезд? Очень может быть.

– Лэндо! – окрик из-за бетонных завалов сбоку. Спасительный.

Даня размахнулся и швырнул чётки в надвигающийся зёв окна. Увидел, как они распустились в полёте. Услышал, вильнув вправо, как они шлёпнулись на бетон по другую сторону окна.

(Даня: А вдруг Сафрон не полезет туда?)

Толик: Этот дурак думает, что всё выдумки. Сам слышал, как он ржал. Ползет. Дело в шляпе)

И это было так успокаивающе очевидно, что Данины ноги сами замедлили бег.

В следующее мгновение пылкое, пыхтящее и увесистое впечаталось ему в спину и опрокинуло наземь. Он успел выставить руку и смягчил удар, но врезавшиеся в гравий колени обдало жаркой резью. Смердящая пóтом туша прижала Даню к земле, выбив из него дух. Запястье стиснула заскорузлая пятерня, рванула – и руку вывернуло за спину до хруста. Даня заорал. Горло наполнилось вкусом цементной пыли.

Старый добрый Сафрон упёрся в спину жертвы коленом и принялся выкручивать руку, будто ножку жареной курицы,

то ослабляя, то усиливая нажим. Даня уже не кричал – визжал. Унижение было колоссальным и почти затмевало боль.

– Эти чётки мне от отца остались, гандон, – опалил его ухо осипший голос. Второгодник наклонился так низко, что Даня, скосив глаза, мог сосчитать прыщи за его оттопыренным грязным воротником. Из рта Сафрона несло чесноком. – Он мне их из Афгана прислал.

В школе болтали, что отец Сафрона не вылезал с зоны, где и покончил с собой, вздёрнувшись на скрученной простыне, но Даня счёл за лучшее не уточнять. Сафрон как раз опять налёг на его руку, и глаза Дани застила свинцовая пелена. Разразившись очередным воплем, он не сразу сообразил, что Сафрон с кем-то перекрикивается.

Когда слова стали слагаться в осмысленные фразы, Даня приподнял голову и разглядел в отдалении знакомую фигуру брата, высунувшегося из-за нагромождения фундаментных блоков. Перед собой Саня потрясал изогнутым куском арматуры.

– Ну давай! – в голосе Сафрона безошибочно угадывалась ухмылка. – Я ему руку вырву и ей тебя отпизжу. Хочешь, гандон?

Сочный жуткий хруст, который последовал за его угрозой, Даня услышал не только ушами – ощутил внутри, за рёбрами: там что-то сдвинулось, сместилось, нарушилось. Боль оказалась настолько запредельной, что он возмечтал отключиться. Хлынувшие слёзы прочертили на грязных щеках раз-

воды, словно потёкшая тушь, а под самым носом Дани деловито перебирался с камушка на камушек рыжий муравей.

– Так-то лучше, – проурчало над затылком. Проморгавшись, Даня разглядел, что брат стоит на месте, опустив прут.

А потом Сафрон добавил будничным, как у теледиктора, тоном:

– Чётки мне принёс.

– Тебя из школы выгонят, – долетел до Дани голос брата. Неуверенный.

– Чётки мне принёс, – повторил Сафрон тем же рассудительным тоном.

– Тебя выгонят из школы и поставят на учёт. – Саня попытался завладеть ситуацией, и Даня почти поверил, что у него получится. – Твою мать лишат родительских прав.

– Чётки мне принёс.

Снова хруст – но вместо призыва: «Не ходи!» Даня завыл, как сбитая машиной собака, брошенная издыхать на дороге в грязном клубке собственных вывалившихся кишок. Пусть идёт. Скорее! Всё, что угодно, лишь бы прекратилась всепожирающая боль.

Елозя носом по земле и скуля, он услышал шаги. Несмелые. Приближающиеся.

– Долго думаешь. – Веселье вернулось в голос Сафрона, который и не думал прекращать нажим. – Давай. Зашёл и вышел. С чётками. Делов на пять секунд. Гандон.

Саня зашагал к сцепившимся решительней. Оторвав взор

от земли, Даня увидел, что руки брата пусты. Арматурина осталась где-то в мусорных завалах, обрамляющих пяточок утоптанной почвы возле дома. Надежда на то, что Саня, приблизившись, выкинет спасительный трюк – двинет Сафрону в рыло с ноги и отшвырнёт, – вспыхнула и угасла. Может, и к лучшему. Сафрон успеет выломать ему руку. Провернёт на полный круг, как крыло ветряной мельницы.

Брат поравнялся... и протопал мимо. Шорох шагов по гравию сменился шлепками подошв по асфальту. Процокал по бетону. И стих.

Саня вошёл в Мерцающий дом.

Прошло несколько минут. И ещё несколько.

Сафрон крикнул:

– Ты где там застрял?!

Ещё через несколько минут:

– Блин.

Из глаз Дани вновь полились слёзы. Как дождь, оставляли тёмные крапинки на щебёнке. Рыжий муравей, его новый знакомый, давно убежал по муравьиным делам.

Теперь хватка ослабла. При желании Даня мог высвободиться – да желания не было.

– Блин... – Голос Сафрона лишился силы, как и весёлости. – Эй, где ты там?!

«Там», – эхом отозвалось в мыслях Дани. Где бы это «там» ни было.

Он не сразу понял, что исчезли жаркая боль и прелая тя-

жесть. Сафрон сполз с Дани и поднялся, натужно сопя. Даня не спешил последовать его примеру. Встать и обнаружить, как страшно изменился мир? Нет уж. Лучше лежать вечно носом в пыли и пересчитывать камушки.

– Наиграется и вернётся, – сказал Сафрон дрожащим голосом. – Ну на хер вас, гандонов.

Звуки возни – Сафрон подобрал брошенную сумку, – затем удаляющихся шагов. Даня дождался, пока они стихнут. А после подождал ещё.

– Сань... Соло!

Он перекатился на спину, как жук, которому забавы ради мальчишки оторвали половину лапок. С его «лапкой» едва не случилось подобное – онемелая рука болталась сбоку, как пришитый кусок мяса. *Больничего* мяса. Над Даней распахнулось вечеряющее небо, рассечённое надвое зубьями недостроенного этажа панельной громады. На мгновение ему показалось, что стена простирается высоко-высоко, выше птиц и самолётов, и окна наслаиваются друг на друга под немислимыми углами, о которых учителя не расскажут на уроках геометрии.

На миг Даня увидел *мерцание*.

Он изловчился и сел, робко надеясь, что сейчас из подъезда выйдет брат, помахивая чётками: «Как мы его обвели, Лэндо?». Саня расплывётся в улыбке, обзовёт его козлом, и братья пойдут домой, высматривая Толика, которого и след простыл.

– Санька!

Ему ответил гул ветра, заблудившегося в пустых коридорах. Даня подумал, что он похож на заунывную музыку, звучащую из-под земли. Похож на крик.

Даня разрыдался.

Таким его и застали взрослые, которых привёл заблаговременно ретировавшийся Толик.

Если дело началось через жопу, ею же всё и накроется.

Саню так и не нашли.

Историю Дани, повторенную Пашкой Сафроновым, не приняли всерьёз ни родители, ни милиция. Или сделали вид – взрослые мастера обманывать не только детей, но и себя самих. Даня, которому ещё предстояло научиться этому искусству, остался наедине с никому не нужной правдой: брата забрал Мерцающий дом.

Милиция обыскала девятиэтажку сверху донизу – тщетно, – объявила Саню в розыск – тщетно, – и в конце концов положила дело под сукно к остальным «висякам». Год спустя суд признал Александра Пушкина, двенадцати лет (хотя никто, кроме Дани, не верил, что брату исполнилось двенадцать) безвестно отсутствующим. Ещё год спустя Мерцающий дом снесли и на пустыре стали возводить, наконец, новый микрорайон. Если там и пропадали дети, то не чаще, чем в сотнях других микрорайонов по всей стране. Мерцающий дом остался в городских легендах жутким призраком, о ко-

тором вчерашние школьники предпочитали не вспоминать. Одним из многих.

Если бы для Дани всё могло закончиться столь же легко.

Его жизнь превратилась в бесконечный, изнурительный до тошноты марафон борьбы с бременем вины. Родители постарались, чтобы в этой борьбе у него были помощники. Психотерапевты сменяли психологов. Их было столько, что Дане казалось, будто перед ним тасуют колоду карт, на каждой из которых не масть, а лицо: внимательное, благожелательное, сочувствующее – порой даже искренне. Он пытался притвориться, что сеансы идут на пользу. Получалось скверно. Боль прорывалась наружу, неконтролируемая, самым неожиданным образом.

Он ходил во сне. Однажды он обнаружил себя ночью на кухне перед плитой – все конфорки зажжены, а он совершенно голый. Хуже всего, что проснулись родители и прибежали посмотреть, кто шумит среди ночи.

Он мог на несколько минут впасть в ступор, обратиться в каменную статую – мышцы сведены, лицо искажено дикой гримасой. Впервые это произошло с ним на уроке, и Яна Стриженко, напуганная оскаленной физиономией Дани, в слезах выбежала из класса.

И он видел сны. Сны были самым худшим из симптомов. Говорят, между близнецами существует связь, которая позволяет им переживать происходящее друг с другом. Даня никогда не ощущал подобного – до исчезновения Сани. Сны

заставили Даню поверить в существование связи.

Из всех снов запомнился лишь самый повторяющийся. Даня брёл сквозь тьму столь непроглядную, что она казалась твёрдой. Вытянутые руки зачерпывали слежалую пустоту, но Даню безотрывно преследовало чувство чужого присутствия. Нечто наблюдало за ним из чернильной бездны – для него незримое, а сам он был пред ним как на ладони. Полное пронзительного недоброго любопытства, уворачивающееся от его беспомощных пальцев, отступающее, но тут же возвращающееся. Порой ладони натыкались на влажную шершавость бетона или сальную затёртость перил. От чего-то эти касания вызывали больший ужас, чем пустота – ужас входил в колотящееся сердце, точно ржавый гвоздь. В следующий миг найденная поверхность исчезала под руками – проваливалась, отшатывалась, будто во мраке свершалась бесконечная перестройка непостижимой конструкции, в которой он оказался заточён. Даня плёлся дальше, сопротивляясь безумному желанию сорваться на бег, путая верх и низ, начиная, наконец, верить, что давно ослеп и шаркает внутри своей головы. А кто-то бездушный и чужой снова принимался кружить вокруг, словно акула вокруг пловца.

Тогда-то его пальцы проваливались в ледяное, дряблое, чавкающе-сосущее, ощупывающее в ответ, и он пробкой вылетал из сна, озираясь внутри скрученного одеяла, не сообщая, где очутился, обводя языком верхний ряд зубов, в котором только что зияла прореха.

Другие сны не оставались в памяти – и к лучшему. Как-то Даня разбудил среди ночи родителей воплем: «Они собирают меня! Собирают!». Прооравшись и откинувшись на сырую от пота подушку, Даня, осознав забвение, выдохнул почти счастливо.

После объявления Сани пропавшим – но до сноса Мерцающего дома – поредевшее семейство Пушкиновых переехало в Рязань. Демоны прошлого увязались за Даней следом. Иногда прятались в темень, наполняющую Данины сны, но не исчезали. Никогда.

С грехом пополам он поступил в радиотехнический и бросил учёбу на четвёртом курсе. Сменил полдюжины работ – от продавца похабени в секс-шопе до эникейщика, – но нигде долго не задерживался. И – посещал различные группы поддержки. Там познакомился с Лорой и её демонами: бедная семья, отец-алкоголик, обожавший сажать школьницу-дочь на колени и мычащий про «мужикам нужно разнообразие», токсикомания и затянувшиеся шрамы на запястьях. Флеш-рояль. Лора была хрупка и надрывно красива, как забытая французская актриса. Даня вообразил, что две покалеченные души способны исцелиться, слившись в единое целое, и убедил в этом Лору. Оба ошиблись, но поздно: уже ипотека, уже кредиты, и – вишенка на торте – двойняшки, Даша и Кир, глядя на которых, Даня не мог понять, на кого те похожи. Лора считала, что муж ходит по бабам, и скандалила из-за его внезапных отлучек, пока не свыклась. Даня, который

не помнил, где пропал, был готов с ней согласиться.

Всё как у людей – прямо по Летоу.

Так бы и дрейфовала жизнь к безблагодатному итогу, если бы не звонок с неизвестного номера одним мартовским вечером, заставший Даню скучающим за остывшим кофе. Помешкав – звонить могли из банка по просроченному кредиту, – Даня решил ответить.

– Да? – Настороженно.

Шелест чужого дыхания обдал ухо:

– Данил? Даня, ты? Привет. Узнаёшь?

Не банк, не коллектор, не продаван, рекламирующий новый тариф связи. Но Даня едва одолел желание сбросить сигнал. Дешёвый «Сяоми» прилип к вмиг вспотевшей щеке.

– Кто это?

В динамике смущённо хихикнуло.

– Толя Шилклопер. Из Млечи. Мы дружили, помнишь?

«Предпочёл бы забыть»

– Привет, Толик, – деревянно отозвался Даня. – Какие дела?

Новый выдох лизнул ушную раковину. Опустив глаза, Даня увидел, как ступня сама собой отбивает морзянку по ножке табуретки.

– Саня вернулся, – сообщил ветер в трубке. Ветер, который влетел в голову Дани и вымел оттуда все мысли. В соседней комнате бубнил телек. Супруга смотрела Малахова или подобное познавательное шоу.

– Алло! Меня слышно?

– Ты шутишь? – произнёс Даня. Собственный голос, похожий на глухой стон половиц в заброшенном доме, доносился до него будто извне.

– Не. Долго объяснять. Приезжай.

– Это невозможно, – отрезал Даня. Палец потянулся к кнопке сброса.

Его опередил другой голос. Одновременно знакомый и чужой – так бывает, когда слушаешь запись себя на диктофоне:

– Привет, Лэндо. Это правда я, браток. Выбрался и назад не собираюсь.

Он сказал Лоре, что вернётся за полночь. Возможно, даже к утру. Лора, не отрываясь от телевизора, сказала, что он может не возвращаться вообще. Её реакция Даню более чем устраивала. Он приобнял по очереди детей – те откликнулись на неуклюжие ласки отца без энтузиазма – и выскочил из дома. Впрыгнул в верную «Киа» и погнал в Млечь.

Через три часа пути и двадцать минут петляний по району в поисках продиктованного Толиком адреса он подъехал к двухэтажной хибаре, зажатой с обеих сторон спящими новостройками. Шины зашелестели по весенней грязи, просочившейся сквозь раздолбанный асфальт у подъезда. «Киа» притулилась рядом с одиноко ржавеющей «Нивой» под изломанными щупальцами голой и сырой сирени. Мотор смолк.

Даня выпрямил затёкшую спину и недоверчиво взглянул на окно второго этажа – единственное светящееся во всём доме. Занавешенное. И за занавеской ползали тени.

«Не говори никому», – сказал брат, и когда Даня удивился просьбе, туманно пояснил: «Это опасно. Для нас обоих. Меня ищут».

«Кто?», – выпалил Даня, но трубку уже перехватил Толик.

И вот он сидит в преддверии встречи, которую ждал столько лет и в которую не верил – пальцы дрожат на руле, в висках стучит. Простое ли это волнение... или дурное предчувствие?

Налетевший ветер подтолкнул машину в бок, будто желая растормошить её хозяина. Волглая грива сирени обмела крышу. Лобовое стекло запотело, и свет окна расплылся в мороси, будто мираж. Едко пах освежитель салона. Желание завести двигатель и умчаться прочь было неодолимым.

Даня стиснул зубы и вышел из машины. Сирень дотянулась, ткнула в щёку костлявым пальцем, словно помечая. Вжав голову в плечи, он поднялся по крошащимся ступеням. Домофона не было. Даня юркнул за деревянную, в проплешинах грибка, дверь. В подъезде заплёванная лампочка виновато подсвечивала убожество: экземные стены цвета застоявшейся мочи, перила, отполированные ладонями стариков до осклизлости, пара обшарпанных дверей, сурово уставившихся на пришельца. Между ними шмелино жужжал щиток. На его крышке кто-то накалякал фломастером: ЭТОЙ

ВЕСНОЙ ТЫ ВЛЮБИШЬСЯ А МОЖЕТ УМРЁШЬ. Обещание любви в этом отчаянном упадке отталкивало не меньше, чем обещание смерти.

Даня заспешил по лестнице, подгоняемый чувством, будто за ним наблюдают из-за дверей. Или наблюдают *сами* двери. Воняло крысами.

На втором этаже лампочки не было вовсе, но прежде чем Даня успел потеряться во тьме, с липким чмоканьем приоткрылась очередная дверь, выблёвывая воспалённый, как язва, свет. Гибкий силуэт замаячил в проёме. Если у Дани и оставался шанс удрать, он его упустил.

Щурясь, Даня всмотрелся и узнал Толика. А Толик узнал его.

– Ну привет, – протянул Толик развязным тоном, прежде ему не свойственным. – Сколько лет, сколько зим.

«Тридцать, – подумал Даня. – И ещё столько же тебя б не видеть»

– Проходи! – Прямоугольник света расширился. – Через порог не здороваются.

Без всякого желания Даня ступил на изжёванный половик и пожал прохладную потную ладонь. Крепче запахло крысами.

– Не разувайся, тут не прибрано.

Теперь Даня мог лучше разглядеть бывшего друга детства. За время мотыляний по группам поддержки он насмотрелся на опустившихся личностей, и Толик вписался бы в

их круг как родной. Жизнь одарила его мешками под глазами, нездоровым румянцем, прилипшим, будто крапивница, к впалым щекам, синевой щетины с росчерками бритвенных порезов и ранними морщинами. Внушительный нос съехал набок. В уголках глаз скопилась грязь. Толик улыбался – почти безостановочно, как убедится Даня, – не стесняясь демонстрировать жёлтые, словно свечные огарки, зубы, и покашливал. Сквозь эти искажённые временем черты проступало, точно неупокоенный дух, лицо пятиклассника, которого Даня некогда знал. Тот пятиклассник любил животных, взрывал вместе с друзьями самодельные бомбочки и маялся от носового кровотечения. Сердце Дани сжалось, но взгляд скользил дальше, выхватывая новые подробности: забранные в хвост волосы, черноту которых разбивала седина, спортивная куртка на размер больше с оттопыренными невесть чем карманами, затёртые джинсы с китайских развалов...

– Не робей, Данька, – подбодрил Толик, подслеповато моргая. Из его рта тянуло нутряным, скисшим – запах голодного брюха. – Чего как не родной?

Даня почувствовал щекотку капли пота, ползущей по шее за воротник.

– Сань!

– Ну брось, Данька, сразу прям так, чего ты? Щас чай поставлю, ликёрчик там есть, за встречу, ну...

Даня вспомнил, что перочинный нож, единственное его

оружие, остался в машине. Руки сжались в кулаки.

– Ты что затеял? – скрывая страх за грубостью, начал он. Толик с гримасой «право слово, не возьму в толк» попятился, одно плечо ниже другого. Даня покосился на дверь: не закрылась ли.

Открыта. Теперь точно бежать.

Вот тогда из комнаты в конце коридора и раздался голос – тот самый. *Узнаваемый*:

– Лэндо, я здесь!

Даня отстранил Толика и без раздумий бросился в зал.

Липкий желтушный свет стекал с пыльной люстры по пергаментным, сморщенным, как кожица подгнивших яблок, обоев. Добрую треть противоположной входу стены, там, где в иных подобных квартирах красуется его ворсейшество ковёр, занимали иконы. Они были так плотно подогнаны друг к другу, что зрелище напоминало выставку скворечников. Среди скорбных ликов святых затесалось чёрно-белое фото круглощёкой женщины в рамке. Ни шкафа, ни серванта – у другой стены громоздились картонные коробки, на которых была навалена зимняя одежда. А в побитом молью, обтянутом дерюгой кресле в центре комнаты сидел брат. На Даню накатило давно забытое головокружительное ощущение: словно он смотрит в зеркало.

– Это правда ты, Сань?

– Правда, – ответил Саня. Его широко раскрытые глаза остекленело смотрели, не мигая. Руки покоились на подло-

котниках.

Даня кинулся к креслу, замер, робея, а потом, больше не сдерживаясь, стиснул Саню в объятьях, давясь подступившим к горлу комом:

– Прости это всё моя вина мне так жаль так жаль...

Брат похлопывал его по спине, и пальцы сновали от шеи до поясницы, словно изучая.

Сзади послышалось деликатное кряхтение.

– Сердце не нарадуется. – Толик. – Славненько. Ну я чайку поставлю, а вы, получается... Не видались-то сколько!

Покашливая, он скрылся на кухне. Даня сморгнул слёзы с ресниц и опять взглянул на Саню. Головокружение не улеглось, но делалось привычным.

– Я ослеп, – сказал брат. Пресёк новый поток извинений Дани взмахом руки. – Ничего. *Вот* мои глаза.

Он обратил к Дане ладони, бледные, словно брюхо пещерных рыб. На правой лежало что-то маленькое, плоское, остроносое. Алое. Бумажная «Феррари» из их детства. Даня не заметил, как и откуда она очутилась на ладони брата. Заворожённый, не мог оторваться от неё.

Наконец Саня бережно сомкнул пальцы, скрывая чудо. Они казались длинными и гибкими, точно имели лишние суставы и могли гнуться во все стороны. В голове Дани сделалось пусто.

– Родители развелись, – произнёс он невпопад. – Мама умерла.

– Да. – Саня и бровью не повёл. Даня совсем потерялся. О чём ещё сказать спустя тридцать лет? Про ковид, Украину и твиты Медведева? Black Sabbath распались, но Metallica по-прежнему даёт жару? Вышли ещё шесть частей «Звёздных войн», три из которых – зря? Он женат на бывшей токсикоманке, их детей зовут Даша и Кир, и он всё никак не свозит их в парк с механическими динозаврами?

Вопрос вырвался сам собой:

– Что там было?

Лицо брата мазнула тень – рябь на чёрной воде, помехи в эфире.

– Бесконечность тьмы, – ответил он после долгого молчания. – Тьма бесконечности. И их *творцы*. Не хочу об этом.

Его пальцы впились в плешивые подлокотники.

– А опасность? – Даня окинул комнату взором, будто угроза таилась здесь, среди этих стен с жухлыми отслаивающимися обоями. – Ты говорил, тебя преследуют. Кто?

– Я называю его Хароном. – Голос Сани сделался едва слышен. – Как лодочника из мифов, который переправляет души мёртвых через Стикс. У этого, правда, нет ни лодки, ни реки, и он даже не старик... но он *стережёт*.

Саня вскинул голову, словно услышал нечто, доступное ему одному.

– Он идёт по следу. Времени мало.

Комната опять поплыла перед глазами Дани. Он огляделся. Стали ли тени по углам глубже и объёмней? Болоти-

сто-зелёное пятно плесени на подоконнике – случайно ли похоже на рогатую сплюснутую башку? Отчего колышутся паутинистые занавески, если в закупоренной квартире нет сквозняка? И холод – аж в пальто зябко.

За спиной раздалось виноватое «кхе-кхе». Даня едва не подпрыгнул.

– Бойцы вспоминали минувшие дни. – Толик стоял в дверях, поглаживая впалый живот. – Чаёк подоспел. За встречу-то, а?

– Толик обещал мне помочь, – сказал Саня, лишая Даню возможности отказаться. – Но прежде мы должны помочь ему. Иди. Он объяснит.

– Объясню, объясню. – Толик изобразил лицом угодливую радость. – А то! – И бесшумно растворился в полутьме коридора. Без малейшего желанья Даня последовал за ним.

– Руки если мыть, то в кухне, – бросил на ходу Толик. – Ванная занята.

На кухне Даня осторожно присел на край табуретки. Здесь не хотелось дотрагиваться ни до чего – всё казалось соевым, воздух – кисшим. Взгляду не увернуться от неодолимо отталкивающих вещей: полк с провисшими дверцами, доставшихся от бабушки, плиты цвета ушной серы, капающего крана, скрючившегося подобно конскому пенису над раковиной, дребезжащего холодильника – тараканьей общаги. Даня брезгливо покосился на пожелтевшую чашку, оставленную Толиком на обтянутом лоснящейся клеёнкой шат-

ком столе. По боку чашки тянулась то ли трещина, то ли налипший волос. В горячей мути отмокал чайный пакетик.

Толик уселся с другой стороны стола и, сопя, выудил карамельку из голубой вазы. Развернул и захрустел, умильно уставившись на Даню.

– Хату поменял? – сказал Даня, чтобы не молчать. Толик закатил глаза, зажмурился: пустяки, мол, не стоит внимания.

– Ты мечтал в детстве стать археологом. – Ещё одна пустая фраза.

Толик горько усмехнулся.

– Мечты, мечты, где ваша сладость?.. Ни у кого, похоже, не сбылись. В санслужбе я. По блохам да по клопам. Взрослая жизнь – говно, да? А мы в него – пальцем по плечо! Данька, Данька. Если б ты тогда не пизданулся на стройке, а...

– Чья была идея? – не тая неприязни, огрызнулся Даня.

– И она всем зашла, – благородно возмутился Толик. – Ты представь, как бы всё у нас сложилось, если б выгорело.

– Жили бы долго и счастливо...

– Да! – Толик изумился совершенно искренне. – Разве не очевидно?

– Да как-то не очень. – Внезапно накатило нервное веселье. Даня запрокинул голову, давясь рвущимся из глотки хихиканьем. – А всё из-за твоего идиотского попугая! Подумать только. Хи! Ха! Ха!

Смех-таки выхаркался – едкий, мучительный. Глаза Толика наполнила слезливая обида.

– Нужно-то чего? Какая помощь? – спросил Даня, отирая слюну с губ. – Выкладывай, и я забираю Саньку.

– Закончить дело, – буркнул потупившийся Толик.

– Нет у нас никаких дел. – Даня решительно встал.

– А чай? – встрепенулся Толик. Даня сморщился: «Пей сам эту дрисню», – и двинул в коридор:

– Саш, мы уезжаем!

– Даня! – взмолились сзади, и он почувствовал руки, шарящие по его спине и бёдрам в попытке удержать.

– Ну? – бросил он через плечо.

– Даня... Ты мне с детства нравился, Даня, милый... Мы уже не молоды, это правда...

– Твою ма-а-ать!

В зал Даня почти вбежал. Брат недвижимо дожидался в кресле – истукан из слоновой кости.

– Сань! – гаркнул Даня, грозя пальцем в коридор, откуда долетали икающие всхлипы. – Ты знаешь, что этот заявил?!

– Надо помочь ему с Сафроном, – пресным голосом отозвался брат.

– Нет, ты знаешь, что он заявил?..

– Мы сами всё сделаем. Но надо торопиться. Ты мне нужен.

– Едем! Пусть этот кретин сам мстит Сафрону, пусть справляется без нас...

– Но я без него не справлюсь.

– О чём ты?

Его не так уж и волновал ответ, и он собирался выдернуть брата из кресла силой, когда взгляд упал на чёрно-белое фото в рамке. Женщина на снимке – круглолицая, кучерявая, слишком возрастная, чтобы быть подругой Толика («Да он и не по подругам, оказалось»), и определённо не его мать. Даня хорошо её помнил. Ещё бы – именно Толькину мать, холёную брюнетку с мягко трепещущей в вырезе грудью, а не Яну Стриженко он представлял, когда постигал навыки онанизма. Женщина на фото больше была похожа на...

– Чья это квартира? – цепенея, спросил он.

– Сафроновская, – прогугнил, входя в комнату, Толик. Он старательно прятал покрасневшие глаза. – Понимаешь, Данечка. Ты прав, я с Сафроном и сам справился бы. Но я хотел вместе, понимаешь, с друзьями. Как в старые добрые времена.

Даня отпихнул его с прохода тычком в грудь и, безотчётно вытирая ладонь об обои, метнулся к ванной. Распахнул белую расхлябанную дверь, из-под которой пробивалась узкая полоска света, надеясь обмануться в пугающем прозрении.

Сафрон скорчился в грязно-жёлтой, как стариковские зубные протезы, ванне. Даня не сразу его узнал, и немудрено. От щиколоток до горла Сафрон был обмотан широкой клейкой лентой коричневого цвета. Ею же были залеплены рот и глаза. Он напоминал гигантскую куколку насекомого. К раздутой шее льнули, будто грибы, гроздь папиллом. Запёкшаяся кровь превратила седые волосы в бугристый шлем,

оставила на лбу таинственные узоры. Стянутые ноги Сафрона выгибались под неестественным углом, а на стиральной машинке красноречиво валялся молоток.

– Господи! – Даня в растерянности всплеснул руками. Решившись, содрал липкую полосу со рта. Резко – в кино всегда делали резко, сопровождая словами: «Больно не будет».

Больно было – Сафрон вскрикнул и сразу забормотал, точно продолжая прерванную молитву:

– Не надо. Не надо. Не надо. Христом-Богом. Не надо.

– Христом-Бо-огом, – протянуло слева издевательское. Даня отпрянул от обдавшего шею тёплого, с гнильцой, выдоха Толика. – Набожный стал. Не передумаешь, Данька-недодрога?

Даня сграбастал Толика за грудки и впечатал в коридорную стену. Одновременно с этим ему в горло упёрлось холодное лезвие ножниц. Лезвия чуть разошлись и сошлись, стиснув адамово яблоко. Холодное враз стало горячим.

– Не надо, – продолжал заклинять Сафрон из ванной. – Не надо.

– Давай не усугублять, – просипел Толик. – Ты нам нужен целый и невредимый. Це-лоч-ка.

– Саня, какого хера?! – проревел Даня, но хватку ослабил.

– Саш, объясни ты уже! – поддакнул Толик. Сложил губы бантиком и причмокнул Дане, изображая поцелуй. Даня в омерзении отдёргнул руки и, спотыкаясь, вернулся в зал. Пощёлкав ножницами, Толик скрылся в ванной. «Не надо»

захлебнулось и стихло под новым куском скотча.

– На хера? – повторил Даня, врываясь в комнату. Вопрос сжирал его изнутри, как клубок голодных крыс. И не только этот вопрос.

Были и другие.

Как ты выбрался из Мерцающего дома? Что ты ел всё это время? Кто подстригал тебя и брил? Почему на тебе та же одежда, что и тридцать лет назад? Та же причёска? Куда пропала машинка из твоей ладони? И – самое главное – почему ты мерцаешь? Почему это не напрягло меня сразу?!

– Просто твоё сознание расщепляется. Я и здесь, и там. – Брат печально улыбнулся. На детские щёки, которых никогда не касалось лезвие «Джилетт», вспорхнули ямочки. Комната накренилась, и Дане показалось, что теперь перед ним не одно зеркало, а целый зеркальный тоннель, вращающийся и полный призраков. Вот Саня-пятиклассник. Вот – копия Дани. А вот – нечто тёмное, перекрученное, грязно клокочущее и пожирающее самоё себя. «Меня собирают!». – Чтобы вырваться насовсем, мне нужно воплотиться... и заплатить. Харон берёт двойную плату.

– Ты не в себе. – Даня попятился. Наткнулся на пирамиду картонных коробок с наваленной поверх одеждой, пошатнулся, устоял.

– Мне и не надо быть в себе. Я должен быть *в тебе*. Потому ты здесь.

– Что?!

– Прости, Лэндо, – без намёка на сожаление произнёс незнакомец под личиной брата – множеством личин.

– Он обещал мне тебя, милаш, – алчно заявил, объявляясь, Толик. – Когда займёт твоё тело, я смогу вытворять с тобой, что захочу. И я *буду*. Он не против. Он через такое прошёл. Ему без разницы.

Голодный голос эхом разносился по зеркальному тоннелю, а тоннель всё закручивался и закручивался, его стены всё теснили и теснили, и с каждой тарацились отражения: Дани, брата – или того, чем брат стал. Кривлялись, корчились, наслаивались друг на друга, склеивались в нечестивый гротеск, вопящую скверну, губительный изъян.

– Зачем?! – услышал Даня чей-то затравленный крик. Кажется, собственный. Пока ещё.

– Связь близнецов, – прокатилось, вибрируя, по тоннелю. – С другим бы не вышло. Твои провалы в памяти, помнишь? Это я пытался дотянуться до тебя. Тогда я был слаб, и ты всегда меня выбрасывал. Но кое-что я успел. Связаться со старым другом. Заручиться его поддержкой.

– Если проверишь историю вызовов у себя в трубе, узнаешь много нового, – глумливо поддакнул второй голос, который теперь стал еле различим.

Первый же голос, напротив, ревел, как буря:

– Телефоны. Да! Там я научился многому, но *этот* мир ушёл вперёд, я ничего о нём не знаю. Гаджеты, интернет. Дотянувшись до тебя, я мог коснуться твоих воспоминаний. Но

не навыков. Их я пока освоить не в силах. Я даже тачку водить не умею. А Толик умеет. Отвезёт меня. К тебе. А после...

И Даня понял. Двойная плата.

– Нет! – заорал он. – Нет! Нет!!!

Но буря подхватила его, завертела среди хохочущих и стелющихся лиц и поволокла вдоль сомкнувшихся стен в смоляное сердце нескончаемого лабиринта – без верха и дна, вне времени и пространства.

– Да, – сказал Саня, впервые за тридцать лет по-настоящему открывая глаза. Крепко зажмурился, огорошенный. Поморгал, заново привыкая к чужому чувству. Справился с ужасом прозрения.

– Удалось? – угодливо полуприсев, спросил Толик. Из его ноздри вытекла струйка крови и чёрной гусеницей поползла по губе.

Саня сунул руку в карман Даниной куртки. Ключи от авто, документы – не их он искал. Нашарил и достал бумажную машинку. Маслянисто-красную «Феррари». Побаякал её, остроносу, в ладони. Сжал пальцы. Разжал. Вместо машинки на ладони свернулись чётки.

– Пошли, – кивнул он коротко в сторону ванной.

В Рязань приехали с рассветом. Сквозь обвисшие, как сучье вымя, свалывшиеся облака проступало бельмо низкого солнца. Навигатор привёл по адресу из паспорта Дани.

«Киа» прижалась к газону напротив подъезда, и Толик заглушил двигатель.

– Помогнуть? – засуетился он, сглатывая слюну.

– Справлюсь, – откликнулся попутчик. Всю дорогу он молча пялился на пейзаж за стеклом, будто высматривая в ночи нечто, ставшее привычным и неотступным. На все попытки Толика заговорить отмалчивался.

– Ты нормально вообще? – Толик потянулся потрепать его по коленке, предвкушая обещанное, но отдернул руку, стоило попутчику отвернуться от окна.

– Кричит, – произнёс чужак в украденном теле. – Брат. В голове. Он коснулся моих воспоминаний. Всех сразу. И теперь не умолкает.

Толик откашлялся.

– Когда мы вернёмся, Мерцающий дом... Его же разрушили. Ты уверен, дом точно появится? – начал он и осёкся, напорвшись на ледяной взгляд. Впервые подумал, что напрасно дал себя втянуть – и в произошедшее, и в предстоящее.

Произошедшее оставило послевкусие будоражащее, но и горькое. Толик долго и с упоением тыкал ножницами в человека, мычащего и извивающегося червём на дне ванны – в живот, и в горло, и в щёки, и в плечи, и в пах, – а тот всё отказывался умирать. И правда, червь. Наконец Толик вонзил ножницы в одну залепленную скотчем глазницу Сафрона, потом в другую, и так покончил с давним врагом раз и

навсегда. Но не с горечью. Она даже обострилась. Толик надеялся, что обещанная награда превратит её в негу. Превратился же один брат в другого.

– Уверен, – последовал ответ. – И это вообще не дом.

Упреждая новые вопросы, чужак в украденном теле вышел, хлопнув дверцей «Киа». Размашисто зашагал к подъезду, чуткими пальцами перебирая воздух. Извлёк из кармана связку ключей, едва не вытряхнув лежащие там же окровавленные ножницы. Толик бросил их на стиральной машине, а чужак подобрал. Но перед тем содрал с бровей Сафрона продранную ленту и утопил в его правой глазнице комочек чёток.

Ножницы пригодятся позже. Толик получит награду, но не ту, которую вожделеет. Наглые костистые пальцы или прелый свисток – чужак пока не решил, что отчекрыжит ему первым. Сейчас есть более неотложные дела.

Он поднимался по лестнице, оглядывая номера квартир и не прекращая ощупывать стены, потолок, перила. Зрение могло обмануть, руки – никогда. В горле пересохло, вспотели виски – не от усталости, а от страха, который он умело скрывал в поездке. Это была другая многоэтажка и другой подъезд – но это всё равно был подъезд: с пролётами, поворотами, шахтами лифта – шахты опаснее всего, – звуками, запахами и дверьми, которые лучше не пытаться открыть. Разве не гуще делаются тени? Не пробегает по перилам звенящая дрожь всякий раз, когда он их касается? Не готова

раскрутится в бесконечную спираль лестница, а внутри стен не протискиваются те, кто древнее всех миров, для которых и сами миры – просто накипь?

– Постой, – хрипел чужак, отсчитывая ступени. – Подожди немного, они достанутся тебе! Клянусь!

Дом отзывался нутряным гулом.

Седьмой этаж, нужная квартира. Чужак загремел ключами, совладал с замком, ввалился в прихожую.

Несмотря на ранний час, Лора сидела на кухне под открытой форточкой. В пальцах – сигарета, в пепельнице – гильзы «бычков».

– Не ругайте меня дома, меня не за что ругать, – ядовито встретила она. – Моё дело молодое, мне охота погулять.

Чужак улыбнулся, невольно ощупывая языком верхний ряд зубов и не находя в нём прорехи.

– Аж мусор захотелось вынести! – И поспешил в сонное тепло детской.

– Подъём, бандиты! – с наигранной весёлостью воскликнул он, хлопая в ладоши. Со стороны двухъярусной кровати донеслась похныкивающая сонная возня. – Кто хотел в парк динозавров? По коням! Готовы встретить чудовищ?!

2023

Оленька

В нём не было ничего примечательного. Долговязый тип лет сорока с гладко выбритым, сосредоточенным лицом, в кожаной куртке поверх синей футболки и чёрных потёртых джинсах, растянутых на коленях. Мужик как мужик, полно таких по улицам шастает. Разве что волосы не по возрасту седые да походка стремительная, порывистая. И сквер он пересекал уж больно целенаправленно. Никитка сжался на скамейке, когда понял: точно к нему чешет. Боязливо стрельнул глазами по сторонам: гуляющих полно, наслаждаются капризным сентябрьским солнцем. Однако он приготовился рвануть с места – мало ли в Северной столице психов? В голове завертелось, набирая обороты, тревожное: «Средь бела дня, средь бела дня, средь бела дня...»

Целенаправленный тип остановился в пяти шагах от скамейки и заговорил, упреждая Никиткино бегство:

– Никита Чегринец, тринадцать лет, седьмой А класс, школа номер...

Он бойко и безошибочно назвал школу, а следом и адрес Никитки. Желание сбежать, вопреки расчёту незнакомца, усилилось – но ноги стали ватными. «Как у дедушки, наверное», – подумал Никитка. Пару лет назад у дедушки случился инсульт, и с той поры старик жаловался: спагетти итальянские, а не ноги.

Нужно было как-то реагировать, и Никитка промямлил:
– Ага.

– Я – это ты из будущего, – заявил Седой.

Вот теперь – точно драпать. Если не драпать, то Никитка точно обоссется у всех на виду. «Средь бела дня»

– Из две тысячи пятьдесят второго года, – уточнил Седой. – Я старше тебя на двадцать девять лет.

И заметив, что рука школьника потянулась к ранцу, то-ропливо добавил:

– Ты Дашку пасёшь, Бирюкову. Она тут под вечер часто гуляет.

Пальцы Никитки повисли в стынущем воздухе. В низу живота, напротив, сделалось жарко – будто Никитка уголёк проглотил.

– Да не трону я тебя, мизинцем не коснусь, – сказал Седой нетерпеливо. Никитка взглянул на него внимательней, выискивая сходство. Но поди найди! Он и себя со стороны представлял смутно: в голове одна картинка, а фото или запись глянешь – обсос каких мало: тощий, нескладный, правое плечо вечно вперёд...

Как у Седого. И прическа та же: под горшок.

Бли-ин!

– Я докажу. – Говорил Седой негромко, с лёгким причмоком, глотая буквы. «Когда ты говоришь, Никит, половину слов не разберёшь, – частенько жаловался дедушка. – Прямым юродивый на паперти»

– Ты втрескался в Дашку Бирюкову, – продолжил Седой. – Ещё с первого класса. Однажды ты подобрал её волосы со спинки стула, когда в классе никого не было, и теперь хранишь в пакетике, а пакетик прячешь в шахматной доске. Иногда ты достаёшь их и целуешь. То есть, целовал. Перестал целовать после того, как однажды намотал их себе на...

– Хорош! – Жар из живота Никитки перепрыгнул на щёки.

– Да фигня, кто в детстве не идиотничал. Забей. А однажды ты подсматривал, через дверную щель как сестра моется в душе...

– Прекратите! – зашипел Никитка, яростно крутя головой. – Вам чего надо, денег?! Откуда они у меня?!

– Давай на «ты». В конце концов, я это ты, ты это я, была раньше такая песенка. Ещё не веришь? Я бы показал родинку на бедре, но люди не поймут.

– Не надо! – зашипел Никитка сильнее. – Вы как узнали?!

О своём краше он поведал лишь Вовчику и Артаку. Но даже лучшим друзьям он не рассказывал ни о Дашиных волосах, ни о том, куда он их в конце концов намотал в порыве страсти. Тем более, про подглядывание за старшей сестрой. Это случалось дважды, оба раза ему было ужасно стыдно, но самым худшим было то, что стыд только распалял удовольствие.

Седой вздохнул, словно утомлённый беседой с безнадежно отсталым.

– Времени в обрез, верь быстрее. Или мне ещё что-нибудь вспомнить?

Никитка замотал головой – аж в затылке кольнуло.

– Присяду? – И Седой плюхнулся на другой край скамьи, не дожидаясь разрешения. Никитка изучал его, скосив глаза, не решаясь повернуться. Бежать было бессмысленно. Да и как убежишь от человека, который знает про Дашины волосы?

А Седой достал из кармана куртки кусок пластика и протянул Никитке. Никитка осторожно взял подношение. Повертел в руках.

Какое-то удостоверение. Он никогда подобных не видел: перламутровый прямоугольник с фото, кьюаркодом, надписями и цифрами. Фото – объёмное и цветное, и у Седого на нём волосы чёрные, а лицо моложе лет на двадцать (и так он действительно напоминает Никитку), надписи – на русском и отчего-то китайском, причём иероглифы крупнее букв. «НИКИТА СЕМЁНОВИЧ ЧЕГРИНЕЦ». Кьюаркод круглый, может, и не кьюаркод вовсе. Дата рождения совпадает с Никиткиной.

Он вернул удостоверение Седому.

– И что, вы... Мне спортивный альманах привезли, как в том фильме, как его, «Будущее»?..

Седой отмахнулся.

– Есть вещи более важные. Слушай внимательно и мотай на ус.

– А Даша? – встрепенулся Никитка, ничего не поняв про ус. – У нас с ней получится? Ну там... встречаться?

В глазах Седого мелькнуло непонимание: что за Даша?

– А! – вспомнил он и поморщился. – Даша. Забей. У тебя будет Оленька.

– Какая Оленька? – погрузнел Никитка.

– Оленька Леонтьева, – мечтательно произнёс Седой.

– Чево-о?!

Воробьи, облюбовавшие пяточок асфальта у скамейки, вспорхнули и устремились в место поспокойнее. Никитка вытаращился на Седого до боли в глазницах. То был момент, когда он поверил на все сто: Седой действительно явился из будущего. Хуже того, Седой говорит чистую правду.

Олька?! Олька Леонтьева, лохушка с задней парты, зачмо-ренная тихоня без друзей?! С этим её густо-коричневым, до лодыжек, платьем, пахнущим то стиральным порошком, то пóтом, с этими детсадовскими колготами даже в жару, кото-рые ехидный Артак называл «дедовыми рейтузами»? Фигу-ра бесформенная, плечи покатые, да и с лицом беда: широ-кая глуповатая моська, рябая от лба до крохотного, похоже-го на фигу, подбородка. «Бугристая» – опять Артак. В иные оспины можно уместить монетку. Вечно приоткрытый рот, словно Олька маялась насморком... может, и маялась, Ни-китка не мог вспомнить её голоса. Зато вспомнил причёс-ку: воронье гнездо с пробором посредине, а в пробор, как в конверт, щедро насыпано перхоти. Ещё глаза – водянистые,

блеклые. За долю секунды Никитка перебрал в уме все эти подробности, и его передёрнуло.

– Вы, ты чего плетёшь?! – прокричал он шёпотом. – Нафига мне Леонтьева? Леонтьева мне нафига?!

Мелькнула надежда: вдруг это другая Оля Леонтьева? Имя распространённое, фамилия тоже. Серьёзно, ну где Никитка и где чмоня с задней парты? Пусть он и не Егор Крид, но камон, не может же всё быть так дерьмово!

– Долго объяснять, сам потом дойдёшь. – Нетерпение в голосе Седого сквозило всё заметнее. – Запоминай: когда Оленька решит от тебя уйти, ты должен её удержать. Должен! Удержать! Скажи ей про поездку в Хайшэньвай. И про котёнка, про тот день, когда мы взяли котёнка. Повтори.

– Хашевань, – горько усмехнулся Никитка. – Ты хочешь, чтобы я это запомнил? Серьёзно?

– Владивосток. Так он у вас называется. – Седой утомлённо потёр лоб. Показался из рукава и спрятался обратно чёрный прямоугольник наручных часов – или то был Apple Watch-2052? – Повтори.

Никитка не ответил. Сквер и всё в нём как-то сразу обесцветилось и смешалось, точно на скомканном холсте. Какие-то люди брели взад-вперёд. Коляски, собаки, кусты... Среди этого месива мелькнуло вдали знакомое лицо. Даша?! Не, показалось.

– Повтори! – потребовал Седой.

– Я не буду её удерживать, – выдавил Никитка. – Я бле-

вану щас.

– Послушай. – Седой овладел собой. – Это крайне важно не для меня одного. Я не могу многого рассказать, но от этого зависит судьба мира. Без преувеличения. Про эффект бабочки слышал? Это он самый.

Никитке не было дела ни до каких бабочек.

– Как я... ты... Как мы... Она же страшная!

Лицо Седого дёрнулось, будто от пощёчины, а потом обмякло – словно тесто, налипшее на череп. Глаза затуманились: то ли мечтой, то ли безмыслием.

– Она лучшее, что у меня было, а у тебя будет в жизни, – сказал Седой на удивление отчётливо. – Я тебе по-белому завидую. Повтори.

– Она лучшее... што?!

– Да не это.

Никитка сглотнул.

– Удержать. Какого-то котёнка принести. Поехать во Владивосток... Я не буду! Не могу!

– Рассказать про поездку в Хайшэньвай... Владивосток. Напомнить про день, когда мы взяли котёнка. Это же просто!

Никитка повторил уже без ошибок. Седой откинулся на спинку скамьи, с шумом выдохнул. По его виску стекала капля пота. Сдвинув рукав, он взглянул на «часы».

– Хух, ещё десять минут. Успел. Успел! Боже, какой воздух у вас!

– А мне в будущее можно? – насуплено спросил Никитка.

Во рту после произнесённого обета стоял вкус тухлятины.

– Не получится, – ответил Седой. Его мечтательный взор блуждал в листве осеннего клёна, склонившего над скамьёй желтеющую шевелюру. Словно Седой пересчитывал и запоминал каждый листок. – Мы путешествуем через *разломы*. В вашем времени они ещё не появились. *Разломы* просачиваются из нашего времени в ваше, проникают, как грибка или... – Он не закончил, но Никитка подумал о метастазах. Паскудное слово, хуже некуда. Уж Никитка-то знал – его отец умер от рака прошлой зимой.

– И *разломы* работают в одну сторону. Путешествия не совсем законны, – («Совсем не законны», угадывалось в голосе Седого), – но, короче, есть способы. Перемещаться можно строго на двадцать девять лет назад. Мы не научились контролировать процесс и не факт, что когда-либо научимся. Поговаривают, *разломы* не появились бы, не будь... – Он опять осёкся. – Посмотри.

Седой оттянул рукав и продемонстрировал Никитке то, что он принял сперва за Apple Watch. Прибор был гибким и, казалось, *встал* в запястье. Никитка склонился ближе и убедился: действительно, *встал*.

– Стабилизатор, – пояснил Седой. – Путешественник во времени не может находиться в прошлом столько, сколько захочет. У него есть ровно пятьдесят семь минут тридцать шесть секунд, а потом его отбрасывает назад в будущее.

«Назад в будущее»! Да, вот как назывался тот фильм!»

– У меня осталось десять... нет, уже восемь минут. Стабилизатор обеспечивает безопасный возврат. Такие дела, Я Из Прошлого. – Седой безмятежно улыбнулся, как человек, раз и навсегда решивший вопрос жизни и смерти. – Всё у нас получится, сяо хо-цзы¹⁵. Я в нас верю.

Он сладко потянулся и встал со скамьи, опять вспугнув вернувшихся воробьёв.

– Мне лучше уйти к точке перехода. Не хочу исчезать на глазах у всех. Лишнее внимание ни к чему.

– А где она, точка? – Никитка тоже вскочил на оживевшие ноги.

– Моя – во дворе тридцать второго дома, прикинь. За гаражами. – Седой махнул рукой в сторону проспекта. – Но тебе это без толку, не заметишь ничего.

Он потрепал Никитку по плечу, и Никитка понял, что больше не боится пришельца. Похлопывание казалось естественным. Как если бы он похлопал по плечу сам себя.

– Рад встрече, – сказал Седой с теплотой. – Вон ведь какой я был, а!

– Ты вот так и уйдёшь? И ничего полезного не скажешь?

– Я сказал тебе самое полезное. Да, ещё на сладкое не налегай.

– Ты вернёшься? – спросил Никитка, разочарованный. Услышать про страшную девочку, предназначенную тебе судьбой, и сладкое – не то, чего ожидаешь от будущего себя.

¹⁵ Молодой человек (*китайск.*).

– Если всё пройдёт, как надо – нет. Я говорил, за путешествия без разрешения может... прилететь. Бай-бай¹⁶!

Седой показал большой палец и припустил через сквер. Какое-то время его гибкая спина мелькала среди кустов и прохожих. Затем растворилась в потоке пешеходов, текущем по проспекту.

Никитка отправился следом. Перешёл дорогу на «зелёный». Втянул носом жирный запах из чебуречной. Свернул за угол дома, прошёл под аркой – вот он, тридцать второй, вот они, гаражи. За гаражами пахло уже не чебуреками, а сыростью и говнецом. Взору предстали осколки бутылок, расколотый синий пластиковый ящик и дохлая, будто сдвущаяся, кошка. Втоптаный в зачерстевшую землю трупик кишел жизнью – личинки бурили плоть под шкурой, ворочались в глазницах. Никитка вспомнил про котенка, которого они купят с Олькой. Чтоб её!

Перед уроком он оглянулся на будущую суженую, пытаюсь понять, что Седой нашёл в такой страшиле. Не шутил ли он? Или всё не так уж плохо?

Всё оказалось хуже, чем плохо. Глазу открылись новые подробности Олькиной физиологии: ожерелье пунцовых прыщей, оплетающее складчатую шею, какашечного цвета усишки под ноздреватым носом. Некстати вспомнилось, что у Ольки, по слухам, цыгане в роду, а цыгане все колдуют. Сто-

¹⁶ Пока (*китайск.*).

ило Никитке так подумать, как Олька подняла от тетради взгляд своих мутных буркал и встретила с его взглядом. Буэ!

Никитка вздрогнул, словно ему харкнули в лицо, и спешно отвернулся. За соседней партой восхитительная Даша поправляла локон волнисто-рыжих волос – расплавленное золото. Она о чём-то перешёптывалась с Жекой Быковым и на Никитку не смотрела. Никитка совсем упал духом.

В субботу он отправился в сквер караулить Дашу. Представлял, как встретит её на аллейке вроде случайно и такой: «О, Бирюкова! Какие люди! И ты здесь!». Даша удивится, а он такой... что-нибудь про погоду и осень... или предложит кофе... Блин! Даже в воображении разговор не клеился. А вдруг сама Даша предложит прогуляться «по ковру из жёлтых листьев», и дальше всё пойдёт как по маслу?

Про Ольку Никитка и не вспоминал.

Издали он увидел, что излюбленная скамейка занята. Подойдя ближе, он узнал наглеца, и сердце его забилось чаще.

– Какие люди! – приветствовал Седой с наигранным вельем.

«Сейчас спросит про погоду и про осень», – подумал Никитка, и волоски зашевелились на его загривке.

Но Седой только похлопал по скамье, приглашая подсесть. Никитка без желания воспользовался предложением.

– Третий раз прихожу, – сказал Седой с укоризной. В угол-

ке его губ цвела похожая на сигаретный ожог и слегка гноящаяся язва. Да и сам он, отметил Никитка, поистрепался. Волосы выглядели сальными, а на воротнике куртки крупной солью белела перхоть. Хлопья ушной серы скопились в раковине обращённого к Никитке уха. Седой отпустил щетину, которая росла клоками, точно её выдёргивал кто-то самым безжалостным образом. Сквозь щетину проглядывали зажившие царапины, будто оставленные ногтями. Никитка почти услышал мамин крик: «Никита, будь, пожалуйста, опрятнее!», и ему нестерпимо захотелось помыться и почистить уши. А ещё зажать нос – от Седого пованивало, словно он плескался в канализации.

– Что-то не так? – нахмурился Никитка. Больше для виду: «не так» с «Оленькой» его не волновало от слова совсем. – Изменилось будущее?

– Планы меняются, – заявил Седой, разворачиваясь к Никитке, и тот заметил в руке собеседника, прежде заслонённой, палочку от эскимо. Седой сжимал её указательным и средним пальцами. Большого пальца не было.

– Мне записывать?

– Запомнишь, всё просто. – Седой закрыл глаза ладонью, с силой, с напором, точно хотел смять лицо, сорвать и зашвырнуть в кусты. Когда он убрал пятерню, Никитка с изумлением увидел размазанную по коже вокруг глаз Седого влагу – слёзы. – Всё просто.

Седой прерывисто вздохнул... и замолчал. Никитка ис-

подтишка наблюдал. Кожаная куртка Седого выглядела так же жалко, как и хозяин: замызганная, локоть протёрт, на рукаве крапинки грязи, а из кармана торчит заскорузлый от засохших соплей платок.

– Ты не должен с ней знакомиться, – выдал наконец Седой. Его голос осип. – Не разговаривай, не реагируй на неё никак, вообще в её сторону не смотри. Она может попытаться завести знакомство. Нет, она *будет* пытаться. Она напористая, Оленька, просто страх. Если ей приспичит, не остановится. Но ты должен. Обязан!

– Кри-инж, – вырвалось у Никитки. – Мы точно об одной и той же Леонтьевой говорим? Она даже у доски язык проглатывает.

– Ты многого о ней не знаешь. – Голос Седого надломился, отчего фраза растеряла часть звуков: «Ты мно-о не знаешь». – Задача ясна?

– Да как два пальца обоссать, – выпалил Никитка и тотчас спохватился: – Извините. – Мама запрещала сквернословить.

Седой понял извинение по-своему.

– Ничего, я не в обиде. Я... Я справлюсь. Я сохраню в памяти все наши дни, золотко.

Никитка не сразу сообразил, что последние слова предназначались не ему. «Габелла ваще!»

– Ладно, я всё сделаю, как вы... ты просишь. Обещаю. Говно вопрос... ой.

– Спасибо, – сказал Седой, роняя голову. Ещё раз вздохнул, хлопнул себя по коленям, собираясь с силами, и поднялся. Колени щёлкнули. – Пошёл я. Удачи, Никитос.

– Совсем ничего про будущее не расскажешь? Там, хинт какой. В какую крипту вложиться или что там вместо появится, акции какие?

– Ставь имплант на верхний клык, – ответил Седой, почесав за ухом. Из-под ногтей побежало по шее чёрное, крошечное. Жучок? Вошь? – На пломбу не соглашайся. Бай!

– И на том мерси, – буркнул Никитка. Седой развернулся – в его теле опять что-то хрустнуло – и побрёл за скамейку, в кустарники. И исчез. Ни удара грома, ни хлопка воздуха, занявшего опустевшее пространство. Никитка моргнул – и нет никого, только листва колышется: жёлтая, серая, коричневая.

Он вздохнул, раздосадованный незрелищностью:

– Будущее – отстой.

По аллее шла Даша. Слева семенил кривоногий мопсик на поводке. Справа вышагивал Жека Быков – грудь колесом. Физиономия у него была дебильская, и лыба дебильская, и смеялся он по-дебильному. А хуже всего то, что Даша тоже смеялась.

Никитка снялся с насиженного места и понуро поплёлся во двор дома номер тридцать два.

За гаражом произошли изменения. Пятна ржавчины на стене разрослись и стали похожи на взъерошенных скособо-

ченных чертей, говном воняло крепче. От кошки остались расколотые косточки да ухмыляющийся черепок. Рядом со скелетом, привалившись к пластиковому ящику, сидел голубь – перья повылезли, глаза будто варёные, с капельками грязного гноя. словно птица плакала просроченной сгущёнкой. Голубь открывал и закрывал клюв. Движение было монотонным, как у заводной куклы. Голубь издыхал.

После раны, нанесённой вероломной Дашкой в страдающее сердце, Никитка обходил сквер за квартал. Седого он встретил случайно. Дёрганой походкой, точно на ногах разной длины, тот шпарил по Гороховой, налетая на прохожих и вызывая их справедливое возмущение. Никитке пришлось пробежаться, чтобы его догнать.

– Далековато вы... ты... – пропыхтел он, едва поспевая за Седым, – забрались.

– А, – то ли согласился, то ли поприветствовал Седой, не сбавляя шаг. Никитку такой игнор покоробил.

– Я всё нормально сделал? – Похоже, нет. Выглядел Седой – краше в гроб кладут. Язва на губе засохла, но на носу расцвела её младшая сестра. Кожа шелушилась на лице и скулах, отслаивалась крупными, в полногтя, чешуйками, словно старая краска. Ногти на левой руке были сгрызены до мяса и посинели до густо-сливового. Шлейф невыносимой вони тянулся за гостем из будущего – нутрянной, сладковато-едкий, будто от кучи гнилых яблок с тухлой рыбой вперемешку.

– Нормально. Да только зря. – Седой мазнул по Никитке беглым взглядом. Левый глаз Седого дёргался. В уголке правого, алого от крови, как у невыспавшегося вампира, желтел гной. Никитка вспомнил голубя, подыхающего за гаражами.

– Этого оказалось недостаточно, – продолжил Седой, смягчаясь. – Она стала слишком сильна. Запредельно!

Проходящая мимо тётка в мышинового цвета пальто подозрительно покосилась на них и прибавила шаг.

– Оки, – с обречённой готовностью кивнул Никитка. – Какой наш новый план?

– Никакой. – Седой снова смотрел перед собой. Сосредоточенный, он походил на капитана, ведущего корабль навстречу буре. В его голосе, шагах и жестах безошибочно угадывалась даже не решимость – одержимость. А ещё тревога. Близкая к панике. – Я разберусь сам. Иди домой.

– В смысле, сам?

– Времени нет, – отмахнулся Седой. Его куртка, вся в пятнах от ожогов, хлестала по спине – чуть-чуть, и он взлетит, как на продранных перепончатых крыльях.

– Не, ты объясни, что да как! Я слушал, запоминал все твои задания, а ты теперь в сторону?

Седой резко остановился. Не ожидавший этого Никитка врезался ему в бедро. Запах бомжатнишибанул в нос – аж слёзы навернулись. Седой застонал от боли.

– Послушай, – произнёс он, опуская ладонь на плечо Никитки. Никитка отшатнулся – не хватало ещё подцепить ка-

кую заразу от будущего себя. Может, даже не известную пока науке. Рука Седого держала цепко, и даже сквозь курточку Никитка чувствовал, какая она ледяная – пробирало до костей.

– Послушай, – повторил Седой. У него и изо рта несло, словно он жевал грязные трусы. – Оленька... *Разломы*... они тоже из-за неё. Из-за её *Книги*.

– Ясней не стало, – ответил Никитка, стараясь дышать реже.

– Удержишь ли ты её или нет, неважно. Всё оказалось неважно. Всё ведёт к апокалипсису, Никит.

– Гонишь?!

Теперь на них обернулся старичок с козлиной бородкой, семенявший вдоль поребрика.

– Из-за того, что она прочитала какую-то книгу?! Типа, «Некрономикон» или чего?

– Не прочитала! – скривился Седой. Его зубы превратились в серые сточенные пеньки. Будто поганки проклюнулись из грязи. – Она её *написала*! Это хуже всякого «Некрономикона» в миллион раз! «Некрономикон» – выдумка! А *Книга*...

Он взглянул на часы. «Стабилизатор», – мысленно поправил себя Никитка. Холод, просачивающийся из ладони Седого, казалось, сковал всё его тело.

– У меня двадцать две минуты. – Седой опять сморщился. – Успею. Иди домой, Никит. Всё будет хорошо. Я поза-

бочусь.

– Успеешь что? – Никитка погнался за продолжившим путь Седым. – Что «хорошо»?! Ты чего затеял?

Ответ Седого он осознал не сразу – его сознание будто споткнулось.

Седой сказал:

– Я её убью.

– погоди! Стой! – Никитка попробовал поймать его за куртку, но та выскользнула из пальцев, оставив на кончиках жирную слизь. Подушечки пальцев защипало. – Так нельзя! Она же ничего не сделала!

– Миллиарды погибнут. – Седой не оглядываясь. – В ужасных мучениях. Нас осталось от силы сотня. И мы порой завидуем мёртвым.

– Она... ребёнок! Это убийство! Ты же... ты ж её любил!

– Такова цена. – Голос Седого сбился. – Знал бы ты, до чего мне больно. Как же *больно!*

Никитка отстал. Сгорбленная спина Седого стремительно удалялась. Ещё немного – и скроется в толпе.

Тогда, повинувшись неосознанному порыву, Никитка ткнул в сторону нескладной фигуры пальцем и заорал:

– Педофил!

В текущей по тротуару людской реке возникло смятение – словно в запруду угодила. Одна за другой поворачивались на крик встревоженные головы.

– Он меня лапал! – махал рукой Никитка. – Держите пе-

дофила!

Седой побежал и тем ухудшил ситуацию. Всеобщая растерянность спала. Наперерез ему кинулся пузатый бородач в растянутой водолазке и штанах цвета хаки, сграбастал и сбросил в объятиях, повалил и оседлал, умело выкручивая руку. Седой попытался брыкаться, но тотчас взвизгнул от боли – Пузан вывернул ему руку так, что Никитка услышал хруст. Река пешеходов забурлила, скручиваясь в водоворот вокруг сцепившихся.

– Да, да-да! – пищала из толпы старуха в платке. – Шшупал он мальчонку, вот вам крест! Сама видела!

– Полиция!

– Росгвардия!

– Ничо, пацан! Быстро набутылят изврата!

– А может, это шпион?!

– Да бомж какой-то...

– Бандеровец!

– Знаете, что с педами на зоне делают? О-о!..

Из кучи-малы раздался вопль Седого:

– Пусти-и! Вы не понимаете! Вы все сдохните! Сдохните!

Дюжина пальцев тыкала в экраны смартфонов – кто звонил копам, кто снимал видос для «Тик-тока». Таджик в короткой футболке драпал подальше от толпы через проезжую часть под клаксоны и визг тормозов. На подмогу Пузану явился, растолкав зевак, дядька с бритой башкой и взялся заламывать лежащему вторую руку.

– Козлы! Что вы творите?! – надрывался Седой.

– Не дрейфь, малой! – Бритый дядька подмигнул оторопевшему Никитке, который искал и не находил в сомкнувшихся рядах брешь для побега.

– Едут менты, – сообщил приבלатнённый голос. – Ща примут этого кадра – и в петушиный угол кукарекать.

– А вонючий какой, матушки мои...

– Довели страну...

– Где твои родители?..

– Ты что наделал, дурак?! – Изжёванная физиономия Седого протиснулась из человеческой свалки. На его разбитом подбородке пенились розовые слюни.

– Тебя скоро *отбросит*, – произнёс Никитка. – Назад в будущее. Как время выйдет. Ты только продержись.

Седой не мог слышать его в гвалте – но понял. Прочёл по губам... или прочёл мысли. В конце концов, они были одним целым, пусть и разделённым двадцатью девятью годами.

– Эта попытка последняя!.. – прохрипел он.

Никиткины «спасители» сопели, потели, отплёвывались и сшибались лбами. Бритоголовый вдавил берец Седому в поясницу. Пузан применил удушающий.

– Мне некуда будет... а-а!.. возвращаться!

– Должен быть другой способ всё изменить! Должен быть шанс! Я придумаю!

Седой замотал головой. Пузан сдавил его шею сильнее. Седой закатил глаза и выкашлял на асфальт кровавый сгу-

сток.

– Заткнись, дундук! – рыкнул Пузан, отвечивая Седому затрещину.

– Он... всё... врё-от... – Голос Седого походил на свист воздуха в кране, где кончилась вода.

Пузан навалился на бедолагу с поистине звериной яростью. Опять раздался хруст, но не сочный и нутряной хруст выкрученного сустава, а звонкий и резкий. Пузан выругался и затряс лапищей. Никитка понял, что произошло. Но Седой понял раньше.

Пузан раздавил стабилизатор.

Седой завыл.

– А! А! А! – Его разбухшее лицо налилось свекольным багрянцем. – Пусти! Пусти! Пусти!

– Психопат!

– Маньяк!

– Двинутый!

Вой полицейской сирены покотился в грозовых всполохах по улице, разрывая барабанные перепонки, точно вопль банши. Лишь сейчас Никитка осознал, как стремительно пролетело время.

Копы проталкивались сквозь строй зевак. Никитка оторвал взгляд от бьющейся в цепких лапах Пузана и Бритоголового версии себя из далёкого будущего и вдруг увидел в толпе Ольку Леонтьеву. Леонтьева обнимала зачехлённую виолончель, как щит, за которым хотела укрыться. Её туск-

лые, будто заляпаные илом глаза встретились с Никиткиными серыми. Дряблый рот разошёлся в осовелой улыбке, и Никитка в который раз вспомнил подышающего голубя.

И тут грянул взрыв.

Бордовые брызги, липкие ошмётки, кровавые плевки хлынули из-под Пузана и Бритоголового во все стороны. Морось цвета гнилых томатов оросила зевак с ног до головы, будто те явились на фестиваль холи, где единственной краской оказалась красная, где не смеются, а вопят, не танцуют, а разбегаются прочь. Пузан и Бритоголовый повалились на груды расплзающегося тряпья, быстро исчезающего в облаке сернистого пара. Удирающие сбили полицейского с ног. Старуха, пятясь, крестилась одной клешнёй, другой, окровавленной, цапала себя за правое вымя.

Леонтьева изучала свои пальцы так, словно видела их впервые. От чужой крови они сделались похожими на глянцево-леденцы. Леонтьева поднесла пальцы к широким ноздрям, с конским всхрапом втянула воздух. И лизнула. Её вечно соловые глаза впервые вспыхнули, её жабы губы изогнулись в изумлённое и алчное О. Леонтьева сунула указательный палец в рот и принялась сосать, неотрывно пялясь поверх Пузана с Бритоголовым на Никитку.

А Пузан и Бритоголовый отползали на четвереньках от пузырящейся, бурлящей, всхлипывающей жижи. Высыхающий на глазах кисель из крови, перемолотых костей и измочаленного тряпья пытался дотянуться до них, выкидывая

протуберанцы кашистой грязи, которые стремительно черствели и осыпались сизой копотью.

Никитку согнуло пополам, как складной нож, и вырвало на собственные кеды. Леонтьева заухала.

Смеялась.

На следующий день Никитка спозаранку потащился за гаражи тридцать второго дома. Без желания, но – тянуло. От кошачьего скелета осталась мелкая жёлто-серая крошка. От голубя – комок перьев и безглазая голова с изумлённо разъявленным клювом. Пластмассовый ящик оплавился, и на его дне корчилась, суча лапками, крыса с выползшей шерстью и раздутым животом. Смоляные капельки дрожали на кончиках усов, и точно зубная паста червиво выдавливалось из-под хвоста розовое, настырное, вёрткое. Крысёнок. Зачарованно склонившись над ящиком, морщась от спазмов в желудке, которые остались, кажется, с прошлого дня, Никитка заметил рядом ещё двоих детёнышей, дохленьких. Приглядевшись, он понял, что крысята срослись боками и на пару у них всего семь лапок. Запах дерьма был густым и липким, как пластилин. От него чесалась кожа и нестерпимо хотелось принять душ. Хохочущих чертей из ржавчины на стене гаража прибавилось. А может, то была и не ржавчина – коричневые проплешины переходили в ворсистую, болотного цвета, плесневеющую слякоть. Кажется, она шевелилась. Зажимая рукавом рот, Никитка убежал. Мать разрешила

ему пропустить школу с условием, что он не станет выходить из дома. Обещание нарушено, но, если поторопиться назад, он загладит вину. А школа... В школе контрольная – сегодня. И ещё эта, поехавшая – всегда. Леонтьева. Олька.

Оленька.

2023